

Г. Роланд-Гольст
ЖАН ЖАК
РУССО



Г. Роланд-Гольст — ЖАН ЖАК РУССО.

ГЕНРИЕТТА РОЛАНД-ГОЛЬСТ

ЖАН ЖАК РУССО

ЕГО ЖИЗНЬ и СОЧИНЕНИЯ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
ЛД. ОСТРОГОРСКОЙ

„НОВАЯ МОСКВА“
1923

ГЕНРИЕТТА РОЛАНД-ГОЛЬСТ Ван дер Схалк

ЖАН ЖАК РУССО. ЕГО ЖИЗНЬ и СОЧИНЕНИЯ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО АД. *ОСТРОГОРСКОЙ*

«НОВАЯ МОСКВА», 1923

Часть I. ЮНОСТЬ

1. ЖЕНЕВА В НАЧАЛЕ XVIII СТОЛЕТИЯ
2. ГОДЫ ДЕТСТВА
3. ГОДЫ СКИТАНИЙ
4. ГОДЫ ВНУТРЕННЕГО РОСТА

Часть II. ПАРИЖ

1. ОБЩЕСТВЕННОЕ И УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ В СЕРЕДИНЕ XVIII СТОЛЕТИЯ
2. ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ
3. НАЧАЛО СЛАВЫ

Часть III. ВЕЛИКИЕ ГОДЫ

1. НАДВИГАЮЩЕЕСЯ ОДИНОЧЕСТВО
2. КАТАСТРОФА
3. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕЛИКИХ ГОДОВ
4. ПОСЛЕДНЯЯ БОРЬБА

Часть IV. БЕЗУМИЕ И УМИРОТВОРЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЮНОСТЬ

1. ЖЕНЕВА В НАЧАЛЕ XVIII СТОЛЕТИЯ

В расположенном у темносинего озера городе, где в XVI веке зародился кальвинизм—направление протестантизма, и по форме и по сущности бывшее в наиболее остром противоречии с католицизмом—общественная и умственная жизнь двигалась в целом ряде поколений в тех же рамках, в какие втиснула ее мощная рука великого реформатора.

Это было возможно потому, что мирозерцание Кальвина еще долгое время отвечало общественным и умственным потребностям женеvского населения, между тем, как в Голландии, например, этой второй цитадели протестантизма, часть господствующих классов скоро переросла этот образ мыслей.

Протестантизм возник в XVI столетии в различных странах из стремления выдвигавшихся буржуазных классов сбросить с себя иго Рима; он отражал в себе формы мышления, жизненные цели и идеалы этих классов в то время, когда они стояли у порога больших экономических и социальных преобразований. Там, где тогдашняя буржуазия переступила этот порог, а именно в странах, получивших в течение XVII века большое территориальное развитие и где морская торговля, использование колоний и расцвет промышленности повлекли за собой небывалое быстрое накопление капиталов, там сильное развитие капиталистического производства привело одну часть буржуазии к крупнобуржуазному владению и крупнобуржуазным формам жизни; в то же время оно увеличило и кадры пролетариата, и тогда как раньше между отдельными классами городского населения замечалась лишь сравнительно незначительная рознь, теперь почти внезапно между ними открылась глубокая пропасть. В таких странах кальвинизм не мог долго держать в своих руках государство, общество не могло оставаться во власти его ограниченного, нетерпимого пуританского духа. Дух этот противоречил требованиям и нуждам крупнобуржуазной жизни. В Голландии, как и в Англии, кальвинизму пришлось ограничиться ролью одного из элементов в игре сил, определяющих характер общества, и остаться религией низших народных слоев, мелкой буржуазии, ремесленников, рыбаков и крестьян.

В Женеве—ввиду того, что ядро ее населения составлял самый ценный элемент мелкой буржуазии, наиболее обеспеченный класс ремесленников—кальвинизм, при преобладающем мелкобуржуазном характере города, мог долго держаться. Здесь не было условий, благоприятных для бурного развития экономической жизни и расцвета крупнокапиталистического хозяйства. Город, отдаленный от моря и судоходных рек, лежал на южной оконечности большого озера; вследствие такого географического положения в нем долго сохранялись старые условия жизни и производства. Такой город в лучшем случае мог стать только центром местных сношений. Для большинства населения средствами существования попрежнему служили мелкие производства и ремесла, и здесь не было тех сил, которые при других условиях могли бы

врезаться клином в его однородную массу.

Среди ремесел было одно, издавна пустившее корни в Женеве и имевшее особый характер, обуславливаемый как весьма тонкой техникой, требовавшейся для него, так и приносимыми им крупными доходами: это было часовое производство. Часовых дел мастера составляли ядро ремесленного цеха, то были зажиточные граждане, находившиеся в родстве с наиболее видными фамилиями города. Это были и добрые патриоты и образованные люди, на рабочем столе которых рядом с тонкими инструментами их ремесла лежали сочинения Тацита и Плутарха.

Часовое производство, само собою разумеется, работа главным образом на заграничный рынок. Оно соединяло с внешним миром город, изолированный от соседей его религией и образом правления. Отдаленные войны или крупные финансовые сотрясения в могущественных соседних государствах отражались частными колебаниями на этом ремесле, являвшемся тогда в гораздо большей степени, чем в настоящее время, предметом роскоши. Это обстоятельство охраняло честного ремесленника от опасности застыть в ограниченном самодовольстве, заставляло его направлять взор за пределы городского вала, туда, где начинался другой мир: мир католицизма и управляемых в духе абсолютизма стран. Город был и оставался небольшим, даже в масштабе того времени. В начале XVIII столетия он едва насчитывал 20.000 жителей; эта незначительная цифра населения гарантировала прочность его установлений и обычаев, которые, при более быстром росте населения, были бы неминуемо снесены потоком жизни.

Странно вообразить себе этот скромный провинциальный городок второго разряда, представлявший, с разбросанными вблизи отдельными деревушками, независимое государство и гордо и самоуверенно носивший знамя демократизма и протестантизма среди католической, феодально-абсолютистской Европы. Окружавшие его маленькие города Ваадта и Савойи повиновались дворянам, присылаемым сюда отдаленными правительствами Парижа и Турина, и дворянство и попы жирели, кормясь насчет пота и крови бедных крестьян. Сознание, что он является оазисом гражданской свободы, аванпостом протестантизма, действовало на население города, как пружина, поддерживавшая в напряжении его силы.

Учение Кальвина тесно сблизило светскую и духовную власть. Правда, сферы деятельности церкви и государства были в Женеве разграничены, и правительство, в сущности, не являлось теократическим; но государство было до такой степени проникнуто духом церкви, церковь так крепко вросла в государственный организм, что обе власти представлялись сознанию народа в одном нераздельном сиянии, так же, как приверженность к вере и любовь к политической свободе срослись у них в одно чувство. Кельвин нашел не только формы религиозной мысли, но и церковное устройство, наиболее отвечавшее потребностям женеvского населения в XVI столетии. Сюда входило,

между прочим, введение демократического начала в церковную организацию, влиявшую в свою очередь, благодаря тесной связи, существовавшей между церковью и государством, и на формы политической организации. Женева была якобы демократическим государством, но об истинном демократизме, управлении через народ, в этой маленькой республике могло быть так же мало речи, как и в Соединенных Нидерландах, ее достославной сестре. Из пяти классов, на которые разделялось население Женевы по полусредневековому образцу — как явствует из названий "жильцы, старожильцы и подданные" — три низших были политически неспособны. Только два высших класса, "citoyens" и "bourgeois"¹ обладали политическими правами. Они выбирали в общем собрании магистрат, они имели право взимать налоги, объявлять войну, заключать мир, они заявляли жалобы и протесты против действий правительственных органов, "малого" и "большого" советов. Незначительное количество правомочных граждан — "Общее Собрание" насчитывало не более 1600 человек — делало излишней систему представительства.

В течение XVII века политическое влияние мелкой и зажиточной буржуазии все более ослабевало. Пробившиеся вперед представители крупной буржуазии и патрицианских родов—собственно правящий класс—составлявшие "большой" совет двухсот и "малый" пятидесяти, все реже созывали общее собрание граждан и все более ограничивали их права. Они присваивали себе "отрицательное" право игнорировать заявляемые населением жалобы и протесты. Таким образом это его главное право стало фикцией. Большой и малый советы дополняли друг друга и выбирали своих членов исключительно из небольшого круга более знатных или разбогатевших родов. Как и в Голландии, определенные фамилии монополизировали правительственную власть, из которой значительно большая часть населения была исключена.

К началу XVIII столетия население обладало в действительности только еще правом ежегодно выбирать магистрат, да и это право стало пустым призраком. Ибо список кандидатов обоих советов заключал в себе весьма ограниченное число Избранных; власть бургомистра сделалась почти наследственной.

Населению оставалось при таком положении дел одно утешение: добросовестность и неподкупность властей. Нравы его, даже в среде более знатных, оставались простыми, благосостояние было в большинстве случаев мелкобуржуазного происхождения, плод собственного труда, собственного прилежания, собственной бережливости. Корабли не привозили в Женеву сокровищ из Ост- и Вест-Индии, состояния не приобретались и не терялись сразу, как в игре; случаев внезапно разбогатеть не было, роскошь и блеск воспрещались законом. Таким образом могла сохраниться в населении мелкобуржуазная честность, и случаи подкупа были редки.

Но сознание, что им управляют добросовестные люди, стремящиеся

к благу страны, не могло заменить населению потери прежних вольностей. Недовольство его в течение XVIII века часто прорывалось волнениями и беспорядками, строго подавлявшимися властями.

Если политическая свобода, несмотря на упадок демократии, и была в Женеве шире, чем в абсолютистских государствах, зато частная жизнь была здесь скована и стеснена до такой степени, с которой в других странах не имели представления. Духовная власть бдительно следила за всеми провинностями и не оставляла безнаказанным ни малейшего уклонения от бездушной и сухой благопристойности, единственно считавшейся нравственной. Пасторы обращались с этими столь гордившимися своей свободой мужчинами и женщинами, как с детьми, за ними постоянно следили, их увещевали, бранили, наказывали за малейшие проступки против нравственного закона пуританства. Достойно было в воскресение попасться на глаза с картами, этим дьявольским измышлением, в руках, принять участие в танцах, или, будучи женатым человеком, находить удовольствие в обществе очаровательной девушки и от времени до времени посещать ее, чтобы получить приказ явиться перед духовным пастырем; виновный должен был выслушать строгий выговор и дать обещание исправиться. Если грешник или грешница упорствовали и отказывались явиться, то приводился в движение весь механизм духовной власти: в дело вмешивался церковный совет и давление его длилось до тех пор, пока виновный не приносил повинную и в серьезных случаях выражал готовность к церковному покаянию. Ибо греховные инстинкты надо было убить в корне, естественную гордость сломить: падение ниц и целование земли—таковы были обычные знаки христианского смирения. Против наиболее упорных выставлялась тяжелая артиллерия церковных кар: им грозили лишением причастия. Жизнь этих мещан-протестантов представляется нам столь же тесной и скованной, как и жизнь их предков средневековья, с той разницей, что вместо радостного, горящего красками, сияния близкого народу и богатого искусством католицизма, над ними тяжело нависла мрачная атмосфера мыслей о предестинации и вечном проклятии. Такое мирозерцание, стремившееся вырвать с корнем всякую непосредственную веселость и осуждавшее чуть ли не каждое самое невинное удовольствие, неминуемо должно было подавлять жизнерадостность и заменять ее уверенностью в непогрешимости своих принципов и ханжеством, этими неприятными специфическими чертами пуританства.

Строгий надзор за частной жизнью был невозможен без системы шпионства и доноса, системы, далеко вокруг себя распространявшей злобное недоверие, лести, сплетен и клеветы, ложившейся холодным инеем на человеческие отношения, замораживавшей улыбку и поцелуй на устах. У человека, являющегося в Женеву из мира легких нравов, легкомыслия, грации, галантных походов и жажды наслаждений, должно было спирать дух от мрачной атмосферы этого города, как от сперттого, затхлого воздуха тюремной камеры. Недаром и Вольтеру бросилось в глаза выражение угрюмого недовольства на лицах его

¹ "Граждане" и "буржуа".

обитателей.

Жизненные силы, удерживаемые от греховных наслаждений твердой рукой строгой дисциплины и силой общественного мнения, устремились со всей неизрасходованной их свежестью по руслу работы и семейной жизни. Женевские граждане отличались трудолюбием, бережливостью, умеренностью, честностью образа жизни, замкнутостью, приверженностью к традициям и нравам отцов. Все это составляло обычную характеристику независимого мещанина докапиталистических времен. Но черты, проявлявшиеся в них, под влиянием кальвинизма, подчас резким и неприятным образом, облагораживались какой то суровой гордостью, наследием их церковно-национальной истории и своеобразного положения их крохотной и, однако же, влиятельной в церковных вопросах республики.

Духовные пастыри своими еженедельными проповедями поддерживали в своей пастве высокомерие, но вместе с тем развивали в ней сознание ответственности, учили ее смотреть на себя, как на избранное стадо, единственно призванное проповедовать истинную веру среди безнравственных, развратных народов, меж которых поставила его судьба.

Множество женевцев, пожалуй, добрая четверть всего взрослого мужского населения, покидало родной город, чтобы искать хлеба на чужбине. Город не мог прокормить всех своих сынов; число трудолюбивых рук было слишком велико по отношению к рынку сбыта производимых ими продуктов.

После отмены Нантского эдикта Женева наводнилась потоком французских эмигрантов, как это уже было раз в XVI столетии. Среди этого более позднего поколения протестантских беглецов были люди с более широкими взглядами на жизнь и более обширным образованием, нежели у жителей Женевы, где старые формы мышления все более застывали в своей неподвижности. Они были для Женевы той обновляющей и омолаживающей силой, которая поднимала умственный уровень жителей; они являлись элементом прогресса, приносившим к меняющимся условиям жизни, даже элементом оппозиции притязаниям аристократической правящей клики; их способности и знания двигали вперед искусство и науку. Среди них было много ремесленников, влившихся в местные мелкие ремесла, и потому ли, что они были трудолюбивее, или потому, что владели более усовершенствованными орудиями, но старые граждане не выдерживали конкуренции с ними, и новые пришельцы их вытесняли. Экспорт товаров в Женеве был слишком мал в сравнении с количеством производимых продуктов, и она была вынуждена экспортировать людей. В течение ряда поколений они выселялись в другие европейские страны, на восток, за океан или в Северо-американские Штаты, где жили их английские единоверцы. Только ли нужда гнала их? Или молодая кровь влекла их в страны, где жизнь не ползла медленно, серо и однотонно в тесных рамках традиций и дисциплины, а блестящим и сверкающим ручьем радостно струилась вдоль цветущих лугов или неслась вперед бурным потоком,

опрокидывающим преграды? Там жизнерадостность не почиталась грехом, там любящим не возбранялось обмениваться ласками, там ноги могли беспрепятственно двигаться под звуки скрипки. Там цвели дивные цветы наслаждения. И обширные горизонты открывались взору: вдали сверкали золотые горы. И жители покидали город.

Но если многие и выселялись, на их место приходили другие. Любознательные молодые люди из реформированных стран приезжали сюда, чтобы усовершенствоваться во французском языке или изучать теологию в знаменитом университете протестантского Рима. Среди них были сыновья дворян или видных граждан из кругов, совершенно переросших пуританские нравы. Они обладали свободными манерами и под действием вина иной раз держали себя вызывающе по отношению к простым гражданам. В программу соответствовавшего их положению воспитания входило и преподавание светской музыки и танцев, искусства, которыми ревнители веры гнушались, считая их орудием дьявола. Но власти были снисходительны к студентам-чужестранцам благодаря которым в город притекали деньги. Им в угоду было разрешено преподавание танцев, но учиться танцам могли только чужестранцы, отнюдь не коренные жители города. Если на этой почве происходили столкновения между этими последними и высокомерными иностранцами, магистрат обыкновенно обрушивался всей строгостью законов на собственных граждан, даже если они являлись обиженной стороной; обидчики же выходили сухими из воды.

* * *

Условия мелкобуржуазной производительности и протестантизм одинаково способствуют в высокой степени развитию индивидуалистических наклонностей. Но существо и положение маленькой кальвинистской республики не давали этим наклонностям всецело овладеть духом жителей. Национальная независимость не была для них мягким ложем, на котором они могли спокойно почить, а обретенным в борьбе сокровищем, на защиту которого ценою своей крови они могли быть призваны в любую минуту. В то время, как в больших государствах с падением городской демократии исчезла гражданская милиция и абсолютизм ввел свои собственные войсковые формы—если и не всюду одинаковые во всех отношениях, то по крайней мере в том смысле, что всюду палка крепко держала то, что было захвачено силой или хитростью,—в Женеве сохранилась демократическая войсковая организация прежних времен. С помощью небольшой кучки наемников - ибо где же было взять денег для большего числа их?—граждане, подобно цехам средневековья, держали защиту города в своих руках. Все способные к ношению оружия мужчины обучались военному ремеслу; эти совместные упражнения поддерживали в памяти воспоминания о героическом прошлом и возбуждали пламенную любовь к родному городу и свободе; отодвигая далеко назад мещанский индивидуализм, они вызывали в черствых по внешности, но на самом деле пламенных сердцах активное, воинственное и в то же время полное нежности чувство общности. Воинские упражнения заставляли сильнее

биться пульс граждан и напрягали их мускулы. Ремесленник, возвращаясь с этих упражнений в свою мастерскую, чувствовал, как грудь его переполняет радость сознания гражданской свободы и гордости, этих идеальных благ, которые в других странах были утеряны. Он шел домой, перебирая в уме воспоминания о республиках древности, горожане и крестьяне которых, простые люди, как и он сам, навеки прославили себя геройскими подвигами; он чувствовал себя ближе им, нежели сильным мира сего и холопам соседних стран, легкомысленным горожанам, истощенному крестьянству. Погруженный в мечты, он брал в руки свой камзол и дивился, что это не тога.

Случилось однажды, что по окончании одного из обычных учений, за которыми следовала общая трапеза, мужчины собрались снова на базарной площади и при свете факелов пустились танцевать. Барабаны отбивали дробь, трубы гремели, песни далеко разносились в вечернем воздухе, в то время как колонны проходящих отрядов волнообразно колебались при колеблющемся свете факелов. Из домов выходили женщины, выбегали полуодетые дети, всем хотелось принять участие в весельи. Девушки разносили напитки; радость стала общей. Пели, танцевали, шутили, братались. Сердца раскрылись; опьянение, слаще винного хмеля, овладело этими людьми, сняв с них бремя забот, зависти и одиночества, так часто тяготевшее над ними в повседневной жизни.

Один из солдат, пылкий человек с страстным темпераментом, наклонился к маленькому мальчику, называвшему его отцом, поцеловал его и сказал дрожащим голосом: — "О, дитя мое, люби всегда наш родной город. Погляди на этих людей, ты видишь, они друзья, братья, любовь и согласие царят между ними. И ты со временем посетишь другие страны, как я в моей молодости; на то ты и женевец. Но нигде в мире ты не увидишь подобного зрелища".

Маленький темноглазый мальчуган, впитавший в себя и сохранивший в душе вместе с этими словами и чувство, которым они были проникнуты, был Жан-Жак Руссо.

2. ГОДЫ ДЕТСТВА

Отец Руссо происходил от французских эмигрантов, пустивших корни в Женеве и занимавшихся часовым мастерством; ремесло это было наследственно в их семье и переходило это отца к сыну. Для таких граждан еще не совсем были закрыты возможности постепенно возвыситься на общественной лестнице, из простых граждан быть призванными к какой-нибудь почетной общественной должности, отбывающей дорогу к званию члена "большого совета". Дед Жан-Жака, Давид Руссо, достиг должности "dizenier", своего рода подчиненного мирового судьи в своем квартале. Но уже в следующем поколении это незначительное повышение было утеряно, и семья снова опустилась в своем общественном положении. Отцу Жан-Жака, Исааку, не хватало тех качеств, которые делают человека способным подняться до высокого положения в обществе. Он был вспыльчив и обидчив, одержим жадной наслаждений и непостоянен, слишком горяч и нетерпелив, чтобы стать

солидным ремесленником. В возрасте 21 года он поддался одной из тех причуд, которые в глазах степенных людей характеризуют человека, последовавшего им, как глупца: он переменял на несколько месяцев свое доходное и почтенное ремесло на занятие учителя танцев, каковая специальность, как мы видели, была не в большом почете у людей старого закала. Он, как и его братья и сестры, играл на скрипке и любил музыку. Это было еще тогда редкостью в Женеве, где изящные искусства в течение долгого времени преследовались и подавлялись суровой религией. Эта, правда, кратковременная перемена занятия—он скоро вернулся к родному ремеслу—не способствовала укреплению его доброй славы в глазах властей, как, впрочем, и дальнейшее его поведение. Он часто вступал в ссоры с молодыми чужестранцами, проявляя при этом свой раздражительный и высокомерный характер. Он женился поздно на довольно состоятельной девушке из хорошей буржуазной семьи. Ее звали Сюзанна Бернар; семья ее происходила из ближайших окрестностей Женевы и более века пользовалась правом гражданства в городе. Отец ее пользовался славой ловеласа; он умер молодым, оставив воспоминание о различных любовных похождениях такого рода, какого церковная власть не терпела. Дочь его попала в дом дяди, пастора, воспитавшего ее тщательно и, повидимому, не в очень узком духе. Она умела петь, аккомпанируя себе сама, читала много, главные образом романы XVII века, и писала стихи. Одаренная и жизнерадостная, притом очаровательная по внешности, она с трудом подчинялась царившей в Женеве дисциплине; к тому же строгие блюстители нравов из духовного совета следили за ней недремлющим оком. Однажды до их слуха дошло, что молодая девушка, переодевшись крестьянкой, посетила небольшой загородный театр, где в базарные дни давались фарсы и легкие представления; в другой раз, что ее посетил женатый дворянин. Как одно, так и другое считалось неприличным для буржуазной девушки в тогдашней Женеве и не могло быть терпимо. Но она обладала темпераментом и чувством собственного достоинства и, кроме того была состоятельна и независима. Она долго упорствовала и отрицала предъявленные ей обвинения; но в конце концов должна была покаяться и сделать то, чего от нее требовали. Исаак Руссо и Сюзанна Бернар любили друг друга с ранней юности, с тех пор, как помнили себя. Почему они женились, когда молодость их уже прошла, мы не знаем, как не знаем и того, почему Исаак вскоре после рождения первого ребенка оставил Сюзанну и отправился в Константинополь в качестве часовых дел мастера султана. Может быть, к этому шагу побудили его неблагоприятные материальные обстоятельства, потому что отцовское наследство было невелико, а в то время, к тому же свирепствовала война; а может быть, его, как и многих других, влекла жажда к путешествиям.

После шестилетнего отсутствия Исаак вернулся на родину. Жена его оставалась ему верна и попрежнему горячо любила его. Плодом возвращения был Жан-Жак, "печальный плод", как он сам говорил. Он появился на свет 28-го июня 1712 года, и рождение его стоило его

матери жизни. Но если вообще что-либо может заменить материнскую любовь, то Жан-Жаку привелось испытать это. "Королевского сына,— говорит он в своей "Исповеди",—нельзя окружать большей любовью, чем окружали меня; меня обожали и, что бывает гораздо реже, всегда нежно холили и оберегали, но никогда не баловали".

Эту огромную любовь и самый нежный уход он нашел у сестры своего отца. Ее заботами он был спасен от смерти, ибо жизнь его при рождении висела на тоненьком волоске. Он на всю жизнь сохранил к ней любовь и признательность, ибо благодаря ей воспоминания его детства были обвеяны ароматом дивной нежности и задушевности, исходивших от всего ее существа. Она знала множество старых песен, которые она пела ему своим небольшим тонким голоском. Эти мелодии запали в душу мальчика и в течение многих лет дремали в ней. Прежде всего в тот долгий период, когда он безвольно носился по волнам жизни без цели и направления, потом позднее, когда в нем проснулась воля к тому, чтобы стать самостоятельной силой, и когда он с энтузиазмом ринулся в борьбу против бурь и непогод. Когда же настал час усталости и покорного смирения, он ушел в себя, и старые милые напевы, звучавшие ему в дни детства, вновь зазвучали в его душе и вместе с безыскусственными мелодиями и легким грациозным ритмом их слов вернулось воспоминание о нежных радостях детства, протекшего в том укромном теплом гнездышке. Он переживал их наново, ибо душа его принадлежала к тем, которые с памятью о вещах сохраняют и аромат их и вместе с выступающими из прошлого картинами способны вызывать и прежние ощущения. Он обладал даром заставлять вновь колебаться струны пережитых радостей и печалей: памятью души.

На Жан-Жака отец перенес всю нежность, которая в течение многих лет привязывала его к жене. Но вместе с тем в его отеческом чувстве была какая-то раздвоенность и тоска, потому что в мальчике он видел причину ее смерти. Когда он прижимал ребенка к сердцу и страстно ласкал его, мальчик чувствовал в самой чрезмерной нежности отца тоску по той, которой уже не было. Если отец говорил: "Поговорим о матери", ребенок отвечал: "Но тогда мы будем плакать, отец".

Тесное общение с отцом и дальнейшие его методы воспитания привили слабому и не по летам развитому мальчику чрезмерную чувствительность. Как только Жан-Жак научился читать,—как это произошло, он и сам не помнил,—отец начал читать с ним романы, оставленные Сюзанной; это были истории, полные ложного пафоса и взвинченных чувств. Отец и сын наслаждались в этом мире невероятных приключений—забывали за чтением пошлую действительность—читали, читали... Ночь проходила, первая ласточка возвещала утро, когда отец, приходя в себя от романтического хмеля, сконфуженно шептал: "Я еще большее дитя, чем ты". Жан-Жаку было тогда семь лет.

В пределах тесного горизонта родительского дома, в атмосфере тепла и ласки, ребенок был счастлив. И в более поздние годы он чувствовал себя счастливым только в тесно ограниченном жизненном кругу. Как только этот круг размыкался и открывал более широкие

горизонты, спокойствие покидало его, и он терялся. У него не было товарищей, не было и потребности в них. Разница в возрасте между ним и его братом, бездельником, уехавшим в Германию и пропавшим без вести, была слишком велика для того, чтобы последний мог быть товарищем его игр. Таким образом около него не было никого, кроме его отца, тетки и доброй, верной служанки.

Но рядом с ограниченной, простой повседневной жизнью в нем рано зашевелилась другая жизнь, широкая и безграничная, жизнь фантазии. Фантазия являлась самой мощной из сил его души, он всю жизнь покорно следовал ей, и ее мир был для него реальнее действительности его внешних чувств. Он забывал в нем бедность, неприятности и физические страдания. Из прочитанных в раннем детстве романов в душе его создалось представление о мире, которого весь его дальнейший жизненный опыт не мог вполне вытеснить, вырос мир романтических приключений, мир рыцарей-героев и изнывающих в любви прекрасных женщин. Эмоциональная жизнь в этом мире протекала в болезненной, спертой и душной атмосфере; ведь это была лишь бледная истасканная копия средневековой романтики. И душная эта атмосфера захватила его, пропитала все его существо и сделалась частью его самого — навсегда. К счастью, запас этих романов скоро иссяк. Но отец и сын нашли новую пищу для своей неугасимой жажды чтения в книгах, оставленных опекуном Сюзанны, пастором. Это была более здоровая пища: Боссюэ, Овидий, Плутарх. Ребенку открылся мир классической древности, мир, возносивший на высоту гражданскую добродетель и воинскую доблесть, мир честности и самоотверженности, мир морального энтузиазма. Существовала свобода—за нее можно было и жить, и умереть; существовали товарищи, которых стойкостью и выдержкой можно было спасти от страданий и смерти; существовала красота ненарушимой верности. Лицо мальчика пылало, в глазах его сверкали слезы; дрожь вдохновенного энтузиазма пробегала по его членам; о, быть героем, мучеником за свободу, совершать великие подвиги для товарищей! В нем мощно просыпались инстинкты симпатии и сочувствия, эти элементарные социальные чувства. И буря фантазии мощно раздувала пламя этих чувств. Он мнил себя Аристидом, Брутом, Цеволой, он жил в героях и герои жили в нем. Он говорил с отцом и находил в его глазах и голосе отголосок своего собственного энтузиазма, когда часовщик принимался рассказывать о родном городе, республике, как Спарта и Рим, граждане которой тоже боролись на смерть за ее свободу. Иногда он видал их, когда, в полном вооружении, они бодрым шагом проходили мимо него, возвращаясь с учения на базарной площади, и звуки Их воинственных песен долго еще отдавались в его ушах. И ненависть ко всем тиранам и любовь к героям прошлого сливались в его сердце с любовью к родному городу и его гражданам; они представлялись ему в ореоле добродетелей спартанцев и римлян, покрытые их неувядаемой славой.

И эти семена западали в душу его, пускали корни и ростки и созревали богатой нивой в его зреющем сознании. В книгах, написанных

с большой страстностью, он говорил об ощущениях, так сильно и благородно волновавших его детское сердце. И в ответ на слова его, возрождавшие древние греческие и римские добродетели и вновь призывавшие к жизни гордые образы тираноненавистников, тысячи рук протянулись к нему, тысячи сердец горячо забились ответным чувством сердца мужчин и женщин, преклонявшихся, подобно ему, перед гражданской добродетелью, неподкупностью и честностью, перед простотой жизни и семейными добродетелями.

Это были мещане, готовившиеся к великой борьбе против тирании и господства привилегий, против роскоши и легких нравов современных господствующих классов. И они с достоинством рядились в героические одежды древности, преподносимые им Жан-Жаком их собственные порывы и стремления казались им более прекрасными в этом уборе.

* * *

Когда Жан-Жаку было двенадцать лет, отец его, страстный охотник, однажды на охоте затеял ссору с неким капитаном Готье, служившим в отряде телохранителей польского короля. Вспыльчивый и легко раздражающийся Исаак почел себя обиженным и, встретив вскоре после того старого хвастуна на улице, напал на него и ранил его шпагой. Он был приговорен к денежному штрафу, трем месяцам тюрьмы и церковному покаянию. Но Исаак считал этот приговор несправедливым и, отнюдь не склонный подчиниться ему, предпочел лучше покинуть родной город; он бежал в Нион, ближайшее к Женеве местечко, но за пределами городской территории, и остался там. Детей своих он оставил в Женеве; брат его покойной жены взял на себя заботу о них. Вместе с сыном своего дяди, добрым малым, Жан-Жак был отдан на воспитание к одному пастору в Боссэ, деревушке Женевского округа, у подошвы Салева. Греки и римляне были забыты, он научился играть и проказничать и собственно в первый раз почувствовал себя ребенком. Тут для него открылся источник новой радости: прожив с самого рождения в тесных стенах города, он вдруг очутился среди природы. Она стала его утешительницей на всю дальнейшую жизнь; в заботах, в огорчениях, в минуты озлобления, душевного помрачения, всегда природа являлась умиротворительницей его взволнованной души, источником глубочайших радостей его жизни.

В семействе пастора он провел два года, обучаясь понемногу латыни, истории церкви и катехизису. Здесь царил тот же дух, что и дома; пастор и сестра его относились к нему с любовью; кроткий, впечатлительный и живой ребенок покорял все сердца. Со своим двоюродным братом Бернаром он заключил тесную дружбу, как это бывает часто между мальчиками: они были неразлучны, подчас ссорились, но не могли пробыть и четверти часа один без другого.

К концу этих двух лет его детская душа испытала сильное потрясение, от которого он никогда не мог вполне оправиться. Люди, к которым он был привязан всем сердцем, строго и немилосердно наказали его, несмотря на его страстные уверения в невинности, за проступок, которого он не совершал. Что-то в душе его надломилось: он в первый

раз почувствовал всю чудовищность несправедливости. Этот момент образовал в его жизни ту глубокую пропасть, которая отделяет детский рай полного, ничем невозмутимого доверия от представления о мире, как о враждебной, подавляющей силе. Почти все дети переживают это; все чувствуют в такие моменты отчаяние бессилия, но большинство детей через некоторое время оправляются от таких ударов, ибо нормальная детская душа обладает большой эластичностью.

Но такой эластичности не хватало его душе, да иначе оно и не могло быть при его способности восстанавливать вместе с воспоминанием и ощущение пережитого. Людям, обладающим такой способностью, жизнь дается тяжело, и источник их страданий неиссякаем.

Он был мягок по природе. Тонкая впечатлительность составляла основу его существа, но она была более пассивного, чем активного характера, это была скорее потребность получать любовь, чем давать ее. Он всей душой стремился к нежности, впитывая ее в себя, как росу. На причиненную ему несправедливость он редко отвечал гневом или злобой.

Дважды, рассказывал он про себя, он был в детстве тяжело ранен из-за неловкости или шалости товарищей; их испуг и боязнь наказания вызывали в нем такое горячее чувство сострадания, что он, несмотря на испытываемую им сильную боль, давал фальшивое объяснение своего поранения, он никогда не открывал истинной причины его. И, несмотря на боль и испуг, он весь был проникнут в эти минуты чувством сладостного умиления; он наслаждался сознанием собственной кротости и сочувствия товарищей.

Этот первый случай, когда он сознал свое бессилие против несправедливости, был первым большим испытанием его характера; в нем сказались странная смесь твердости и хрупкости. Он перенес стоически жестокое наказание: сколько его ни колотили, он продолжал настаивать на своей невинности. Он уже тогда умел переносить страдания твердо и стойко; но ему не дана была способность забвения. Боль, вызванная сознанием бессилия против несправедливости, оставалась еще долго после того, как он дал исход своему беспомощному возмущению; когда он, пятьдесят лет спустя, вызвал этот случай из потока воспоминаний, боль эта все еще его мучила, приводя в волнение его кровь. Его детская веселость исчезла, фундамент его внутреннего мира был подкопан, блеск его потускнел.

Но другие свойства его природы обращали опять-таки слабость этой чрезмерной чувствительности в силу. Его чувство не замыкалось в горечи испытанного им физического страдания. Нет, питаемое состраданием и фантазией, оно, как лоза, тянулось к другим людям, испытывавшим подобные же страдания, и сливалось с их чувством. С тех пор всякий раз, когда ему приходилось видеть, как мучают людей или животных, или читать рассказы, в которых несправедливость торжествовала, кровь его приходила в волнение, руки судорожно сжимались. Ибо он знал, что это значит, и в страдании других он вновь переживал собственные страдания. Чувство это все росло в нем, пока не настало время, когда он выковал из своего возмущения пламенные слова против первопричины

всякого угнетения и всякой несправедливости: общественного неравенства.

Очарование мирной жизни в доме пастора было нарушено сердечное единение с семьей пастора разбито. Жан-Жак вернулся со своим двоюродным братом в Женеву. Возник вопрос, к какого рода деятельности его следует подготовить, быть ли ему часовых дел мастером, нотариусом или проповедником. Его привлекало последнее, но наследство, доставшееся ему после матери, было недостаточно велико, чтобы покрыть расходы учения по подготовке к этой деятельности. Отец его женился вторично и мало заботился о мальчике. Жан-Жак поступил помощником в контору нотариуса, но работа там была ему противна, а хозяин его находил его слишком глупым для этого призвания. Он обзывал его ослом и скоро отослал его домой. Не раз случалось, что Жан-Жак производил впечатление самого обыкновенного мальчика с ограниченными умственными способностями. Он чувствовал сильно, но мышление его было тяжело и неповоротливо, и мысли медленно высвобождались из богатого возможностями хаоса его подсознания.

Его отдали в учение к граверу. Хозяин его, еще молодой человек, обязался посвятить своего ученика во все тайны ремесла, воспитать его в страхе божием и в добрых нравах. Жан-Жаку было тринадцать лет, когда начались для него все мытарства его ученических годов.

Его натура не была из тех, которые как бы выкованы из одного куска, она была раздвоена: он обладал сердцем одновременно гордым и нежным, характером женственным и вместе с тем неукротимым, в его желаниях и склонностях сказывалось постоянное шатание между слабостью и мужеством, между любовью к добродетели и податливостью его натуры. Так он всю жизнь боролся с самим собой, и ни наслаждения, ни мудрость не были его уделом. Всю свою молодость он находился всецело во власти своих ощущений и впечатлений и был тем, чем его делали обстоятельство и окружающая обстановка.

И вот он попал в обстановку, которая вызвала наружу все его низкие инстинкты и склонности и подавила все нежное и благородное в его натуре. Его хозяин был грубый, легкомысленный и черствый человек; он колотил мальчика, заставлял его голодать и истязал до крови. Ребенку пришлось вынести весь ужас обучения у хозяина-ремесленника, т.-е. быть отданным на произвол чужих жестокосердных людей и день и ночь чувствовать на себе гнет их приказаний, их грубости, черствости и насмешек. Он не смел свободно высказывать своих мыслей; он постоянно был голоден; он всегда чувствовал себя скованным. В обстановке, где с ним обращались, как с холопом, где его третировали, как раба, он приобрел все пороки рабов и холопов. Он стал труслив и злопамятен, научился воровать и лгать. Душа его зачерствела, его жаждущая любви натура замкнулась в озлобленном молчании, живость его темперамента сменилась вялостью и тупостью. Лишь в позднейшие годы он с горестью осознал вполне, насколько характер его в короткое время изменился к худшему.

Со своим двоюродным братом Бернаром он теперь редко встречался;

последний жил в верхнем городе, в аристократическом квартале, между тем как он, Жан-Жак, принужден был поселиться в нижнем городе, где жили ремесленники и низшие классы народа.

Таким образом он был совершенно лишен тепла своей прежней жизненной обстановки. Все вокруг него было холодно и серо.

Кто сочтет те тысячи мальчиков, ум которых тупеет и характер калечится на всю жизнь за тяжелые годы их пребывания в учении у мастера? Жан-Жаку посчастливилось избежать окончательной гибели; добрая фея стояла у его колыбели, и когда действительность стала слишком гнетущей, она простерла свой волшебный жезл и увела его за собой в свои лучезарные сферы. Эта фея была фантазия.

В Боссэ он проводил время в играх и шалостях и познал там счастье действительности. Теперь он искал спасения от ее горестей в царстве мечты. Но, еще не в силах уноситься на собственных крыльях, он пользовался чужими.

Он стал читать. Он читал без разбора все, что только ни попадалось под руку, читал со страстью, с упоением. Он был ненасытен, ибо следовал чувству самосохранения. Когда запас денег его истощался, он закладывал свое платье, чтобы иметь возможность абонироваться на книги. Что это был за странный и пестрый мир, в котором он искал спасения! Он с жадностью хватал все, что ему предлагала владелица книжной лавки; он перечитал все, что у нее было в лавке. Только от грязных книг, которые она с таинственным видом старалась ему навязать, он отказывался, потому что стыдился.

Он не довел до конца своего учения у мастера. Но оно длилось достаточно долго, чтобы дать ему тот элемент культуры, который заключается в дисциплине ручного труда для каждого человека, а тем более для такой поэтической натуры, как Жан-Жак. Он научился терпению, тщательности в работе и выдержке. Он, для которого мир фантазии был реальнее воспринимаемого внешними чувствами мира действительности, близко освоился хотя бы с небольшой частью этого чувственного мира и научился управлять ею и претворять ее. Он, мечтатель, научился тому уважению к ручному труду, которое вполне доступно только человеку, самому учившемуся какому-нибудь ремеслу.

И эти семена тоже дали плоды. То обстоятельство, что он в юности был ремесленником, в течение всей его жизни сближало его с трудовым народом. И когда он, на пороге славы, принял мужественное решение жить впредь трудом своих рук для того, чтобы сохранить свою свободу, удивление и насмешки его друзей, профессиональных литераторов показали ему странными: ведь он только возвращался к знакомому и близкому ему укладу жизни.

Тем не менее, для него было счастьем, что период учения его у мастера не был более продолжительным. Он закончился совершенно случайно, в результате внезапного импульса. Мальчик привык в свободные дни бродить с товарищами по окрестностям города; в такие минуты в нем просыпалась прежняя резвость и необузданность, он становился коноводом своих товарищей и забывал пространство и время.

Два раза уже они, возвращаясь с этих прогулок, находили городские ворота запертыми и были вынуждены ночевать под открытым небом. Хозяин его строго наказал и так пригрозил, что мальчика теперь охватил страх, и он не решился в третий раз вернуться домой утром. При виде подъемного моста, простирающего кверху свои рога, он совершенно упал духом, бросился на землю и в отчаянии стал грызть зубами песок. Он поклялся, что никогда больше не вернется. Товарищи дали знать юному Бернару, что его двоюродный брат хочет проститься с ним. Бернар явился, но ни одним словом не попытался удержать беглеца.

Таким образом Жан-Жак, гонимый страхом, на шестнадцатом году жизни пустился в свет. У него не было ни денег, ни покровителей, ни знаний, ни опыта; голова его была наполнена романтическими мечтами, и смутное безграничное честолюбие волновало его; бедный безумец, безоружный в борьбе за существование!

Но свет был полон приключений, и веяния свободы носились в воздухе!

3. ГОДЫ СКИТАНИЙ

Была ранняя весна, волшебное время года, когда пробуждаются к жизни самые безумные мечты. Он пришел в Савойю; на холмах по обе стороны долин высились рыцарские замки, и он с замиранием сердца думал о прекрасных девах, которые влюбятся в него, как и он в них. Ему казалось, что ему надо только протянуть руку, чтобы овладеть чудом; все кругом дышало любовью; удушливая повседневность осталась позади. Дни его будут протекать среди самых удивительных неожиданностей и приключений. Как сладостно ожидание грядущих событий! И как восхитительна ничем не стесненная свобода настоящей минуты! Он бродил, куда и как вздумается; он ходил, отдыхал и мечтал; крестьяне давали ему еду и ночлег; он как бы купался в свободе.

Мечты эти были – мечтами. И свобода, окружавшая его, была лишь видимостью. То, что он сделал, не было решением свободной воли, это была крохотная волна в океане совершающегося, одна из многих тысяч точек, которые, соединяясь в линии, дают то, что мы называем "общественными явлениями". Его бегство было следствием системы обучения ремеслу, действия этой системы на чрезвычайно впечатлительную натуру. И всякий, знавший его и местность, в которую он пришел, мог бы предсказать, что с ним произойдет после его бегства. Он почти не мог сделать шага за пределами женевского округа, чтобы не очутиться у заклятого врага, во владениях герцогов савойских. В прежние времена они пробовали подчинить себе буржуазно-протестантский город силою оружия. Но, несмотря на многократные попытки, им это не удавалось, и борьба в конце концов прекратилась. Теперь опыты продолжали ее, и их оружием были хитрость, коварство и подкуп. Черные пауки распростирали свои сети вплоть до ворот города Женевы, подстерегая заблудших сынов протестантства. Молодой и неопытный человек, бродивший по дорогам без средств к существованию, неминуемо попадал в их сети и, не успев оглянуться, оказывался

"обращенным".

Первый встречный с известным положением и достатком, к которому беглец попал после первых дней странствования, оказался одним из тех духовных пастырей, которые систематически занимались обращением неверных. Он накормил голодного мальчика сытным обедом, щедро угостил его тем золотистым местным вином, от которого на душе делается легко и развязывается язык, расспросив его, увидал, что имеет перед собою душу, которую можно обратить на путь истинный, и направил его к г-же де-Варан, дворянке, жившей в Аннесси скудными милостями сардинского короля. Будучи сама новообращенной, она служила орудием в руках ксендзов: квартира ее была проходным пунктом, откуда новообращенных направляли дальше, в центральный институт в Турине, где их наставляли в принципах католицизма.

Он явился к ней; ему сказали, что она отправилась на богослужение. Он настиг ее на дороге, тянувшейся вдоль ручья от ее дома к церкви; она услышала его шаги и обернулась. Он ожидал увидеть перед собою старую богомолку и с удивлением остановился перед юной миловидной красотою, представшей его глазам.

Г-же де-Варан было тогда двадцать восемь лет, она была на двенадцать лет старше Руссо. Разойдясь со своим мужем, она шесть лет уже жила в Аннесси со своим домоправителем и в то же время любовником, швейцарцем Клодом Анэ. Впрочем, об отношениях их никто не знал. Она была женщина небольшого роста, с пышными мягкими формами, какие Ватто придавал своим женским фигурам. Цвет лица у нее был необыкновенно свежий, напоминавший лилии и розы; в глазах ее сияла Кротость; пышные, тонкие пепельно-белокурые волосы окружали ореолом ее нежное личико; голос ее напоминал серебряные колокольчики, улыбка была обворожительна. Такою она представлялась не только Руссо, кою видели ее и другие. Она обладала очарованием грации.

Женщины уже много раз занимали его юношеское воображение, и он не раз влюблялся по-детски в девочек старше его годами; но теперь в первый раз любовь овладела его сердцем. Пылкая привязанность и безусловное доверие, как два белых голубя, подымались из глубины его. Он нашел звезду своей юности.

Пятьдесят лет спустя, описывая их первую, встречу—это было последнее, что он написал,—он говорил, что этот момент был решающим для его жизни и определил, через цепь неизбежных звеньев, всю его дальнейшую участь. Красивая молодая женщина привязала его к себе единственными узами, гнет которых никогда не казался ему тяжелым. Его робость, его неловкость растаяли перед ее грацией; все растворилось в душе его, подавленная мягкость его природы хлынула наружу и встретилась с ее мягкостью... это было счастье.

Была ли это любовная страсть? Он этого никогда не знал, ни тогда, ни позднее. Она сразу стала для него очаровательным видением, вознесшим его над землю, осуществлением идеала, носившегося пред ним всегда в его романтических мечтах, потом весьма скоро щедрой

покровительницей, извлекшей его из убожества бродячей жизни и приютившей в своем уютном доме; еще позднее его старшим другом, его "мамой", наставлявшей его, мягкой рукой сглаживавшей его шероховатости, и в то же время обожаемой женщиной, перед которой он преклонялся с фантастической страстью. И в конце концов она стала его возлюбленной, не под давлением чувственной страсти, как она говорила, а для того, чтобы уберечь его от других. В течение всей его бурной молодости она заполняла его сердце и все его помыслы; с тех пор он принадлежал ей, у нее он чувствовал себя укрытым от жизненных невзгод; покидал ли он ее, чтобы пуститься в свет, возвращался ли, она одинаково держала его в своей власти, и в этом было его счастье.

Но она ему не дала познать упоение чувственности первого любовного экстаза. Наоборот, благодаря ей, он его совсем не познал; ибо в дни разгара страсти к ней он был еще мальчиком, не дерзавшим приблизиться к ней, а когда она, наконец, спустя многие годы, отдалась ему, его долгая дружеская интимность с ней и детски - послушная привязанность заставляли его останавливаться с содраганием, словно он в противоестественной любви обнимал свою мать.

Г-жа де-Варан представляла собой несомненно образчик своеобразной святой восемнадцатого столетия. Целомудренность в ее глазах была предрассудком; этому научил ее один из прежних возлюбленных ее, и это было для нее удобным принципом. Сердце у нее было горячее и мягкое; темперамент холодный; окружавшим ее и покровительствуемым ею юношам, жаждавшим ее, она отдавалась не из страсти, а для того только, чтобы сделать им приятное, почти не задумываясь. Лишь бы эти любовные связи оставались скрытыми от всех глаз; этого требовали приличие и ее общественное положение; и этого она держалась очень строго. Она обладала изумительной энергией; ее предприимчивость была из нее ключом; ее живое воображение, устремлявшееся на всевозможные планы, постоянно увлекало ее. Будучи замужем за дворянином де-Лоа, она основала чулочную фабрику, ввергшую ее в долги и большие неприятности; она нашла выход в бегстве из Веве; отправившись на другую сторону Женевского озера, в Эвиан, она бросилась в ноги королю. Вскоре после этого последовало ее обращение.

За что только она ни принималась за всю свою долгую жизнь! В то время, когда Руссо явился к ней, ее коньком было изготовление медикаментов из горных трав; целыми днями она варила снадобья, и Руссо волей-неволей должен был пробовать все ее лекарства. Затем стала на очередь алхимия; позднее чулочную фабрику сменило производство шоколада, мыла, каменной посуды и, наконец, всевозможные рудничные предприятия в горах Савойи, разработка железных, угольных и даже каких-то фантастических золотых копеек; для эксплуатации их она основывала акционерные общества. Сколько планов, тревог, сколько людей, обманывавших ее или в свою очередь обманутых ею, сколько интриг и, само собой разумеется, сколько неудач и разочарований. Бедная баронесса! Столько потраченной энергии, и в результате долгих годов работы и все растущих долгов — финансовое

разорение и моральный крах.

Несмотря на все это, именно здесь, в этой беспокойной атмосфере вечного придумывания новых планов, Руссо нашел покой как внешний, так и внутренний. Ему нужен был покровитель, который давал бы ему пропитание, ему нужно было место и время, чтобы развиваться, найти свое я, вдуматься в себя, накопить знания, а узы любви были единственные, которые он мог сносить. Все другие узы он разрывал под напором своей любви к независимости и своего нетерпения. Не будь любимой женщины, он бы стал бродягой, только чтобы сохранить свою свободу; она была для него мягким светочем, никогда не погасавшим, теплым приютом, где он находил пищу для тела, сердца и ума.

Когда она в первый раз предстала перед ним, простым мещанским мальчиком, только что вырвавшимся из мрачного логова своего хозяина - ремесленника, она показалась ему воплощением женственной грации и благородства. Это первое впечатление осталось и послужило фундаментом зданию, которое воздвигли его чувства. Он видел ее в ореоле красоты и внутреннего сияния—и то, что он видел, было глубокой истиной, доступной только очам любви. Он постиг самые ценные черты ее женской природы: терпение и кротость, способные все снова и снова дарить прощение и доверие, легкую грацию, сглаживавшую все шероховатости жизни и смерти, трогательную нежность, сиявшую сквозь всю тревогу и беспокойство жизни и распространявшую кругом мир, создавая вокруг как бы атмосферу гармонии. Такого он ее видел и впитал в себя, таким он сохранил ее образ в сердце и увековечил для позднейших поколений в прелестных описаниях дней своей счастливой—через нее счастливой—юности.

Вначале, правда, недолго, дороги их еще расходятся. Она отправила его в Турин, где его должны были обратить в католичество. Гонимый жадой странствования, он охотно отправляется за горы. Куда девался пыл энтузиазма к вере отцов и к свободе, которым он горел в детстве? Стать католиком означало порвать с прошлым, потерять свое место в общине, отречься от идеала детских лет. Но его нравственное чувство притупилось за годы обучения в мастерской, душевный пыл ребенка погас в юноше, подавленный жадой любви и славы, тщеславием и честолюбием. Настанет время, когда он снова разгорится: ребенок — отец мужчины. Пока же он думает только о чужих странах и великопепных городах, которые ему предстоит увидеть, и о прекрасной женщине, волю которой он исполняет. Он попрежнему тесно связан с нею, попрежнему видит в ней свою покровительницу. Впереди ему сияет свобода; любовь согревает его сердце; мир полон новой красоты, все блещет богатым содержанием; мечтая, наслаждаясь, восторгаясь, он совершает свое путешествие через Альпы и является в Турин.

Там его ожидает разочарование, одиночество, унижения. Его принимают в институт, за ним скрипя замыкаются тяжелые двери; птичка поймана. Там он встречается таких же бедняг, как и он сам, но тут же он видит и угрюмые мрачные лица, отбросы всех стран, смотрящие на свое обращение, как на выгодную сделку. Он начинает сознавать, что то, что

он собирается сделать: переменить веру ради хлеба, есть трусость. Он пробует противиться, старается прижать к стене обучающихся его ксендзов аргументами из истории церкви и катехизиса. Но что пользы? Надо было быть гигантом по уму, человеком с железной волей, чтобы еще теперь спастись от ксендзов. По истечении четырех мучительных месяцев он покидает институт католиком. Увы, где те прекрасные мечты, сопровождавшие его при вступлении в город, когда взоры его в первый раз поднялись к великолепным дворцам и ему казалось, что неслыханное, небывалое сейчас осуществится! Монахи дали ему двадцать франков, результат устроенного в его пользу сбора, и открыли пред ним двери.

Он бродит по городу, наслаждаясь роскошью столичных улиц и своей новообретенной свободой; за грош в сутки он находит ночлег у жены солдата. Он пробует кое-что заработать граверной работой. При этом он знакомится с красивой и любезной женой одного лавочника-итальянца и, конечно, влюбляется в нее; красавица поощряет его, но он слишком робок, и муж-бульдог кладет преждевременный конец интриге, раньше чем она успела развиться.

Величайшее наслаждение в те дни доставляет ему посещение церковной службы. Его тщеславию льстит возможность находиться в церкви вместе с государем и его свитой. Но не только это. Церковная капелла короля сардинского славилась своим совершенством; великолепие итальянской духовной музыки очаровывает Жан-Жака; страсть к музыке пробуждается в его душе задолго до того, как в нем заговорила страсть к перу.

Запас денег его истощается; в конце концов его хозяйка доставляет ему место, он поступает лакеем к старой больной аристократке. Через три месяца она умирает. Смерть ее служит поводом к случаю, самому по себе незначительному, но свидетельствующему о ничтожности нравственной силы Жан-Жака. Он похищает шелковую ленту, и когда кража обнаруживается, он в замешательстве и из ложного стыда сваливает вину на одну из служанок, добрую, невинную девушку, никогда ничего дурного ему не причинявшую и против которой он сам ничего не имел. За этот поступок, совершенный из слабости, его в течение многих лет преследуют укоры совести; когда он кается в нем в своей "Исповеди", враги его поднимают крик о порочности его природы, друзья превозносят его правдивость.

Он получает новое место в аристократическом доме и влюбляется в одну из молодых графинь, которым он прислуживает. Случайно обнаруживается, что его воспитание и развитие выше того, чего можно ожидать от лакея. Его господа относятся к нему благосклонно; сын графа, священник, дает ему уроки латинского языка и пользуется им, как секретарем; таким образом он научается безукоризненно говорить по-итальянски. Другой священник, с которым он знакомится, молодой вдумчивый человек, с серьезным взглядом на жизнь и мягким и терпимым образом мыслей, заинтересовывается им, наделяет его добрыми советами и пытается охладить его наивное неумеренное

восхищение перед суетностью окружающего его мира. Позднее эти семена возрастают и дают двойной плод: его ум воспринимает их, как жизненную истину, а его фантазия возвеличивает воспоминание о молодом пастыре в благородной фигуре "Савоярского викария", образе, олицетворяющем важный этап в развитии религиозной мысли.

Будущность его кажется обеспеченной: занимающая место в дипломатическом мире семья Гувоннов нуждается в одаренном, умном, честолюбивом юноше, как Руссо, для исполнения обязанностей доверенного секретаря. Но он и здесь не удерживается.

На пути его является соотечественник, молодой веселый чудак; к этому рыцарю счастья Руссо воспламеняется одним из тех непреодолимых порывов дружбы, которые были у него в крови и которым он не мог не следовать. Он хочет, он должен уйти с Баклем; его тянет опять к странствованию; он начинает пренебрегать своими обязанностями у графа только для того, чтобы ему отказали от места, и безмерно счастлив, когда достигает этой цели. Он пускается в свет со своим новым другом; оба убеждены, что соберут золотые горы демонстрацией "чудесного источника", дающего вино, когда в него была налита, повидимому, только вода.

Несколько недель они наслаждаются свободой, беззаботной жизнью, потом кошельки их пустеют, и оба юных глупца направляются в Аннесси. Там Жан-Жак расстается со своим веселым товарищем и спешит к г-же де-Варан. Сердце его бьется от страха, что она его оттолкнет; он боится не бедности, а того, что она отнесется с порицанием к его безрассудной выходке. Она принимает "бедного мальчика" с улыбкой и словом сострадания; для него сейчас же готовится постель.

На этом его странствования не кончаются; но в течение ближайших десяти лет поток его жизни все снова и снова сливается с ее жизнью, и дом ее остается его домом, как часто он ни покидает его.

С этого времени начинается ряд счастливых дней, о которых он говорит много лет спустя, что они были в его жизни единственными счастливыми днями, когда он мог быть вполне самим собой. Все существо его, не переносившее никакого принуждения, никаких обязательств, ненавидевшее их, расцвело теперь; ибо узы, которые он нес, были узами любви, а любовь была свобода, чарующая, неограниченная свобода, эластичная, как облако пуха, носящееся в воздухе.

Его мягкая и в то же время тяжеловесная натура нуждалась в любви, которая одна только могла ее расшевелить; не согретые дыханием любви, все силы души его оставались кованными, все в нем было холодно и пусто. Любовь к женщинам, в тех формах, как он ее часто переживал, не бурную страсть, а как чувственную нежность и нежную чувственность, оживляла поток его душевных сил, ускоряла движение его крови, биение сердца, работу мозга, давала определенные контуры смутным образам его фантазии, приводила в ясность спутанный клубок его мыслей. Один только раз в жизни он писал, руководясь исключительно другим принципом, принципом морали, стремления к

добродетели, равенству и свободе; но в результате получилась пустая риторика, пыл которой не согревал.

Эта юношеская любовь, все растущая в его сердце и в течение некоторого времени поглощающая все остальное, сохранилась в его памяти не как страсть, беспокойное желание, а как нежная привязанность, покорная преданность, как совершенный покой и совершенное доверие. Его любовь к г-же де-Варан была одним из тех чувств, в которых соединяется все, что есть нежного в человеческой привязанности. Чувствовать в сердце такую любовь было для него величайшим блаженством. Кто знает только страсть любви, пишет он в своей "Исповеди", тому незнакома самая утонченная нежность жизни: "мне знакомо более нежное чувство, может быть, менее бурное, но в тысячу раз более прекрасное, иногда соединенное с любовной страстью, иногда и нет. Это чувство—не только дружба, оно нежнее; я не могу себе представить, чтобы оно могло существовать между лицами одного пола. Ибо если кто-либо способен быть истинным другом, то это я, а между тем я никогда не испытывал такого чувства ни к одному из моих друзей, кто бы они ни были".

Сладостная смутная неопределенность чувства, граничащего между дружбой и любовью, когда сердце не томится тоской, а нежно и пышно распускается, как плод летней порою, было самым сильным, существенным элементом в любви Руссо к г-же де-Варан. Чувство это подымало его.

Потому-то целых десять лет, в течение которых юноша превращался в зрелого мужчину, эта очаровательная, но не глубокая женщина, никогда его не понимавшая, играла роль великой творческой силы его жизни. Она цивилизовала робкого мальчика, полировала одичавшего странника, научила его тонким манерам и правильному французскому языку. Она дала ему все, чем владела сама в смысле образования: некоторое поверхностное знание французской философии и литературы своего времени и начинавшей в то время расцветать английской литературной прозы в лице Аддисона (в переводе). Она дала ему внешний лоск светского образования, приобретенный ею самою из довольно скудного чтения, опыта и бесед с умственно наиболее развитыми представителями савойского дворянства. Это было немного; да много он и не мог переварить, ибо представлял еще слишком сырой и некультурный материал; но это сделало его более способным, по прошествии нескольких лет медленного созревания, самостоятельно впитать в себя и усвоить умственное движение своего времени. Она дала ему также свою собственную веру, столь подходившую к его мягкой натуре - кроткое, поэтически-мягкое и туманное христианство Фенелона, в котором ее любящая покой и удобство натура чувствовала себя уютно, как под мягким пуховиком. Пиетизм еще в начале столетия был перенесен из Германии в Швейцарию, и г-жа де-Варан, еще девушкой познакомившись с одним из его выдающихся апостолов, подпала под его влияние. Учение, провозглашавшее в противовес внешним обрядам, в противовес делам—чувство, внутреннее отношение к богу, не могло ей не

понравиться; ведь в нем было оправдание ее слабостей и возвеличение ее собственного любвеобильного сердца. Руссо впитал в себя эти мысли, не зная их происхождения; их поверхностная грация приобретала глубину и содержание в темных ходах его души.

Вместе с мягкостью манер и поверхностными знаниями, которые он всосал в себя так, что они стали частью его самого, он впитывал в себя и красоту обстановки, в которой он прожил эти годы: с одной стороны, старинный аристократический городок, с его нависшими над улицами, как гирлянды, аркадами, городок, напоминавший своими средневековыми башнями, своими тихими, вливающимися в озеро каналами Венецию в провинциально-уменьшенном виде; с другой— очаровательная природа, на лоне которой эта прекрасная городская жизнь расцвела таким восхитительным цветком. Из его комнаты ему были видны и плодородная долина, растянувшаяся далеко за городом, и склоны высившихся вдаль холмов, и неясные очертания горного хребта, длинный гребень которого замыкал на севере горизонт, сливаясь с бледным золотом вечернего неба. Насколько мягче было здесь все, чем в Женеве, как нежно и ясно! И когда он бродил вдоль сверкающего на солнце озера, под тополями и платанами, перед ним вставала вся романтика гор: дикие скалы с чернеющими в них расселинами и снежные вершины по обе стороны озера, а далеко впереди смыкающиеся на горизонте кулисы гор. Широкий и вместе с тем ограниченный пейзаж, в одно и то же время величественный, как в Швейцарии, и чарующий, как в Италии, картина мира и гармонии.

Этот пейзаж сливался воедино с его душой и его любовью. Когда он, весь уйдя в мир мыслей и мечтаний, бродил по горам, его охватывал блаженный восторг и Снедающее душу желание быть всегда с любимой женщиной. Ибо в то время они еще часто жили врозь. И когда он позднее отдавался мечтам, чудным видениям любви, ее образ всегда вставал перед ним в рамке гор, окаймляющих озеро.

* * *

Г-жа де-Варан часто ломала себе голову над тем, какое призвание следует избрать юноше. Может быть, он и стеснял ее несколько в ее доме ввиду ее отношений с Клодом Анэ. Она попросила одного своего знакомого проэкзаменовать юношу; результат был тот же, что и в Женеве: экзаминатор нашел его мало одаренным, с ограниченными умственными способностями. В лучшем случае, было его мнение, из молодого человека мог выйти деревенский пастор.

Его поместили в семинарию в верхней части города. Снова заключенный в четырех стенах, он стал попрежнему мечтать о сладостной свободе. Он проявлял большую старательность в семинарии, но казался мало понятливым. Он не мог учиться от других и менее всего под принуждением, ему надо было до всего доходить самому; но учителя его, конечно, этого не знали. Его отослали из семинарии, и он опять явился домой.

Его покровительница сделала другую попытку; она отдала его в учение к капельмейстеру соборной церкви, чтобы подготовить его для

пения в церковном хоре. Успехи его и здесь были не велики, но музыка восхищала его; он чувствовал себя в этой атмосфере совершенно счастливым и усердно упражнялся к общему удовлетворению. Здесь он и не был отрезан от любимой женщины, как в семинарии, певческая школа для мальчиков-хористов находилась против ее дома, и он ежедневно мог посещать ее. К сожалению, учитель его поспорил с одним из каноников, легко возбуждающийся музыкант почувствовал себя оскорбленным и решил тайно покинуть Аннесси. Видя, что она не в состоянии его удержать, г-жа де-Варан помогла ему уйти, выразив при этом желание, чтобы Руссо сопровождал его. Жан-Жак повиновался; но когда с бедным музыкантом на улице Лиона случился припадок судорог, им снова овладевает один из тех внезапных порывов, которым он не научился противостоять, и он убегает, не позаботившись даже о больном учителе. Как голубь к своему гнезду, он устремляется в Аннесси, но г-жи де-Варан там уже нет. Какая-то политическая интрига, о которой Руссо никогда и не расспрашивал, отозвала ее в Париж. Без всяких занятий и совершенно лишенный средств, он еще некоторое время остается в Аннесси. В этот период беспокойного бесцельного существования на долю его выпадает один из тех редких золотых дней совершенного счастья, воспоминание о которых никогда не умирает в душе человека. Два образа наполняют этот день, два очаровательных девичьих образа; один кроткий и задумчивый, другой более веселый и шаловливый, но оба прелестные. Он встретил прекрасных всадниц в ранний утренний час, раньше чем солнце успело взойти над тесной долиной. Он помогает им перебраться через ручей; они болтают и шутят с ним и приглашают его проводить их. Он садится на коня позади одной из всадниц и обхватывает ее руками, дрожа от восхищения. Потом прогулка в дивное летнее утро, среди солнечного света, аромата цветов и пения птиц; затем, у цели прогулки, чудесный деревенский обед в овине поместья, и наконец, в фруктовом саду, веселое угощение вишнями, которые он срывает и, тщательно прицеливаясь, кидает в молодых девушек. Весь долгий день, с утра и до вечера, был напоен счастьем, как летнее облако в ясный день солнечными лучами. И все это дышало ароматом невинности милой скромности. Дивное воспоминание оседает в его душе в лучах тепла и света; продолжая жить в ней, оно отходит постепенно в область бессознательного, пока не настанет время, когда оно вновь выплывет на поверхность и соткет свою золотистую сеть вокруг очаровательного видения, образов двух подруг, Жюли и Клэр.

Теперь наступает для Руссо последний и самый дурной период его бродячей жизни; все сбивается в кучу, жизнь его запутывается, как клубок ниток. Он провожает в Фрейбург горничную г-жи де-Варан, красивую и расположенную к нему девушку, и по пути посещает своего отца. В Лозанне он выдает себя за музыканта и находит несколько уроков. По примеру одного музыканта - искателя приключений, с которым он познакомился в Аннесси и которым сильно восторгался, он принимает вымышленное имя и проделывает самые безумные вещи; с задором сумасшедшего он, не обладая еще почти никакими познаниями в

музыке, добивается исполнения в оркестре собственной "композиции", настоящей какофонии. Движимый острой нуждой, он письмом умоляет своего отца о помощи. Часовщик требует, чтобы сын его вернулся в лоно протестантства, но Жан-Жак отказывается. В течение некоторого времени он странствует с каким-то мошенником, выдающим себя за греческого монаха и собирающим в Западной Европе пожертвования на гроб Господень. Направо и налево он обращается с просьбами о помощи. Французский посол в Берне доставляет ему в Париже место деньщика у молодого офицера, племянника полковника; со своим господином он отправляется туда, находит город грязным, мрачным и отвратительным, снова убегает и возвращается пешком через всю восточную Францию в Савойю. Путешествие это доставляет ему громадное наслаждение; он беззаботен и весел, как птица, беден, как церковная крыса, но душа его— это переполненная душа поэта.

Все, что ему нужно, он выпрашивает по дороге. Его восхищает природа, ее мягкость и красота, но в еще большее восхищение приводят его дивные видения, встающие в его мозгу под действием движения на открытом воздухе. В Лионе он узнает, что г-жа де-Варан вернулась в Савойю и поселилась в Шамбери; там он ее находит и снова поселяется у нее, на этот раз надолго. Бродячая жизнь кончена; худшие инстинкты его натуры перебрадили, и он начинает более сознательную жизнь.

Четыре года тому назад он бежал из Женевы; теперь ему двадцать лет, из мальчика он стал юношей. Он много приобрел за это время, кое-что и потерял, много накопил в себе чрезвычайно важного для будущего поэта-реформатора. Он воспитался не на более или менее разжиженных отвлеченных идеях, преподающихся в школах; жизнь сама взяла его в свои лапы, формируя его, иногда мягкими, иногда жесткими приемами. Но с тех пор, как он покинул родной город, он почти непрерывно следовал своему романтическому, но непреодолимому стремлению к свободе, жил, беспрепятственно отдаваясь полноте своих впечатлений. С бессознательной непреклонностью он, индивидуалист до глубины души, упорно отказывался применяться к общепринятым правилам приличия; он всегда оставался свободной птицей.

Свободная птица—так определяется его тогдашнее состояние на языке лишенных предрассудков людей; на языке общепринятых условностей он был "declassé". Он потерял корни в той маленькой буржуазной общине, из которой происходил; он соскользнул с общественной ступени независимого гражданства и попал в пролетарский класс лакейства. Его инстинктивная гражданская гордость ощутила лакейство, как удар по лицу, его тщеславие и честолюбие страдали, его тонкой чувствительности на каждом шагу наносились раны. Такие раны навсегда оставляют рубцы. Чувство испытанной им жгучей несправедливости в росте формирующегося характера застыло в длительной горечи, в недоверии ко всем выше его стоящим на общественной лестнице,—которых он в то же время, в смутном, но сильном сознании своих дремлющих дарований, считал ниже себя,—в вечно терзавшем его мнительном страхе за свое попираемо ими

человеческое достоинство. Эти мучительно-сложные чувства все снова и снова овладевают им в его сношениях с сильными мира сего; они лишают его уверенности манер; мешают ему подходить к этим сношениям со спокойной оценкой и они-то в значительной доле лежат в основе его болезненной подозрительности. Могли ли они не повлиять его идеи? Конечно, и темперамент его, и характер, его нервная организация, его огромная раздражительность, его близорукость и беспомощность, его физическая немощь (он многие годы страдал от болезни мочевого пузыря) способствовали тому, что отношения его с людьми были тяжелы, но, читая внимательно письма его того времени, когда он был знаменитым писателем, видевшим у своих ног мужчин и женщин большого света, нельзя сомневаться в одном: что наиболее глубокая причина его подозрительности и раздражительности лежит в том обстоятельстве, что он в юности потерял почву под ногами. От последствий этого обстоятельства он никогда не мог освободиться. В этих письмах всюду сквозит страх, что его друзья обоего пола из большого света будут на него смотреть, как на "слугу". Этот страх, а не только буржуазная гордость и душевная чувствительность, заставляет его внезапно приходиться в волнение, грубо и бестактно отталкивать самые простые знаки внимания.

Он познал глубины жизни, как бедняк, часто не знающий, где он найдет хлеб, чтобы насытиться, как истый пролетарий. Нужда никогда не могла его сломить; в юности он был беспечен, как птица, парящая в воздухе, а позднее в нем было слишком много внутренней стойкости для того, чтобы угроза бедности могла смутить его сердце; в этом отношении он совершенно не оправдывал своего мелко-буржуазного происхождения. В период своей бродячей жизни он сталкивался нередко с сумасбродными натурами, с странными искателями приключений, которыми он в течение более или менее продолжительного времени увлекался, которые увлекали его за собой, но и со многими хорошими, честными, простыми людьми из низших народных слоев. У их он находил гостеприимство и помощь в нужде, среди их он чувствовал себя как дома. В Лозанне хозяин гостиницы, где он жил, в Турине квартирная хозяйка помогали ему, бедному искателю счастья, совершенно бескорыстно, из одного человеколюбия. Позднее он сравнивал их образ действий с образом действий важных господ, которых он знал. Как часто его злило их оскорбительное высокомерие и еще чаще их снисходительная любезность! Он находил, что в простом народе естественная человечность еще не заглушена тщеславием и своекорыстием. Обо всех этих простых людях он думал с теплым чувством; он чувствовал, что с ними связан сердцем. И им жилось тяжело, они бедствовали, сильные мира сего притесняли их; это возмущало его, глодало его душу. Во время своего странствования по восточной Франции он однажды попал к крестьянину, который вначале было предложил ему очень скудную еду, опасаясь, что имеет перед собою шпиона фиска, орудие королевских податных чиновников, отбиравших у крестьян то немногое, что им оставляли дворяне. Но,

успокоившись относительно личности своего гостя, он гостеприимно угостил его плодами труда рук своих, которые он должен был тщательно скрывать, чтобы их у него не отняли: ветчиной, вином и белым хлебом. И в сердце призадумавшегося гостя заронилось семя "неугасимой ненависти к притеснителям народа". Он, мечтатель, предававшийся красивым фантазиям, познал не в теории, а на собственном опыте сущность всех общественных отношений, отношения эксплуатируемых и эксплуатирующих классов. Этот опыт стал частью его самого, он влил горечь в его кровь, обострил его мышление. Зло, испытанное им самим, и страдания народных масс слились в его душе в одно чувство.

Но в основе этого чувства лежало исключительно эмпирическое начало: личный опыт и личная оценка.

Таким образом, он много уже успел впитать в себя, когда явился в Шамбери. Чего ему не хватало и в чем он больше всего нуждался, это были общие начала: широкий фундамент знаний, как интеллектуальная основа систематического мирозерцания, и твердые принципы в области нравственной.

IV. ГОДЫ ВНУТРЕННЕГО РОСТА

Г-жа де-Варан, ожидавшая его, встретила его сообщением, что нашла ему место в кадастровом ведомстве. Свободный странник превратился в бюрократа; само собою разумеется, что он ненавидел как самую работу, так и свою канцелярию. Все же он некоторое время тянул эту ляжку, должно быть, до смерти Анэ, натуры серьезной, строгой, глубокой, пользовавшейся известным авторитетом в доме. В следующие затем годы он ближе заинтересовывается музыкой, которая совершенно заполняет его жизнь. Мечтательно-пассивное отношение к жизни составляло одну сторону его существа; другая сторона его заключалась в бурных порывах воли, проявлявшихся неудержимо-страстным влечением. Он набрасывался на предмет, словно хотел его поглотить, и только изнурял себя в непомерном напряжении собственных сил. Теперь он набросился на теорию музыки: с своей плохо усваивавшей головой он взялся за "Traite de l'Harmonie" (учение о гармонии) Рамо, обширное туманное сочинение, которое он тем не менее надеялся одолеть. Память у него была, как решето, она ничего не удерживала, но он не прекращал усилий, пока не освоился с миром гармонии. Потом он воспылил страстью к шахматной игре; запираясь от всех, он с помощью руководящей книги изучал все комбинации и тонкости этой благородной игры и сидел над ними, пока у него не темнело в глазах; потом он бежал в трактир, чтобы померяться силами с другими игроками, и хотя у него голова шла кругом от царившей в ней путаницы, он не падал духом.

Шамбери был главным городом Савойи, центром управления и общественной жизни. Дворяне, поступавшие не военную службу, где только в них оказывалась нужда, собирались здесь, когда брали отпуск или, выйдя в отставку, возвращались на родину. Они вращались в обществе высшей интеллигентной буржуазии: членов магистрата, чиновников, врачей, ученых духовного звания. Сюда же примыкал

собственно средний класс, купцы и т.д. У г-жи де-Варан были знакомства в этих различных кругах, и таким образом Руссо пришел в соприкосновение с некоторыми образованными людьми, интересовавшимися возникавшим в то время во Франции умственным движением и новой философией. С одним из них он читал письма Вольтера—звезда которого в то время ярко сияла—к прусскому королю, Фридриху II, и "Философские письма об Англии", сочинение, впервые обратившее внимание мыслящей Франции на английскую буржуазную литературу, теории Ньютона и философию Локка. Руссо воспытал новым энтузиазмом к французам и всему французскому, и он чувствовал, как любовь эта—непонятно для него самого—все росла в нем. Когда в 1733 г, разразилась война за польское престолонаследие и французские войска проходили через Шамбери, он страстно взволновался. В первый раз пробудился в нем интерес к общественной жизни: во все время войны он с жадностью накидывался на газеты, ища известий о судьбе своих друзей

Музыкантов в Савоие было немного, и Руссо скоро прослыл мастером в этой области. Он получил уроки; ученицы его были премиленькие девушки из аристократических и буржуазных кругов. Они не были нечувствительны к чарам молодого кроткого учителя с огненными глазами; да и матери не всегда оставались к нему равнодушными. Женщина, в доме которой он жил, почувствовала опасность, она боялась потерять его сердце, и эта мысль была для нее невыносима. Чтобы вернее сохранить его, она отдалась ему, и с этого времени он был ее возлюбленным вместе с Клодом Анэ. Как эти отношения действовали на Анэ, нам неизвестно; для Руссо же в таком сожителстве не было ничего шокирующего; он относился к своему старшему сопернику с чувством глубокого уважения и дружбы, а г-жа де-Варан сумела в данном случае внести нежность и согласие в отношения, которые нам кажутся столь же несовместимыми как с мужским достоинством, как с женской честностью. Дни протекали в совершеннейшей гармонии, а взаимное доверие и согласие между любящими было так велико, что ни один из обоих любовников не искал исключительного обладания возлюбленной, не стремился быть для нее всем. Во всяком случае в таком свете эти отношения представлялись Руссо в его воспоминаниях.

Но в конце концов, интимная любовная жизнь вдвоем выпала таки ему на долю. Анэ умер, и мечтательный "мальчик" оказался лицом к лицу с задачей, до сих пор лежавшей на рассудительном швейцарце: заведывать доходами и регулировать расходы г-жи де-Варан; в то же время ему надо было удерживать от безумств свою несколько своенравную возлюбленную с чересчур щедрой рукой и фантастической головой. Бедный Руссо, эта задача была тебе не по силам! У г-жи де-Варан, с утерей ее практического советчика, начинается полный хаос в делах, погоня за состоянием; деньги тают, и денежные дела ее запутываются все больше. Руссо видел все это, видел впереди разорение; он страдал за любимую женщину, но ничем не мог остановить надвигающегося краха. Когда забота о ней слишком сильно начинала его

мучить, он уезжал обыкновенно на несколько дней из дома, чтобы развлечься. Он отправлялся в Безансон, где брал уроки музыки у капельмейстера кафедрального собора, или находил себе какое-нибудь другое занятие. Это, конечно, опять-таки стоило денег и было неразумно, он это знал, но что было делать? Впрочем, они и тогда еще проводили время в Шамбери беззаботно, среди развлечений.

Г-жа де-Варан собирала у себя большое общество. Руссо устраивал домашние концерты, театральные представления, для которых выбирались полные интриг салонные пьесы, бывшие в то время в моде. К дворянству Руссо теперь откосился совершенно иначе, чем раньше; его республиканская строгость смягчилась, прежнее его неприязненное отношение к аристократии казалось ему теперь странным и преувеличенным; он высказал это в поэтической форме в мало известном письме, относящемся к 1741 году.

Но здоровье его сильно поддалось; он ослаб, чувствовал себя плохо, казалось, что ему грозила чахотка. Раз он даже слег в тяжелой болезни, и только тщательный уход и заботы г-жи де-Варан спасли его. Страстность, которую вносил во все, пожирала его силы. К тому же он не выносил города; Шамбери было гораздо менее привлекать его, чем Аннесси, это был скучный город с крытыми шифером домами, имевший вид заброшенной столицы. Вдобавок квартира г-жи де-Варан находилась в одной из задних улиц, не открывала глазу никакого вида, была темна и неуютна.

Как он жаждал зелени, как стремился в поле и лес! Он чувствовал, что в этом его спасение, что там он поправится. Г-жа де-Варан удовлетворила это его желание. Сначала она сняла дачу, лежавшую за пределами города, с небольшим садом, где он мог лежать, читать и мечтать; потом небольшой крестьянский домик в полудне расстояния от города, в горах, в небольшой долине, полной кустов боярышника соловьев. Туда они стали ездить с наступлением весны и проводили там целые дни. Но постоянные переезды взад-вперед были неудобны и утомительны. Поэтому г-жа де-Варан сняла в непосредственной близости от этого домика, в той же долине, веселую, просторную, идиллически расположенную дачу, "Les Charmettes". Дом этот стоит и поныне, и многое в нем еще сохранилось с того времени, когда он там жили: мебель в комнатах, картины на стенах. Сохранился спинет, на котором он пробовал свои мелодии, и шахматная доска, над которой он ломал себе голову, и кресле на котором он лежал в дни плохого самочувствия. Старая глициния перед домом превратилась в толстый сучковатый ствол; весной ее пышные цветочные гроздья привлекают рой пчел и наполняют воздух ароматом. И чары природы в смене дней и времен года в этой маленькой горной долине, эта красота, которую Руссо там впитал в себя и которая слилась с его существом, передалась нам, ныне живущим, через его произведения и в нас частью нас самих продолжает жить дальше. Ибо на-ряду с несколькими английскими поэтами Руссо был первый, давший выражение современному чувству природы.

Полагают, что там, в Les Charmettes, разыгралась любовная идиллия между Руссо и г-жей де-Варан. Он сам думал так же, когда, на границе старости, отягченный заботами, полусломленный горем и враждебностью людей, вспоминал золотые дни своей юности. В Les Charmettes он в первый раз провел месяцы подряд на лоне природы, не зная заботы о хлебе, не чувствуя в крови лихорадки странствования; там полной грудью вдыхал все ее очарование и всецело слился с нею. Вспоминая об этом времени, ему чудилось, что он снова вдыхает свежий, чистый воздух прелестной долины и медовый аромат глициний, вьющихся по стене дома, снова слышит жужжание тысяч пчелок, реющих над ее цветами. Он видел перед собой узенькую стезю, как змейка, ползущую через плодовый сад наверх, к дому, и виноградную лозу, взбирающуюся по утесу, и чистенький садик, распланированный с аккуратностью хорошо содержимого садика при пасторском доме. Он опять вступал в просторные, свежие комнаты, меблированные просто, но с утонченным вкусом, и в соответствии с требованиями людей, желающих жить бережливо; он снова смотрел на открывающуюся из окна картину. Ландшафт был именно такой, какие он особенно любил: смесь дикости и очаровательности; на переднем плане луга, виноградники и фруктовые сады, спускающиеся волнистой линией туда, где в равнине лежал залитый солнцем город; дальше неприступные гордые горы со своими остроконечными вершинами и высокими закругленными зубцами. Да, там он наслаждался природой во всей ее полноте. Он блуждал по покрытым виноградом склонам, читал и думал в фруктовом саду; он с заступом в руках копался в огороде и заботился о голубях на голубятне и о пчелах в улье; в утренние часы он предавался мечтам среди цветущего луга и в ясные ночи любовался звездным небом; и все было для него источником счастья,—и работа, и чтение, и ничего неделание, и самый процесс дыхания. Все предметы были окутаны золотистой дымкой счастья, потому что глаза его видели все сквозь золотую призму. Не любовь ли ткала вокруг этого эту золотистую сеть? Не она ли была причиной, что аромат трав казался ему слаще, блеск звезд ярче, пение птиц радостнее, чем когда-либо раньше или позже? Так он думал, оглядываясь назад, теперь, на границе старости, когда вехи юношеских переживаний уже побледнели, хотя самые переживания еще сияли в памяти ярким блеском. И таким образом воспоминания о любовном блаженстве ранних лет слились в его памяти в один дивный сон с воспоминанием о золотых днях, проведенных в Les Charmettes.

На самом деле любовь в этом раю была не блаженством; в ней были боль, раздоры, огорчения и унижения. Но он познал там другую радость, отблеск которой озарял его воспоминания: он там почувствовал рост своего морального и интеллектуального я. Все силы его природы в значительной степени созрели там.

Вернувшись в Les Charmettes летом 1737 года после не-продолжительного пребывания в Женеве, куда он ездил для получения причитавшейся ему части материнского наследства, он застал нового сожителя: плоского, самодовольного, шумливого молодого человека,

"парикмахерского подмастерья", как он презрительно называл Винценрида—на самом деле это был отпрыск дворянского рода Куртиллея, — который знал толк во всем, что было чуждо болезненному мечтателю, с усердием отдавался сельскому хозяйству, всем интересовался—словом, был невыносим. Этот весьма обыкновенный здоровый мужчина наполовину вытеснил его из сердца возлюбленной; ему, старшему, теперь пришлось делить, как в свое время приходилось делить Анэ, он должен был довольствоваться вторым местом. Он попробовал примириться с неизбежным, называл своего соперника "братом" и после первой бурной сцены помирился с ним, любовь сделала его трусливым и податливым. Но делить с ним возлюбленную он не мог, против этого восставало все его существо: в нем проснулось его мужское достоинство. Всю свою жизнь он безвольно отдавался течению жизненного потока и следовал всем своим импульсам и ощущениям. Но еще до этого последнего потрясающего события в нем стал замечаться перелом, он начинал задумываться о том, как следует жить, искать руководящего нравственного принципа, начинал понимать, что нельзя повиноваться каждому импульсу. Теперь этот перелом стал определеннее. Осенью 1737 года он отправился в Монпелье, полагая, что у него болезнь сердца; в дороге он, конечно, опять влюбился и стал ухаживать за дамой сердца под вымышленным именем, выдавая себя за англичанина. Дело очень скоро дошло до любовной связи. Она пригласила его посетить ее на обратном пути, и он обещал. В письмах к г-же де-Варан он умалчивает обо всем этом и прибегает к лживым выдумкам, чтобы объяснить крюк, который ему придется сделать на обратном пути. Но когда наступил момент сдержать свое обещание, его охватило раскаяние: неужели ему опять играть роль искателя приключений, после всех принятых решений? Он противостоял искушению и вернулся прямо в Шамбери; в первый раз в жизни он испытал чувство морального удовлетворения.

Дома он все нашел по-старому. Он отправился в Les Charmettes, где и провел почти целиком два следующих года, 1738-1739, зимою один, летом с г-жей де-Варан и Винценридом. Жизнь на маленькой ферме была патриархально-проста; по вечерам крестьянские девушки пряли льняную пряжу, из которой готовился холст на белье всем домохозяевам. Сбор винограда осенью был временем веселия и празднеств. Зимой Руссо сидел с фермером и членами его семьи у очага; тут пелись песни и рассказывались всевозможные истории. Все в этой деревенской жизни восхищало его. Неподалеку жил добрый сосед, дворянин, г-н де-Консье, несколько старше Руссо. Ему он должен был давать уроки музыки. Г-н Консье был начитанный человек, и Руссо, в юности очень легко поддававшийся под влияние людей, с которыми случайно приходил в соприкосновение, много извлек из этого знакомства. Интерес его к литературе усилился; он изучал Вольтера, которым восхищался, и, начав писать самостоятельно небольшие вещи, старался подражать ясному, элегантному стилю этого писателя. Но это плохо ему удавалось. Он чувствовал себя невежественным, все его знания, случайно вычитанные

то здесь, то там, были отрывочны; всюду замечались пробелы. Он решил заняться основательно, систематически и составил себе план работ. Он погрузился в философию, изучал Декарта, Мальбранша, Локка и Лейбница—по оригиналам или конспектам — и углубился в французскую историю. Он изучал также физику—Вольтер посвятил его в учение Ньютона — и математику; уже в Шамбери он занимался немного химией и однажды во время опыта сильно обжегся; теперь он взялся и за астрономические наблюдения, повергая этим в большое беспокойство крестьян, считавших его колдуном. Он с напряженным интересом следил за научными экспедициями, снаряжаемыми французским правительством в Центральную Америку и к далекому северу. Всеми возможными способами он старался увеличить свои познания. Работа стала для него страстью, чем-то вроде помешательства; все вокруг него было усеяно книгами, и он постоянно, бормоча, повторял усвоенное. Пора бессистемности прошла; он теперь очень хорошо знал, чего хотел. Он преследовал двойную цель, практическую и идеалистическую. Своей любви он оставался верен через все превратности; он видел, что финансовые затруднения г-жи де-Варан все растут, и опасался катастрофы; если бы это случилось, он решил ей помочь, как она ему помогала когда-то. Поэтому он стремился приобрести сведения, которые сделали бы его способным занять место хотя бы секретаря у какого-нибудь высокопоставленного лица, где, думал он, пришелся бы весьма кстати его некоторый писательский талант; или место воспитателя в аристократической семье, ибо и к такой деятельности он чувствовал себя способным. Такова была практическая цель его работы. Другая же, как он около этого времени писал своему отцу, заключалась в том, чтобы, приобретая знания, "не только просветить ум, но и воспитать сердце в добродетели и мудрости". Он хотел победить свои слабости и жить согласно идеалу; в душе его снова возгорелись нравственные идеалы его детских лет. Здоровье его попрежнему было плохо, он постоянно чувствовал слабость и думал, что скоро умрет, как думал не один поэт до и после него. Ожидание смерти привело его к религиозным размышлениям. Во время своих утренних прогулок в верхней долине среди виноградников он имел обыкновение молиться, как ему подсказывало сердце. В такие минуты самоуглубления и благоговения он чувствовал свою близость к Творцу, которому он поклонялся в его творениях. С г-жей де-Варан он в эту пору часто вел беседы на религиозные темы, которые и она любила. Ее склонность к религиозным размышлениям, ее твердая вера в вечную жизнь утешали в такие минуты, когда он думал, что нить его земной ни скоро оборвется. Религия, которую он в себе культивировал, имела собственно мало общего с католическим поучением, это было по существу благочестивое настроение, преклонение перед высшим началом, стремление приблизиться к нему; оно совершенно отрицало догмы и откровения и было в весьма незначительной степени проникнуто уважением к авторитету церкви и церковным традициям. Словом, эта религия представляла самую отвлеченную и туманную форму религиозной жизни,

не желавшей отказываться от веры в личного бога и в бессмертие, форму религиозной жизни, наиболее подходящую для современного мещанина-индивидуалиста. В доме г-жи де-Варан бывало много духовных лиц и иезуитских ксендзов; они не находили ничего предосудительного в своеобразной религиозности молодого человека; он был покорен, почтителен и исполнял свой долг, да и в населении округа нигде не замечалось никаких мятежных наклонностей, никакого тайного протеста против авторитета церкви. Таким образом и эти семена могли свободно развиваться в душе Руссо.

Смерть не приходила, но жизнь стала невыносимой; он не мог переварить ее горечи. Известная нежность и некоторая мягкая общность чувств и мыслей, слабый отблеск прежних дней, еще оставались, но потребность продолжать эту совместную жизнь, из которой исчезло ее душевное содержание, постепенно умерла в нем; он решил уйти. Г-жа де-Варан нашла для него в Лионе место воспитателя к двум маленьким мальчикам из хорошей семьи; он изложил свои мысли о воспитании в небольшой рукописи, которую и предложил отцу своих воспитанников. С прежним пылом, который зажигало в нем всякое новое дело, полный иллюзий, он приступил к воспитательской деятельности; но потерпел неудачу. В течение целого года он с крайним напряжением сил старался приобрести какой-нибудь авторитет в глазах своих учеников; ему это не удалось, он понимал, что для этого надо, но не обладал достаточным терпением. Обескураженный неудачей, он отказался от места. Отношения его с семьей его воспитанников тоже были омрачены, когда открылось, что он был повинен в утаивании вина—отклики лакейского периода его жизни. Он снова возвращается в старое гнездо, снова подвергается уколам старых шипов, он чувствует, что должен вырваться из этой обстановки, должен во что бы то ни стало. Еще несколько месяцев он продолжает жить, *Les Charmettes*, в течение которых углубляется опять в теорию музыки. В один прекрасный день ему приходит в голову идея новой системы нотописы цифрами; он разрабатывает эту идею, которая кажется ему превосходной; он не сомневается, что она введет значительное упрощение и облегчение в изучение музыки. Наконец-то он нашел ключ к счастью верный путь к богатству и почету; теперь он сможет вознаградить "нежнейшую из матерей"—ибо такой она остается для него—за все ее заботы и жертвы.

Он все еще не совершил ничего значительного, крупные силы его личности еще дремлют. Он обладает довольно значительным общим и философским образованием, он посредственный музыкант; он написал небольшую, довольно ничтожную театральную пьесу в стиле Мариво, статью о воспитании, несколько писем в стихах—посредственные вирши, лишённые индивидуальности—вот и все.

Но за исключением одного только, все зародыши того, чем ему суждено было стать, и произведений, которые ему суждено было написать впоследствии, были заложены и пустили корни в различные периоды его жизни до тридцатилетнего возраста. В годы детства — идеалы гражданской добродетели, патриотизма и демократии, мечты о

равенстве и свободе. В юношеские годы скитаний—сочувствие к угнетенным и ненависть к угнетателям, но в то же время и склонность к неукладывающемуся в рамки общественности индивидуализму, потребность необузданной свободы. В долгие годы наслаждения любовью среди чарующей природы, в годы, когда мягкосердечие его нежной возлюбленной передалось ему: нежная мягкость и убеждение в необходимости следовать влечениям сердца, уверенность, что единственно хорошая и истинная жизнь это жизнь, согласующаяся с натурой человека. Во время пребывания в Les Charmettes, наедине со своими мыслями: глубокое чувство природы, встречавшееся в то время лишь у весьма немногих, стремление слиться с природой; способность находить в ней отклики собственного душевного состояния, отражения собственных восторгов и собственных печалей. В одиночестве и ожидании смерти, в горестном разочаровании последних годов юности: потребность искать прибежища от несправедливостей жизни в вере в бога и в бессмертие.

Тридцати лет он едет в Париж, почти столь же нагруженный иллюзиями и смелыми смутными мечтами, как четырнадцать лет тому назад, когда он отправлялся в Турин, немного умнее и много печальнее; более стойкий внутренне, но все еще неспособный отделять мечту от действительности, еще незабронированный и мягкий сердцем.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАРИЖ

1. ОБЩЕСТВЕННОЕ И УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ В СЕРЕДИНЕ XVIII СТОЛЕТИЯ

В Париже кипела борьба между старыми и новыми силами: абсолютистско-феодальными классами (королевской властью, дворянством и духовенством) и буржуазией. Момент еще не созрел для конечной борьбы, для борьбы за власть в государстве и обществе. Старое для этого еще не достаточно подгнило, новое еще не достаточно укрепилось определилось. В течение полувека, между 1740 и 1789 годами, буржуазия путем духовной организации и осознания себя готовится к решающему сражению. Классовая борьба в главных чертах принимает форму борьбы двух мирозерцаний. Ученые и философы куют идеи, эти будущие мечи, которые выступят на сцену, как только разразится революция.

В социально-политических событиях, имевших место во Франции со смерти Людовика XIV в 1715 году и до созыва Генеральных Штатов в 1789 году, замечается двоякого рода движение: дезорганизация и упадок абсолютистско-феодального государства, с одной стороны, и экономически-социальный прогресс, умственная организация и эмансипация буржуазии—с другой.

Со времени средних веков абсолютистское королевство уничтожением феодальных общественных форм и ослаблением политической власти духовенства и дворянства устранило важнейшие

препятствия, преграждавшие выдвигавшейся буржуазии путь к власти. К этому косвенному фактору, содействовавшему усилению нового класса, присоединился прямой: все растущая нужда в деньгах побуждала правителей поддерживать торговлю и промышленность—между прочим, путем создания монополий—и прибегать к государственным займам. Таким образом, абсолютизм сам помогал растить современную промышленность, коммерческую и финансовую буржуазию, класс, которому суждено было стать его могильщиком.

Важным толчком к дезорганизации старых и укреплению новых общественных сил послужила в первые годы регентства герцога Орлеанского (1715—1722) преждевременная попытка гениального утописта, министра финансов Ло оздоровить расстроенные финансы абсолютистской монархии методами развитого капитализма (введением кредитной системы). Все создания Ло—бумажная валюта, королевский банк, попытка заокеанской колонизации в крупном масштабе—все это разрешилось колоссальнейшим мошенничеством и крупнейшей финансовой катастрофой. Эта катастрофа разнилась в столетии, когда только что зародившийся капитализм, еще не осознавший собственной сущности и не знакомый с наиболее прочными и целесообразными методами образования капитала, но полный молодого задора и подвижимый ненасытной жадностью наживы, не раз проваливается в безумных спекуляциях. Всевозможные искатели приключений стремились в Париж, скупаемый лихорадкой золота, как какая-нибудь колония золотоискателей; население бежало из города, бесчисленные убийства совершались ежедневно. Моральное действие этой финансовой катастрофы было неопишимо и вдвойне потрясающе после той дикой вакханалии жадности и иллюзий, которую породил вызванный Ло перед взорами народных масс призрак несметных богатств. Миллион человеческих существований, на половину обитателей Парижа, было разорено. Подобно тому, как во время природных катастроф слои земли перекрывает или поглощают один другой, так и социальные катастрофы сопровождаются обыкновенно значительным сдвигом общественных классов. Знатные фамилии были доведены до полной нищеты—хотя отдельным влиятельным лицам удавалось обогатиться за счет мелких спекулянтов—лакеи в одно прекрасное утро просыпались миллионерами; старая и новая плутократия перемешались. Все общественное здание было потрясено; массы в первый раз стали участниками общего социально-политического движения; с этого времени и до 1789 года их голос, их жалобы, просьбы, протесты и угрозы не могли уже быть вполне заглушены.

Колониальная политика Ло, закончившаяся попытками правительства заселить громадную область Миссисипи насильственно схваченными людьми и путем транспортирования преступников и женщин легкого поведения, конечно, много способствовала возбуждению масс. Они полны ужаса и страха перед похитителями людей, но в то же время в воображении их встает смутное представление о громадности и богатстве земли, о множестве населяющих ее чуждых народов и о разнообразии

человеческих обществ. Появляются описания путешествий, которые читаются с жадностью. Одних приводит в восхищение описание человеческого состояния, которое, по сравнению с современными нравами родной страны, представляется им, по чистоте и невинности, райской идиллией; большинство привлекает таинственное очарование тропических стран, "островов", как они называются в устах народных масс, сказочной страны красоты, изобилия и счастья, страны, куда многие переселяются, откуда некоторые возвращаются с царскими богатствами, и о которой каждый мечтает^{**}.

В короткий период управления Ло, 1719–1722 г.г., делаются попытки различных реформ, которые суждено было провести лишь победоносной революции 1789 г. Экономические перегородки между провинциями—по крайней мере передней Франции—исчезают; прокладываются дороги, которые должны соединить все части государства; запрещенные ремесленникам свободы передвижения отменяются; обучение в высших учебных заведениях становится бесплатным. Ло, этот пророк высоко развитого капитализма, носился еще с многими другими широкими планами: он мечтал отменить закон, освобождающий дворянство и духовенство от уплаты податей, преобразовать чиновничество и государственные финансы; он хотел заставить духовенство продать приобретенное им за последнее столетие недвижимое имущество. Словом, он стремился так реорганизовать феодально-абсолютистское государство, чтобы буржуазия могла в нем хорошо устроиться; он пытался заключить компромисс между гибнущими и выдвигающимися классами. После падения Ло как-будто не много уцелело от его реформ и реорганизаторских планов. Феодально-абсолютистская правительственная машина, высасывавшая из народа соки, снова, скрипя, пришла в движение. Но в действительности в классовых отношениях произошел сильный сдвиг; одна брешь оказалась пробитой в стенах старых крепостей; они колеблются и трещат, и еще до середины столетия посторонний наблюдатель имеет возможность сказать: "Все симптомы надвигающейся революции, какие я когда-либо встречал в истории, замечаются теперь во Франции, обнажаясь с каждым днем".

* * *

Крушение феодально-абсолютистских классов — экономически-социальные функции которых развитие общества делало, как ныне в буржуазии, все более излишними — обнаруживается в течение XVIII

^{**} Обо всем этом периоде см.: Martin, Histoire de France, ч. XV, кн. XCII, и Michelet, Histoire de France, ч. XV, гл. VII—XVIII. Этот блестящий гражданский историк дает увлекательное изображение бурных годов 1719–1721. Что он идеологически путает вопрос, конечно, обнаруживается не раз, между прочим, в следующем замечании. "Ошибочно думают, что капитал стоит вне религии. Капитал принадлежит протестанству. Все, что имеет отношение к торговле, что фабрикует, зарабатывает, обогащается, все это стоит на стороне ереси". Во взгляде Мишле, что идеи суть двигатели истории, лежит объяснение того, что экономически-социальные обоснования протестантизма и значение его и как идеологии выдвигающейся буржуазии, оставались для него скрытыми.

столетия различным образом; во-первых, в области политико-экономической во все усиливающемся расстройстве государственных финансов и в возрастающей неспособности правительства согласовать доходы с расходами. Вследствие безумной расточительности и роскоши, тяжеловесной и чрезвычайно дорогой системы управления, неудачных войн и пр. рост расходов достигает гигантских размеров. Истощенный народ облагается все новыми и новыми налогами, но дефицит поглощает все; он растет и растет непрерывно, пока, наконец, все планы реформ оказываются бесполезными и полная беспомощность и бессилие монархии вынуждают ее сделать шаг, который приведет ее к гибели: она принуждена созвать Генеральные штаты. Только революционная метла может очистить Авгиевы конюшни управления, это осиное гнездо обманов, растрат и подкупов. При Людовике XV администрация поглощала большую часть государственных доходов; она предоставляла привилегированным классам почти неограниченную возможность удовлетворения их паразитических наклонностей.

Худший из паразитов государственной казны,—это дворянство. Оно поглощает ежегодно приблизительно 30 мил. фр. в виде пенсий и жалований, при чем в провинции встречаются иногда жалованья по 100.000 франков по фиктивным должностям. 12.000 офицеров-дворян обходятся государству ежегодно в 46 миллионов франков, между тем как 135.000 солдат в 44 миллиона^{***}. Пяту часть государственного бюджета поглощает дворянство. Чем быстрее падает его политическое могущество и самостоятельность, тем упорнее оно цепляется за централизованное королевство, питаясь его соками; свои общественные функции (военную службу, исправление правосудия) оно большей частью утратило, или же они стали простыми привилегиями. Оно все чаще покидает свои поместья, на которых оно прежде вело простую, закаляющую жизнь феодальных времен; избалованному, изнеженному царедворцу эта жизнь кажется олицетворением смертельной скуки. Дворянство глубоко запускает свои корни в нарождающееся буржуазное общество, высасывая из него соки, но ни одной копейкой не облегчает бремени современного государства.

Рядом с ним выдвигается другой крупный общественный паразит, "первое сословие в королевстве"—духовенство. Ни к одному классу не подходит в такой степени, как к духовенству, утверждение, что развитие общества сделало излишним их прежние функции^{****}; ни в одном классе не обнаруживается более отвратительным образом нравственное вырождение, удел всех ставших ненужными классов. Среди духовенства царит еще большая роскошь, замечается еще большее падение нравов, чем даже в придворных кругах^{*****}. Его экономическое могущество

^{***} Jaures, Histoire socialiste, стр. 22. Хотя Жорес и заимствовал цифры из бюджета последних годов, предшествовавших революции, и в середине столетия они, должно быть, были немногим ниже.

^{****} Во всяком случае поскольку речь идет о высших его должностях, все сказанное здесь относится к высшему духовенству, а не к низшему.

^{*****} Michelet, Histoire de France, XVI. Стр. 278.

колоссально. Его земельные владения беспрестанно увеличиваются; по скромным подсчетам оно к концу XVIII столетия владеет одной третью всей земельной площади. Подобно; дворянству, духовенство освобождено от главной подати—"тали" (поземельного налога); его владения служат ведь "во славу божию на благо бедному народу". Его двойная привилегия, как теократии и аристократии, освобождает его почти от всех тягот. От своих колоссальных богатств оно ежегодно кидает государству подачку приблизительно в 12 миллионов франков; эту до смешного ничтожную сумму высшему духовенству еще удастся большей частью свалить на низший клир.

Когда в 1750 году в стране поднимаются настолько сильные волнения, что многие видят в них уже начало революции, когда угрожающее повышение налогов поднимает на ноги провинциальные сословия, духовенство пускает в ход хитрый политический прием, становясь во главе недовольных; его оппозиция носит демократическую видимость и принимает мятежные формы. Монархия отступает; уже нет больше речи об отмене свободы от налогов; правительство даже фактически берет назад свое требование, чтобы духовенство опубликовало список своих имуществ. Оно соглашается на то, чтобы оглашение этого списка было сделано не в его интересах и не его чиновниками, а самим духовенством для своих собственных надобностей; подобное оглашение превращается, таким образом, в фиктивную меру, не имеющую никакого действительного значения. Все остается по-старому; попытка ограничить его привилегии кончается для духовенства приобретением новой привилегии: права исключительного распоряжения так-называемой парижской "charite" (заведывание всеми учреждениями для призрения бедных, больницами, исправительными заведениями и т.д.). Это не было случайностью и не ошибкой, что великая борьба буржуазной интеллигенции, с Вольтером во главе, была направлена главным образом против церкви и что слово *escasez l'infame* стало лозунгом ее пропаганды. Церковь была защитницей всех злоупотреблений старого режима, передовым борцом на стороне варварства и некультурности, благодаря своему экономическому могуществу и, прежде всего, своему моральному авторитету, она служила сильнейшей поддержкой гибнущему государству. Она была окружена ореолом почитания, святости и неземного блеска: если бы ее обман открылся, если бы массы увидели, что она, как щитом, прикрывает религией лишь свою эксплуатацию, свои классовые привилегии, если бы удалось сорвать с нее этот щит, этим был бы нанесен смертельный удар всем другим угнетателям и эксплуататорам, королевству и дворянству, удар, после которого они не могли бы больше держаться. Освобождение от духовного рабства было для выдвигавшейся буржуазии предварительным условием ее политической победы.

* * *

Из королевских дворцов и палат вельможей, из загородных охотничьих замков и "petites maisons", этих расписанных и раскрашенных вертепов распутства в предместьях Парижа, из отелей крупных

финансистов, соперничающих с дворянскими родами в утонченной разорительной роскоши, из военных лагерей, куда изнеженные офицеры тысячами возят за собой своих парикмахеров, любовниц и поваров, отовсюду, где только появляются представители большого света, подымается такой чад испорченности и разврата, какого ни разу еще, со времени падения Римской империи, не видел мир. Он струится из всех сторон жизни привилегированных классов: из женской одежды, которая или придает естественным формам тела искусственные очертания, или действует раздражающим образом на чувственность доведенной до крайности кокетливостью, своей кажущейся естественной, "грациозной" небрежностью. Этим чадом дышат накрашенные физиономии, которым пудра и затейливые прически у лиц обоего пола, "мушки" у женщин и полное отсутствие бород и усов у мужчин придают искусственный облик. Он поднимается из архитектуры, в которой грандиозная роскошь Людовика XIV разрешается стилем до крайности изысканного жеманного комфорта: великолепные галереи и залы перестраиваются в лабиринт маленьких комнат и потайных лестниц, удовлетворяющих требованиям распущенных нравов. Он истекает из мебели, мягкие причудливые закругления которой словно отражают пышные формы женских тел, располагавшихся в них в самых соблазнительных позах. Он проступает из литературы и искусства, из банальных, пропитанных холодной чувственностью, порнографических модных романов Кребильона, из вскормленных молоком и розами херувимов Буше и Фрагонара, на фоне розовых небес вьющихся в облаках пудры вокруг стройных Венер. Величайшая нравственная испорченность, скрывающаяся под наиболее драгоценными, наиболее пышными, роскошными покровами — такова сущность привилегированных классов в царствование Людовика XV, сущность их жизни и их искусства. Существование этих людей имеет только одно содержание, преследует одну цель: наибольшее чувственное наслаждение. Оно, превращается в сплошную похотливость, т.-е. чувственность, лишённую страсти, лишённую нежности, лишённую возвышенности. Со времени регентства герцога Орлеанского двор утопает в бесстыдном разврате; прелюбодейство и кровосмешение суть обыкновенные явления, не шокирующие никого, кроме нескольких недовольных. Об Версали при Людовике XV д'Аржансон пишет: "Двор напоминает публичный дом; покои принцесс кишат женщинами легкого поведения; только и видишь дам высшего света, бегающих взад и вперед в вызывающих одеждах, да горничных, разносящих записки с назначением свидания". Супружеская верность стала позабытым предрассудком; ревность мужчины к любовнику своей жены, ревность женщины к любовнице своего мужа считались проявлениями смешной безвкусицы. Верность, простота, правдивость суть закатившиеся звезды на горизонте человеческой жизни; сердца черствеют и иссушаются, зато ум и остроумие живут и блещут, изоцряясь в тонкой едкости.

"Любовь и потребность любви исчезают из жизни, расчет и корыстолюбие царят повсеместно" (д'Аржансон).

Король, дворянство, высшее духовенство и высший финансовый мир

растрчивают со своими фаворитами и фаворитками в азартных играх и празднествах, в маскарадах и пирах, в "любительских спектаклях и охотах, в безумных сооружениях и в пороках те выкачиваемые из страны миллионы, которые бесконечным потоком направляются в Париж и Версаль. Но вся скала развлечений, начиная с бессмысленнейшей оргии и кончая утонченнейшим духовным наслаждением, не в состоянии отогнать от пресыщенных чувств и иссушенных сердец страшный призрак скуки, того "ennui", той ужасной пустоты жизни, которая составляет болезнь века и является Немезидой каждого вырождающегося класса.

На-ряду с моральным вырождением идет и интеллектуальное вырождение. "Нет более людей", восклицает Людовик XV, узнав о смерти Флери. Неспособность старых жуиров, управляющих страной— д'Аржансон характеризует их как больных, отживших, опустошенных душевно и физически—втягивает Францию не раз в несчастные военные предприятия, оканчивающиеся для нее очень неудачно; она теряет колонии; королевство остается без генералов, без государственных людей, без финансистов; все, кто обладает умом, здравым рассудком, талантом и прозорливостью, находятся на стороне оппозиции.

Для того, чтобы молодые гуляки и старые сластолюбцы обоего пола с их креатурами могли сладко есть, нарядно одеваться, мягко спать, веселиться и развлекаться—для того, чтобы они могли, спасаясь от вечно преследующей их скуки, беспрестанно переезжать из города в поместья и из поместий в город—чтобы они имели возможность окружать себя толпою слуг, предугадывающих их желания, удовлетворяющих их действительные или воображаемые потребности, прикрывать мишурой голую пустыню своих душ и заглушать поднимающееся от их жизни зловоние сладким ароматом продажного искусства—для этого целая армия человеческих существ прядет и тклет, бегают и суетится, сочиняет и рисует, танцует, играет и проституруется. Некоторые из них, избалованные лестью и ухаживанием своих господ, модные авторы, модные актрисы, модные парикмахеры и портные, и сами заражаются привычками большого света; другие, как большая часть 32.000 парижских проституток, живут и упирают в нужде и презрении. Но все, от прославленного поэта до попираемого ногами слуги, заражены ядом похотливой жажды наслаждений, ядом, передающимся от господ слугам, всюду проникающим и все разъедающим.

Далеко от блеска, вихря наслаждений и испорченности большого света, глубоко и невидимо для глаза, словно е каком-то другом мире, словно в скрытой топке современного гигантского судна, живет, страдает и мучается народ, мещане, крестьяне и рабочие. В городах теснятся тысячи ремесленников, не принадлежащих к цехам, безоружных и беззащитных. Эксплоатация все усиливается; заработная плата, правда, увеличивается, но цены растут еще быстрее^{*****}. Когда хлеб дорожает или наступает безработица, они умирают массами; в 1753 году, говорит д'Аржансон, в Сент-Антуанском предместьи в течение одного месяца

умерло голодной смертью 800 человек^{*****}.

И все же участь народных масс в городах кажется еще сносной по сравнению с участью крестьян. Париж щадят, потому что его боятся; король едва решается показываться в Париже, так велико там брожение. В неурожайные годы правительство прежде всего заботится о снабжении Парижа; что касается налогов, то мещанство по сравнению с крестьянством является еще привилегированным классом.

На крестьян, эту самую бедную, самую нуждающуюся часть населения, взваливаются все тяготы, подобно тому, как все воды стекают в наиболее низменные местности. На них лежит невыносимое бремя двойной эксплоатации: со стороны дворян-землевладельцев и со стороны королевского фиска. Права господ почти безграничны; крестьянин не может сделать шагу, перейти через мост, купить себе метр материи или пару деревянных башмаков, смолоть меру зерна, словом, не может совершить ни одного из действий, необходимых для поддержания его хозяйства или собственного существования, чтобы землевладелец, этот современный рыцарь-обитель, не потребовал своей дани. А то, что уцелеет от его рук, забирают королевские чиновники. Для полноты картины к эксплоатации со стороны феодализма и капитализма надо прибавить еще эксплоатацию со стороны финансового капитала: денежные волки скупают зерновой хлеб и вывозят его, они вздувают цены и искусственно создают голод. Стоит ли им смущаться запрещением закона, когда сам король принадлежит к числу хлебных спекулянтов! Чрезмерные притеснения, длящиеся еще со времени "короля-солнце", не могут не разорять крестьянина, и нужда его все растет. Его хижина хуже сарая; постелью ему служит солома; лицо его чернеет от голода, и вся жизнь его,—это медленное голодное умирание. Поля стоят невозделанные; деревни пустеют; в некоторых местностях население за десять лет уменьшилось на треть. "Крестьяне едят траву, — встречаем мы не раз у д'Аржансона;—уже целый год они питаются травой, люди мрут, как мухи, нужда распространяется до самых ворот Версаля". Страшным игом является барщина и в особенности принудительные работы по прокладке больших дорог. От времени до времени отчаяние заставляет голодающих подымать восстания; в середине столетия со всех сторон встают признаки мятежей; возмущения разражаются в Пиренеях, в Провансе, в Лангедоке, в Бретани, в Грюере, в окрестностях Руана и т.д. Правительство посылает войска, зачинщиков вешают. Подымающийся все снова и снова бич нищенства стараются победить, гоняя нищих из провинции в Париж, из Парижа опять в провинцию. На короткое время после этого наступает спокойствие. Нужда и голод в низших слоях народной жизни, эпидемии, прежде всего, чума, неурожайи и невозделанные поля, крестьянские восстания и виселицы, на которых вешают крестьян,—все это составляет неизбежную оборотную сторону картины великолепия и утонченности в сферах "мушек" и напудренных париков, сверкающих золотом и расшитых драгоценными камнями и

^{*****} Levasseur, Histoire des Classes Ouvrieres et d l'industrie en France.

^{*****} Memoires et journal du marquis d'Argenson, ч.VIII.

алмазами одежд, сказочного освещения бесконечных увеселительных замков, блестящих, элегантных, остроумных жуиров и сластолюбцев, живущих в этих увеселительных замках,—это погруженный в вечный мрак противоположный полюс тех высших сфер, купающихся в волнах света и блещущих роскошью, утопающих в наслаждениях и погрязающих в мутных волнах похотливости.

* * *

На-ряду с крушением абсолютистски-феодалных классов идет быстрый прогресс буржуазии: ее экономическое развитие, усиление ее социально-политического влияния, рост ее революционного настроения и сознания своей силы.

Социальный узел, в котором встречаются упадок и прогресс, представляет группа крупных финансистов: генеральные откупщики податей, руководители колониальных (вест-индских) торговых компаний и королевского банка (Caisse l'Escompte). Эта группа должна бороться против некоторых злоупотреблений старого режима, как произвол абсолютистской монархии и безответственность бюрократии, потому что интересы ее требуют порядка в стране, гласности и хорошего управления государственными финансами. Но, с другой стороны, она извлекает громадные выгоды из этих злоупотреблений, из отчаянного положения старого режима и из принадлежащих ему монополий. Таким образом она высказывается за реформы, но в то же время крепко держится за старое.

Высший финансовый мир концентрируется в Париже. Там возвышаются пышные гигантские дворцы генеральных откупщиков податей, денежных королей того времени. В самой беззастенчивой расточительности и дорого стоящей утонченности своего образа жизни они соперничают с крупными дворянскими родами; их сыновья разоряются, как сыновья дворян, на любовниц и лошадей, на сооружения и игру ни не имеют доступа ко двору, но фактически они все больше забирают власть над монархией: абсолютизм, господствующая власть прошлого, попадает в зависимость к власти будущего, к капиталу. В глазах народа они, по всей справедливости, являются эксплуататорами par excellence, олицетворяющими в себе самые ненавистные черты старого режима; когда разразится революция, долго сдерживаемая ненависть проявится против них с большей силой, чем против какой-либо другой группы привилегированных классов. И все же это новая сила, часть нарождающегося мира; вся сумма их общественного влияния и престижа приобретена за счет монархии; они являются предвестниками нового царства денег, несовместимого с царством милостью божией^{*****}. Высший финансовый мир представляет ту часть буржуазии, которая, раньше всех уверовав в свои силы, порывает открыто с духовной властью прошлого и выступает в роли приверженцев и защитников новых идей. Салоны финансистов являются центром философской пропаганды; смелое отрицание всего, что до сих пор почиталось святым, их не пугает,

и они скоро избирают более или менее последовательный материализм своим мирозерцанием.

Развитие торговой и особенно промышленной буржуазии в общем отстает от развития денежного капитала: свою преобладающую роль, столь характерную для нынешней Франции, денежный капитал начал играть еще до революции. Переход от ремесла к мануфактуре^{*****} между прочим замедляется чрезвычайным развитием со времен регентства художественного ремесла (т.-е. изготовления предметов роскоши). Для многих отраслей этот переход осуществляется лишь во второй половине столетия^{*****}. В то же время наука, при Людовике XIV посвящавшая себя преимущественно задачам астрономии, математики и физики, начинает интересоваться техникой, стараясь ее усовершенствовать: она начинает обращать внимание на практику. В то время, как в Англии изобретаются прядильная и паровая машины и механический ткацкий станок, во Франции большие успехи замечаются в области естествознания (Реомюр, Бюффон) и химии. Всемирно известные ученые уже не считают ниже своего достоинства применять науку к практическим нуждам; Бюффон годами производит опыты в своем имении, добываясь улучшения доменной печи; Вокансон по поручению правительства работает над усовершенствованием орудий для шелковой индустрии, важнейшей индустрии Франции. Тщательные, сопровождаемые иллюстрациями описания целого ряда процессов и методов работ, появляющиеся в энциклопедии,—Дидро неутомимым усердием лично посещает всевозможные мастерские, чтобы ознакомиться с различными родами производства — свидетельствуют о гениальной интуиции этого разностороннего публициста, "пророческий инстинкт" которого приводит его к прославлению существеннейшего орудия в руках современной буржуазии: индустрии¹¹. Но еще быстрее промышленной буржуазии развивается в этот период времени торговая и колониальная буржуазия. Обороты внешней торговли утраиваются: от 215 миллионов франков в 1716—1720 г. г. они поднимаются до 306 миллионов в 1749-1755 г.г.¹² В то время, как финансовая буржуазия сконцентрирована в Париже, торговая и колониальная буржуазия процветает в целом ряде городов и областей: Марсели, Бордо, Тулузе, Нанте, Лионе, Нормандии, области нижней Роны и т.д. Когда разражается революция, важнейшие гавани становятся очагами революционного пожара. Столь неблагоприятный для Франции исход семилетней войны—результат апатии придворных кругов,

^{*****} Мануфактура есть форма производства, при которой рабочие, состоящие на службе капиталистов, концентрируются в одном здании или одной мастерской, при чем процесс работы разлагается на множество отдельных приемов, из которых каждый выполняется определенной группой рабочих. В мануфактурном производстве работа все более механизмуется, техническая ловкость рабочего, повторяющего все те же Приемы, конечно, все более совершенствуется.

^{*****} Levasseur, стр.536.

¹¹ Martin, Histoire de France, т.XVI.

¹² Levasseur, стр546. Затем наступила семилетняя война, нанеся французской торговле чувствительный удар.

^{*****} Жорес, Histoire Socialiste, стр.39—40.

неспособности правительства и военных вождей, дезорганизации армии, словом, всеобщего крушения старого режима—был тяжелым ударом для колониальной буржуазии. Франция утратила свои владения в Индии, Сенегале и Канаде; Луизиана и часть Антильских островов тоже были потеряны для нее. Понятно, что оппозиционное настроение в буржуазных кругах вследствие этого усилилось, тем более, что введенный во время войны новый налог второй двадцатой доли не был отменен. Изгнание иезуитов в 1763 году—первый определенный успех организовавшейся в парламентах, полувольтерически настроенной старой буржуазии—явилось следствием банкротства Лавалетта, гротмейстера ордена, монополизировавшего в своих руках торговлю малых Антильских островов¹³. Но не эта "старая буржуазия" магистратуры была главной носительницей нового мирозерцания, нашедшего свое глубокое, увлекательное и блестящее выражение в сочинениях энциклопедистов по естественному, государственному праву и философии. Если парламенты Парижа и провинций почти во все время царствования Людовика XV и воюют с монархией, главным образом, на почве налоговых вопросов, если они и способствуют в известной мере подрыву королевской власти, но на их борьбу с самого начала отнюдь не следует смотреть, как на часть общей борьбы выдвигающихся классов против погибающих. Напротив, в начале борьба их, их попытка вернуть свою прежнюю власть является оппозицией реакционной группы против централизирующей тенденции, т. е. против прогрессивной стороны абсолютизма. Лишь когда при Людовике XVI упадок, разложение правительства и всех официальных установлений и воззрений достигает своего кульминационного пункта, когда революционное настроение охватывает все сколько-нибудь жизнеспособные элементы, тогда только противодействие парламентов монархии приобретает определенный революционный характер. Требование созыва генеральных штатов исходит от них¹⁴.

Носительницами новых идей, революционных стремлений были в середине столетия, главным образом, две общественные группы, концентрировавшиеся в Париже: финансовая буржуазия и буржуазная интеллигенция.

Высший финансовый мир своим экономическим могуществом, своим общественным положением, своим политическим влиянием был для интеллигенции той социальной поддержкой, в которой она нуждалась в своей борьбе с официальными установлениями при правительственном режиме, не дававшем ни свободы печати, ни свободы совести, ни каких-либо судебных гарантий против насилия над личностью, когда месть любого дворянина могла без всяких церемоний, при помощи "lettre de cachet", ввергнуть неосторожного автора в Бастилию. Денежные меценаты давали неимущим литераторам, в виде подарков или годовых субсидий, и экономическую поддержку, спасавшую их от голода; высшие

правительственные чиновники, как Монтескье, землевладельцы, как Бюффон, богатые буржуа, как Вольтер, являлись исключениями в среде интеллигенции. В свою очередь интеллигенция духовным оружием боролась за ниспровержение существующего порядка и подготавливала усиление власти буржуазии.

Уже в последние годы царствования Людовика XIV поднимется оппозиция против злоупотреблений абсолютной монархии в лице некоторых патриотов—идеологов, большей частью из аристократии, как Фенелон, Буленвиллье, Вобан, С.-Симон. После и во время регентства ее продолжали д'Аржансон, аббат де Сен-Пьер—составивший, между прочим, план налоговой реформы и проект для подготовки вечного мира, опубликованный в сокращенном виде после его смерти Жан-Жаком Руссо—маркиз де-Мирабо и другие. В течение годов 1724—1731 друзья реформ сорганизовались в Club de l'Entresol, первый французский, устроженный по английскому образцу, клуб. Хотя деятельность его членов носила чисто академический характер, все же этот клуб настолько тревожил правительство, что Флери в конце концов запретил собрания его. Еще до открытия "Club de Entresol" в 1721 году, появились "Lettres persanes" Монтескье, небольшая книжонка, в которой под маской легкой шуточки велась беспощадная критика абсолютизма и католицизма.

Но лишь в сороковых годах научная и философская оппозиция приобретает общественно-практическое значение. Начинается агитаторская концентрация новых идей в энциклопедии, "общем справочнике просвещения"¹⁵. Идеи эти последовательно развиваются в учение механического материализма, боевой философии революционной буржуазии, которую она вызывающе противопоставляет средневековому мирозерцанию. Мыслители и философы, которые в Париже, соединившись "в один философский индивидуум"¹⁶, воздвигают новое мирозерцание, прекрасно отдают себе отчет в главной ценности этого учения, как наступательного оружия. Их—как и всюду и всегда членов возвышающегося класса—занимает не "чистая наука"; берут ли они исходным пунктом природу, механику, государственное право или философию, для них главный вопрос всегда в уничтожении классовых привилегий дворянства и духовенства, в освобождении собственности из феодальных уз, в равенстве граждан перед законом, в свободе совести, в отмене устаревшего варварского государственного права, в установлении конституционного правления—словом, в практике, в преобразовании человеческого общества, в переустройстве его согласно общим потребностям буржуазии. "Цель человека есть действие", писал Вольтер, человек, лучше всего давший выражение стремлениям буржуазии, гораздо лучше" нежели Ламетри, выставивший в своей теории морали положение: "Цель человека есть наслаждение". Наслаждаться прежде всего желает в это время только верхний слой буржуазии, имеющий уже свою долю в привилегированном положении властей "старого режима",

¹³ Levasseur, стр.549.

¹⁴ E.Rocquin, L'Esprit revolutionnaire avant la revolution.

¹⁵ Windelband, Geschichte der neuen Philosophie, стр.411—412.

¹⁶ Windelband, Geschichte der neuen Philosophie, стр.359.

но уже и зараженный его гниением; действовать прежде всего желает весь жаждущий свободы движения класс.

Вольтер первый усиленно обращает внимание революционной интеллигенции на науку и литературу страны, в которой буржуазия уже достигла власти, хотя бы и путем компромисса с королем и дворянством: на Англию. Передовые авторы все более и более заимствуют из английской практики свои воззрения относительно наилучшей организации государства, не как абстрактного идеала, а как осуществимой возможности. Из английской науки они, по примеру Вольтера, черпают, главным образом, свои философские воззрения. Они учатся у Локка, этого великого эмпирика, яснее и полнее всего выразившего философские идеи эпохи просвещения и в своей теории познания строго-ограничивающего человеческое знание внешним и внутренним опытом. У "деистов" они заимствуют понятие о "разумной религии", не нуждающейся в откровении. Они заимствуют, опять-таки идя по следам Вольтера, из английской естественной философии (Ньютона) принцип механической причинности, понятие о согласованности дедукции и опыта как кульминационной точки человеческого познания. Таким образом откровение и вера низводятся с пьедестала опытом и разумом; на место чуда выступает чувственный опыт¹⁷.

Но в то время, как в Англии философы и естествоиспытатели с бесстрашной объективностью занимаются исследованием земли и отражения ее, неба—после полувека беспрестанных перемен в образе правления английская буржуазия со времени вступления на престол Вильгельма III, начинает уже занимать в правительстве подобающее ее социальному и политическому развитию место—французская литература того времени является ареной страстной борьбы. Весь ее характер агитаторский. По мере обострения классовых противоречий и усиления роста самосознания буржуазии, ее боевой характер все более определяется, и принципы ее становятся все радикальнее. И в то время, как в Англии философия опыта уживается и может уживаться рядом с религиозными традициями, потому что церковь применилась к новому порядку вещей, для французской философии в центре борьбы стоит натиск на церковь, на ее учение и ее практику. Как мы видели, могучая крепость церкви, с ее тройным валом экономического, социального и идеологического могущества, и является ключом к защитной позиции отживающего режима.

Человек, соединяющий в себе, благодаря своей счастливой, гармонической и на редкость многосторонней натуре, благодаря также обстоятельствам своей жизни, все важнейшие течения буржуазного просвещения,—это Вольтер. Никто не олицетворяет в такой степени, как он, стремлений задающей тон части буржуазии, буржуазии финансовой; ни в ком не олицетворяется, как в нем, сознание ее общественного бытия. Пусть Бюффон возвышеннее, пусть Дидро

обладает более пламенным темпераментом, сильнее заряженным революционным электричеством, пусть Ламетри, Гельвециус и Гольбах с большей неустрашимостью проводят новое антирелигиозное мирозозерцание; Вольтер является неоспоримо признанным, как друзьями, так и врагами, вождем в борьбе против насилия, тирании и суеверия. Эту борьбу против сил старого порядка он ведет бурно, но вместе с тем осторожно; он нападает, устремляется вперед, но ловко отступает, как только ему грозит попасть в тупик—редко появляется статья под его собственным именем, он всегда готов отречься от своих духовных чад—таким образом он подвигается вперед. Он смел и задорен и в то же время гибок; систематически щадя королевство, он всю силу своих ударов концентрирует на церкви. С никогда не изменяющим ему инстинктом он умеет удержаться на средней линии идей, поднимающихся против старого мира и его идеологии; он предостерегает, он протестует против всех материалистических и атеистических эксцессов мысли, совершаемых его учениками и соратниками; покуда это возможно, он с глазу на глаз старается их убедить, но, когда нужно, он публично отрекается от них, чтобы не быть скомпрометированным. Он, само собою разумеется, и человек успеха, центральная фигура, использующая работу и борьбу всей боевой армии мыслителей и писателей, кумир своих современников. В своих воззрениях и в своей личной жизни он олицетворяет ту часть буржуазии, которая, являясь во многом непримиримой противницей старого порядка, в то же время сходится с носителями его в известном легком, аристократическом, во всяком случае антидемократическо¹⁸ отношении к жизни, заражаясь их легкомыслием и их жаждой наслаждений. Он идеалист; он относится серьезно к борьбе против насилия и за освобождение личности; он стремится к счастью человечества; он пылает сочувствием к жертвам произвола монархии и фанатизма ксендзов; он борется радостно, мужественно, убежденно;—но он всегда борется с иронической улыбкой на губах; самые зловредные язвы старого порядка он находит скорее достойными смеха, чем ненависти; ему незнакомо то глубокое волнение, которое подымает со дна души ее сокровеннейшие силы. Это натура ясная, но мелкая, живая, но не пламенная. В нем нет абсолютно ничего, напоминающего апостола—такового буржуазия и не могла дать;—он прекрасно умеет оберегать свои собственные интересы рядом с интересами своего класса; двадцатичетырех лет от роду он одинаково поглощен как эпопеей, которую собирается писать, так и финансовыми предприятиями, которые он хочет основать. "Grand brasseur d'affaires et grand remueur d'idees"¹⁹, как удачно характеризует его Жорес, он являет в себе как бескорыстную энергию,

¹⁸ Несколько резких примеров его антидемократического образа мыслей и его презрения к низшим классам мы находим у St.Beuve, Causenes du Lundi, ч.XIV, стр.26.

¹⁹ Великий мастер устраивать дела и пускать в оборот идеи.

¹⁷ Об английской и французской философии эпохи просвещения см. V и VI главы истории новейшей философии Виндельбанда.

мужество, энтузиазм, свойственные возвышающимся классам, так и эгоизм и полное цинизма презрение к людям, всегда характеризующие эксплуатирующие классы.

Подобная же двойственность, как у Вольтера, замечается в миросозерцании и в нравственной философии важнейших материалистов того времени. Все они исполнены энергии, жажды деятельности, гордой веры в возможность перевоспитать человечество путем пропаганды своих идей,—но наиболее последовательный среди них теоретик материализма смотрит на человека, как на машину, на мысль, как на механическое действие материи. Все они практические идеалисты, борцы против неправды, произвола, варварства и жестокости отживающего режима,—но по мнению Ламетри, чувственное наслаждение есть высшая цель всякой активности, высшее блаженство, а Гельвециус называет эгоизм нормой всякого действия²⁰. Отчасти, конечно, эти теории являются следствием ожесточенной вражды между революционной философией и христианством, ее отвращения к ханжеству попов, которые "проповедуют воду, а пьют вино", у которых на устах слова о самоотречении и любви к ближнему, в то время, как дела их продиктованы своекорыстием и жаждой наслаждений. "Лучше турок, чем поп", говорили гёзы; "лучше развратник, чем ханжа", говорили философы материалисты. Отчасти же голое возвеличение своекорыстия и эгоизма, которым проникнуты произведения буржуазных мыслителей, есть не что иное, как цинически-откровенное признание, что общественная сущность крупно-буржуазных, как и феодально-абсолютистских классов есть эксплуатация, и что они считают столь же естественным использовать массы для своих целей, как это считали прежние угнетатели, которых они собираются свергнуть. Лишь пока буржуазия пробивает себе путь, раньше чем встал перед нею призрак пролетариата, ее философия, презирая всякое лицемерие, имеет циническое мужество делать такие признания, точно так же как экономика ее (Рикардо) имеет мужество утверждать, что труд есть единственная создающая ценности сила.

* * *

Интеллектуальная борьба философов во Франции вплоть до третьей четверти восемнадцатого столетия есть важнейшее явление классовой борьбы. Ни стычки между тронem и парламентами, ни голодные восстания ввергнутых в отчаяние крестьян, ни вспыхивающие от времени до времени в Париже народные бунты - мятеж 1750 года, вызванный похищением детей сильными мира для садистских целей, есть, повидимому, прелюдия к мятежу 6-го октября 1789 года²¹,—не могут сравниться с ним по своему историческому значению. Всеобщее, направленное против абсолютистской монархии, революционное

движение на политической почве начинается лишь в 1770 году. Но борьбу эту ведут в первую очередь не философы, а так называемые "патриоты", передовые борцы не крупной буржуазии, а народных масс: мещан, рабочих и крестьян²². Эти патриоты—ученики Руссо.

В середине столетия политическое сознание масс едва пробуждалось; их классовые потребности и классовые стремления, в некоторых пунктах—как в борьбе против феодализма и абсолютизма—сходившиеся с потребностями и стремлениями буржуазии, но в других отношениях резко расходившиеся с ними, еще не нашли своего выражения. Они одни могли противопоставить себя старому порядку без всяких оговорок, потому что они одни еще не были заражены его глением и не были заинтересованы в поддержании как феодальной, так и буржуазной эксплуатации. Поэтому-то в той могучей социальной катастрофе, которая назревала в этот период времени, они могли вести борьбу против всякой деморализации, против всякой эксплуатации и всякого притеснения с таким изумительным героизмом,—с трагическим героизмом, ибо в этой борьбе они должны были быть побиты. Ведь они не могли отказаться от сущности товарного производства, от права собственности на средства производства, составлявшего суть их интересов, их потребностей, их жизненной сферы, плоть от их плоти и кость от их кости.

Нужды и потребности этих масс, пока еще немых, но же горящих внутренним огнем, их страстные стремления и их гнев, их жажда счастья и их моральное негодование—все это скоро прозвучит в голосе, который сначала, как громом, поразит мир ужасом, но затем наполнит его восхищением, и этим голосом, будет голос Руссо.

2. ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Осенью 1741 года Руссо явился в Париж, с пятнадцатью золотыми в кармане, с театральной пьесой "Нарцис" и со своим изобретением—нотописью в цифрах,—которое, как он думал, сразу доставит ему известность и богатство. Приехав с рекомендательными письмами от своих лионских друзей, он скоро приобрел знакомства среди ученых из официальных сфер. Один из них поговорил о нем с Реомюром, знаменитым зоологом и хирургом (он первый оперировал катаракту). Благодаря его влиянию Руссо было предложено летом 1742 года прочесть в Академии Наук доклад о новой методе нотописания.

Руссо думал, что успех его обеспечен; но дальнейший ход событий сильно его разочаровал. "Комиссары", назначенные для рассмотрения его изобретения, были, может быть, весьма почтенные ученые, но в музыке они ничего не понимали. Он получил свидетельство, полное комплиментов и любезностей, на которые французы такие мастера, но содержание этого свидетельства сводилось к утверждению, что система Руссо не отличается ни новизной, ни практичностью. Руссо почувствовал себя глубоко задетым.

²⁰ Он, говорит г-жа де Буффлер, этим высказал только то, что составляло "общую тайну".

²¹ Во время этого мятежа впервые раздался крик: "A Versailles; brulons Versailles!" (К Версалию, сожжем Версаль!). Ненависть к сластолюбцу и хлебному спекулянту Людовику XV была гораздо сильнее, чем сорок лет спустя ненависть к Людовику XVI.

²² F.Roquin, de l'Esprit revolutionnaire, стр.298.

Тогда-то им овладел один из редких у него припадков энергии, побуждавших его во что бы то ни стало добиться своего: он заперся в своей комнате в маленькой грязной гостинице в rue des Cordiers, скверной улице неподалеку от Сорбонны, и в течение нескольких месяцев работал "с невероятным усердием", перерабатывая свое "Рассуждение о современной музыке". Через содействие одного знакомого он нашел издателя; но книжка его почти не читалась и не принесла ему ни копейки. Его золотые мечты снова разбились о суровую действительность, как некогда, когда он мечтающим мальчиком бродил по Турину.

Этой неудачей он был не особенно подавлен, скорее он отнесся к ней равнодушно и впал в то состояние апатии, которое наступало у него всегда за периодом большого напряжения энергии. В течение некоторого времени он жил изо дня в день, сокращая на сколько возможно свои расходы, но не особенно беспокоясь о том, чем он будет жить, когда последние оставшиеся еще у него золотые придут к концу. Он проводил время большей частью в игре в шахматы и в заучивании наизусть латинских стихов, которых он, однако, не мог удержать в памяти; изредка он посещал драматический театр или оперу. Знакомства в литературном мире, которые он приобрел в то время, когда ему нужно было расположить влиятельных людей в пользу своего изобретения, он теперь перестал поддерживать, именно потому, что так нуждался в их помощи. Только с некоторыми из них, с Мариво, Фонтенелем, Мабли и Дидро, он виделся чаще. С Дидро он скоро сошелся ближе. В эти дни разочарования он нашел в нем то, чего был лишен с дней своего детства в Боссе: он нашел в нем друга.

Во многом натуры Руссо и Дидро сходились, но не во всем; для дружбы это большей частью и лучше. Они были одних лет и оба не парижане; как и Руссо, Дидро происходил из почтенной мещанской среды, из провинциальной семьи ремесленников. Как и большинство писателей его поколения, он посещал иезуитскую школу. Дидро, как и Руссо, был беден, чувствителен, обладал энтузиазмом и страстным стремлением к свободе. Как и Руссо, он был домашним учителем в дворянской семье, где тоже не мог ужиться. Подобно Руссо, он страстно увлекался музыкой и до тридцатилетнего возраста успел написать не много. Оба были сложными натурами: у обоих с большой чувствительностью соединялись боевой темперамент и склонность к парадоксам.

Дидро, создавший "полную чувства и убедительности критику" (Сент-Бев), несомненно представляет одну из замечательнейших фигур и, может быть, наиболее симпатичную личность среди философов. Он обладал блестящим дарованием, был великодушен, сравнительно лишен личного честолюбия и тщеславия, отличался упорством и выдержкой. В течение двадцати пяти лет он, несмотря на бесчисленные трудности и опасности, руководил изданием энциклопедии, не зная за все это время ни одного спокойного дня. Ничто не могло его заставить упасть духом, ни преследования пра-

вительства, ни утрата друзей (д'Аламбера и Руссо), ни предательство издателя. Для Дидро на первом месте стояло самое дело, новое миросозерцание, для которого он жертвовал личными выгодами или жадной славой. Ребенком он писал сочинения за своих менее способных товарищей; взрослым человеком он избыток своих знаний, своих талантов, своего ума, своих гениальных идей, своего энтузиазма отдавал другим, беднее его одаренным, как Гримм, Рейналь и другие. Он был источником, из которого все могли черпать. И все черпали из него без стеснения.

Это был обильный источник, свежий и чистый, но он не был глубок, как душа Руссо, эти неисповедимые воды, таившие в себе богатейший запас силы и чувства. Душа Дидро была иная; огонь, которым она горела, светил и бросал искры, но не согревал. Его воодушевление новыми идеями было искренно; но не это воодушевление заставляло его брать перо в руки, а потребности его семьи и его любовницы. Он никогда не мог понять того глубокого, трагически серьезного отношения к жизни, которое постепенно вырабатывалось в душе Руссо. Темпераменты их были совершенно разные. Руссо проявлял перемежающуюся активность, был мечтательно-нежен, склонен к меланхолии; Дидро был человек беззаботно-веселый, с большой потребностью высказываться, проявляться наружу, жизнь из него была ключом; это была чрезвычайно подвижная, сангвинически-активная натура. Но прежде всего—и эта противоположность их натур в конце концов положила конец их пятнадцатилетней дружбе—в Дидро стремление критиковать и властвовать граничило с тиранией; он навязывал своим друзьям свои мнения; Руссо же был совершенно чужд властолюбия, но не переносил насилия.

Знакомый патер-иезуит посоветовал Руссо попытаться поискать помощи у женщин; без женщин, говорил он, в Париже нельзя выдвинуться. Он дал Руссо рекомендации к нескольким дамам высшего света: к г-же де-Безенваль и дочери ее, маркизе де-Брольи. Начало было не особенно многообещающее. При первом его посещении г-жа де-Безенваль, глупая польская графиня, пригласила его остаться к обеду. Он принял приглашение, но минуту спустя убедился, что ему предстоит обедать за столом прислуги. Г-жа де-Брольи заметила, что он изменился в лице, и постаралась исправить бестактность матери; он остался, но случай этот снова разбередил старую рану.

Тот же патер дал ему рекомендацию к г-же Дюпен, жене очень богатого откупщика податей, владевшего между прочим старым королевским замком Шенонсо. Так он получил доступ в высший финансовый мир. Г-жа Дюпен принадлежала к тем женщинам, предмет честолюбия которых сделать свой салон местом сборища выдающихся людей. Она приняла его любезно, и он продолжал ее посещать, даже после того, как имел бестактность сделать ей признание в любви. Одно время он был домашним учителем ее сына. С ее пасынком Франкейлем, любезным и способным человеком, он занимался музыкой и вводившей

тогда в моду химией, которой они оба увлекались. Но раньше еще, чем он успел занять прочное место в этой среде, жизнь его приняла, повидимому, совершенно новый оборот: через посредство г-жи де-Брольи он вступил в дипломатию: он получил место секретаря французского посла в Венеции.

Считаясь официально только частным секретарем посла, он в действительности исполнял функции секретаря посольства, трудную и ответственную должность. Его начальник, де-Монтегю, был вышедший в отставку военный, глупец, ничего не понимавший в дипломатических делах и предоставлявший все своему секретарю. Руссо, как он уверяет нас, выполнял свои обязанности усердно и добросовестно. Если он в своей "Исповеди", написанной двадцать пять лет спустя после его пребывания в Венеции, и изобразил свое положение и свое влияние на ход событий в несколько преувеличенном виде, все же мы можем ему вполне поверить, что в этой новой, для него необычной сфере деятельности он проявил проницательность и понимание дела. Многие в политических установлениях и нравах старого города дождей на Адриатическом море должно было вновь вызвать к жизни в его душе впечатления его детства и напомнить ему родной город. Венеция, подобно Женеве, была суверенным городом, управлявшимся гордой, искусной в управлении аристократией; подобно Женеве, она имела республиканскую конституцию, льстившую народному воображению и удовлетворявшую его, в то время, как в действительности власть находилась в руках патрициев. Сфера деятельности Руссо пробудила в нем интерес к политике; внимание его особенно занимал общий вопрос о влиянии политических установлений на человеческую жизнь. Таким образом Венеция явилась новым звеном в цепи событий, определивших его миросозерцание и отношение к жизни.

Ревность глупца-аристократа к одаренному молодому человеку, самоуверенность которого росла с сознанием его незаменимости, скоро сделала невыносимыми отношения между послом и его секретарем. Де-Монтегю начал притираться к Руссо; последний переносил это некоторое время спокойно, но в конце концов дело дошло до резкой сцены, и посол прогнал своего секретаря, не уплатив ему его содержания. В пику ему Руссо еще две недели оставался в Венеции, вся французская колония которой, как он рассказывает, была на его стороне. Он намеревался сначала удалиться в Женеву; но испытанная обида жгла его и побудила снова вернуться в Париж; он жаждал удовлетворения за нанесенное ему оскорбление и публичной реабилитации. Он страстно боролся за восстановление своего доброго имени, прибегая к публичным объявлениям, распространяя всюду оскорбительные отзывы о после, надеясь таким путем заставить правительство вмешаться. Но все было тщетно. Ему предоставляли неистовствовать сколько угодно; это был лучший способ замять все дело. Единственно, чего он добился, это получения своего неуплаченного содержания, которое посол в конце-концов послал ему, как милость.

Он снова очутился на парижской мостовой. Прошло восемнадцать

месяцев с тех пор, как он отправился в Венецию. Еще никогда он не был так озлоблен против общественных условий, благодаря которым он, бедняк, отстаивавший свое право против грубого аристократа, потерпел поражение; никогда еще он не испытывал такой усталости, такой безнадежности, такого упадка духа. Ему было теперь тридцать два года, и чего же он успел добиться всеми своими стараниями, своим стремлением к нравственному и интеллектуальному совершенствованию? Ничего ему не удавалось. Голос, нашептывавший ему о величии, которое его ждет, был самообманом; те удивительные силы, которые от времени до времени подымались из души его, нигде не находили выхода. Молодость его миновала; счастье было позади: на залитых солнцем холмах Савойи, да, там, на груди любимой женщины, он познал мир и спокойствие, там он чувствовал в себе полноту жизненных сил. За что же ему теперь бороться? Все для него кончено. Он был беден; но не бедность больше всего угнетала его. Он чувствовал себя несчастным и подавленным, потому что сердце его было одиноко; он жаждал человеческой нежности.

Сначала он пытался утолить эту жажду в привязанности к другу, испанцу, в котором он видел олицетворение всех человеческих добродетелей; но друг этот скоро покинул его, вернувшись к себе на родину. Руссо обещал через несколько лет последовать за ним, чтобы вместе с ним провести остаток жизни в имении Альтуна. Строить планы всегда соблазнительно, особенно для человека, испытавшего огорчение.

Руссо снова был один; он стал искать утешения в музыке. До своего переселения в Венецию он начал писать оперу. Еще раньше, сначала в Шамбери, потом в Лионе, он пробовал писать драматическую музыку в итальянском стиле, но потом сжег все свои наброски. Чтобы иметь возможность спокойнее работать, он поселился на своей прежней квартире в rue des Cordiers. Здесь в его время служила горничной молодая девушка из Орлеана, из опустившейся мещанской семьи. Будучи младшей в большой семье, она не получила никакого образования; она едва умела читать и еще меньше писать. Ее звали Тереза Левассер. Она не была красива, но мягкая живость взгляда и скромность манер делали ее привлекательной. Она ела за одним столом с пансионерами дома, при чем робкой девушке приходилось много страдать от нахальных и непристойных приставаний мужчин, особенно духовных лиц. Руссо один не следовал общему примеру; он заступался за девушку, и она была ему благодарна. Оба они жаждали нежности, оба были молоды—он на добрых десять лет старше ее; таким образом у них дело скоро дошло до связи; не чувственность толкнула его на нее и не страсть, а главным образом потребность в сердечном тепле. Честолюбие в нем, как он думал, умерло; сердце его было пусто, он нуждался в человеческом существе, которое бы заполнило эту пустоту.

Он честно предупредил ее, что никогда не женится на ней законным браком, но и не бросит ее никогда. И слово это он сдержал. Тридцать четыре года, до самой его смерти, они прожили вместе в свободной

связи²³.

День, когда он связал свою жизнь с ее жизнью, он считал днем, давшим твердость и устойчивость его нравственной личности. Это была правда. Ибо в жизненном союзе с этой простой девушкой из народа— Тереза была существом, жившим в высокой степени инстинктивной жизнью, какие еще и теперь, хотя редко, встречаются среди женщин: простая, как первобытное растение, чуждая в своих суждениях и поступках колебаний и оговорок, свойственных большинству культурных людей, она следовала голосу своих сильных природных инстинктов,—в этом союзе он находил опору, когда всей глубиной своего «я» восставал против современного ему общества, против его нравов, его морали, его чрезмерной утонченности, против тонкости его умов и сухости его сердец.

Его литературным друзьям и знакомым выбор его был непонятен. У всех у них, женатых и неженатых, были любовницы, аристократические дамы из высшего финансового мира, проститутки или актрисы. Это было само собою понятно. И на всех этих женщинах, в том числе и на публичных, лежал отблеск окружавшей их культуры. Отдельные искры сверкавшего вокруг них фейерверка мысли западали в их души: "они жили в атмосфере оперных премьер, драматических новинок, модных борцов"²⁴. Они могли вставить свое слово в разговоры о литературе и философии, рядясь в остроумие или ученость, могли повторить то, что слышали от других. Но Тереза, эта женщина из народа, ничего не знавшая, едва умевшая читать и коверкавшая все трудные слова, готовившая своему мужу обед и чинившая и гладившая его белье, в отношении которого он был очень притязателен, и ничего другого от жизни не требовавшая, такая женщина была совершенно вне сферы их представлений. Они не могли поверить, что можно быть счастливым с такой женой, не могли понять, что она была для Руссо подходящей подругой жизни: в их глазах его выбор был роковой ошибкой, несчастьем, роковым несчастьем для него. Так неправильно они судили и не могли судить иначе о самом душевном, самом прочном отношении его жизни, в известном смысле отвечавшем главной стороне его природы. Таким образом неизбежно выросло отчуждение между ним и его друзьями.

Их суждение оказало влияние на историков и биографов Руссо. Все они, за весьма немногими исключениями²⁵, ругали "отвратительную Терезу", расписывали ее недостатки и умалчивали о ее добродетелях и достоинствах. Почти вошло в предание, что моральные бури в дальнейшей жизни Руссо, мрачные навязчивые

идеи, которые его мучали, болезненный разлад в его душе между действительным миром и миром его фантазии следует приписать, главным образом, Терезе. Виндельбанд в своей истории новейшей философии гоже говорит о "непонятной связи, бывшей для Руссо тормозом до конца его жизни". Связь Руссо с г-жей де-Варан, в которой для каждой неиспорченной природы есть что-то отталкивающее, несмотря на ее поэтическое очарование, встречает со стороны тех же историков благосклонное отношение; описывая эту связь, они макают свое перо в сахарную воду²⁶. Еще бы: ведь г-жа де-Варан это очаровательная баронесса с хорошими манерами, в которой всегда, даже в ее наименее похвальных сексуальных погрешностях, видна светская дама. И в противоположность очаровательной "идиллии Шарметт" — которой, как мы видели, никогда не существовало—они рисуют "злополучную любовную связь" Руссо с "грубой прачкой" Терезой Левассер в самых черных красках. Иначе они и не могут: их суждение затемняется их классовым чувством и их интеллектуальным высокомерием.

Тереза не нуждается в особых оправданиях. Совершенно верно, что она была ограничена и болтлива, к тому же и ревнива, как большинство ограниченных женщин, что она не всегда строго придерживалась правды. Был также и период в их совместной жизни, когда ее привязанность к Руссо охладела (это мы знаем от самого Руссо); такие моменты охлаждения неудивительны в тридцатичетырехлетней брачной жизни, к тому же с таким неровным, требовательным и избалованным человеком, как Руссо, с которым так трудно было ужиться. Пожалуй, менее привлекательным покажется то, что она, незадолго до его смерти, будучи уже старой женщиной, влюбилась в конюха. Но если ставить ей это в вину, как непростительную измену, то следует такую же оценку применить и к пылкой страсти Руссо к г-же д'Удето. Но это никому и в голову не приходит.

Всем недостаткам и погрешностям Терезы, которые ставятся ей в вину, можно противопоставить прежде всего свидетельство самого Руссо. Он много раз заявляет в своей "Исповеди" и в своих письмах, что она была его утешением и его счастьем, "единственным действительным утешением, которое небо послало ему в его несчастье и которое давало ему возможность переносить свою участь". Не только "ее ангельская душа", "чистая, прекрасная натура, не знавшая злобы", привлекала его до конца жизни, — ее природный ум не раз помогал ему в затруднительных обстоятельствах, и ее советы в практических вопросах всегда оказывались правильными.

Наряду со словами самого Руссо в ее пользу свидетельствуют и факты. В маленькой мансардной квартирке в rue de Grenoble они прожили девять лет (с 1747—1756) счастливо, как пара голубков, вполне

²³ Церемония, которую он совершил по возвращении из Англии и которую называл своей женитьбой, была не что иное, как торжественное обещание, в присутствии нескольких друзей, с этого времени смотреть на Терезу, как на свою законную жену.

²⁴ Э. и Ж де Гонкуры, "La femme au XVIII siecle", стр.296.

²⁵ Между прочими Марк де-Жирарден и Е.Риттер. Из друзей Руссо г-жа де-Верделен очень благоприятно отзывалась о Терезе в своих письмах.

²⁶ Этого нельзя сказать об английском биографе Джоне Морлее, "сочинение которого о Руссо, в общем ценное, делает невыносимым пошлая слащавость типично-английской буржуазной нравственной морали, которой оно проникнуто.

довольные своим скромным хозяйством; они вместе переносили бесчисленные беспокойства, которые доставляли им ее сварливая, во все вмешивавшаяся мать и целая орава ненасытно-жадных братьев, теток, кузенов и кузин; вплоть до последних тяжелых недель в замке Эрменонвиль, где смерть избавила Руссо от его навязчивых идей и мук недоверия, она неизменно оставалась с ним. Она была хлопотливой, внимательной хозяйкой, заботившейся о материальной стороне его жизни, содержавшей в порядке дом, где друзья его всегда находили радушный прием и простую, но вкусно приготовленную еду. Она была его верной сиделкой, без ухода которой он не мог обойтись ни одного дня, когда припадки физической немощи, всегда ухудшавшиеся зимой, делали его инвалидом на долгие месяцы. Она была его покорной, нежно привязанной к нему подругой в те годы, когда измена друзей, коварные выпады Вольтера, преследования правительства и травля швейцарского протестантского духовенства смущали и расстраивали его легко уязвимую душу. Была ли это любовь или нет? И была ли эта любовь плюсом в его жизни или минусом? Одна область его жизни находилась вне ее сферы: это был мир его мыслей, его умственная деятельность. Конечно, этот союз их был бы совершеннее и задушевнее, если бы все их интересы были общие. Но та сторона жизни Руссо, которая оставалась чуждой для нее, не была наиболее существенной для его счастья. Чувство для него было выше мысли—ведь все его мышление основывается на чувстве,— любовь выше чувственного восприятия. Кроме того, в умственной сфере он был не один. Было достаточно высоко одаренных, лучших своего времени мужчин, да и женщин, которые могли следовать за ним в сфере мысли, которые преклонялись перед его дарованием, перед его поэтической славой, но была только одна Тереза, которая всегда, при всех своих несовершенствах и недостатках, окружала его заботливой и услужливой любовью. Другим женщинам было легко проявлять обожание, как всякое чувство, не испытанное в горниле повседневной жизни; в экзальтированных письмах они выражали прославленному автору благодарности за то, что он будил в их иссушенных сердцах новые ростки. Это было не трудно. На долю Терезы выпала тяжелая задача жить вместе с неврастеником, каким был Руссо, с взбалмошным чудачком, каким он все более становился, и окружать заботами погруженного в свою работу друга, иногда месяцами не говорившего с нею ни слова.

Много пришлось Терезе вынести с ним. Уже в первое время их совместной жизни, когда он посещал круги, к которым она не имела доступа, когда он месяцы под ряд проводил в имениях крупных финансистов, окруженный прекрасными кокетливыми дамами, уже тогда ей приходилось страдать и терпеть. Это тяжело для любящей женщины, будь она горничная или принцесса. Потом годы в Монморанси, когда он, охваченный пылом работы, весь ушел в мир мыслей, когда он переживал сильнейшие душевные волнения, когда произошел разрыв между ним и Дидро, Гриммом и всеми его старыми друзьями, когда им овладела безумная страсть к г-же д'Удето. Да, Тереза была, может быть,

болтлива; но когда г-жа д'Эпине коварно пыталась завладеть письмами, которые Руссо получал от г-жи д'Удето, простая мещанка проявила свое нравственное превосходство над светской дамой, решительно заявив, вопреки правде: "этих писем больше не существует". Потом настало время испытания: вышел в свет "Эмиль"; Руссо подвергся преследованиям и должен был бежать; не потому, что ему грозила опасность, а потому, что процесс скомпрометировал бы его покровителей из высшего света. Тут-то Тереза выказала свою "ангельскую душу", свою женскую верность. Она могла спокойно оставаться в Монморанси: Руссо предложил ей это, обещав заботиться о ней, но она отказалась; она хотела быть с любимым человеком, хотела последовать за одиноким изгнанником в маленькую швейцарскую деревушку, чтобы опять о нем заботиться, ухаживать за ним, быть всецело с ним. Она просила, чтобы он ей позволил приехать к нему при первой возможности "Ты же знаешь,—писала она ему в Иверден на своем скверном французском языке,—что мое сердце принадлежит тебе, и я всегда говорила: если бы мне нужно было отправиться за море или через пропасти, чтобы опять быть с тобой, то достаточно было бы одного слова, и я бы сейчас отправилась". И она подписалась: "твой покорный верный друг".

Да, таковой она и была. В своем произведении "Женщина в XVIII столетии" братья Гонкур приводят образчики писем многих женщин, дам из высшего света и куртизанок к их возлюбленным, в доказательство того, что сильная и верная любовь существовала и в то время сердечной черствости, страсти к насмешкам и холодной любезности. Но нет письма нежнее и задушевнее, более проникнутого нежной преданностью любящего сердца, чем эта еле разборчивая записочка бесхитростной души, Терезы Руссо.

Она последовала за ним в Швейцарию; наступили тяжелые годы в мрачной деревушке, окруженной стенами гор, годы, когда Руссо, как погибающий герой, в последний раз поднялся на борьбу против целого мира врагов; — потом бегство от натравленных на него пасторами, осыпающих его камнями крестьян. Затем его короткое пребывание в Англии, одинокое для него, ушедшего в воспоминания юности, но насколько более одинокое для нее, совершенно не понимавшей языка, при ее потребности делиться впечатлениями по поводу мельчайших событий повседневной жизни! И, наконец, в припадке умственного помрачения и мании преследования, опрометчивый отъезд во Францию, беспокойное скитание с места на место, которое, в конце концов, опять привело их в Париж, где они, несмотря на его растерзанное душевное состояние, обрели мир и сравнительный покой в простом существовании в rue Glaciere, как в давно прошедшие года их молодости.

Тереза постарела и потеряла силы, но попрежнему содержала квартиру в чистоте и порядке и попрежнему ухаживала за своим стариком и своею распевавшей в клетке канарейкой, когда их посетил Бернарден де-Сен-Пьер, принявший участие в их простой, но вкусно приготовленной трапезе.

Она становилась старше и слабее, а переписка нот, которой он

занимался, давала все меньше и меньше дохода: старая чета дошла почти до нужды, когда, наконец, нашла прибежище в замке Эрменонвиль. Там он умер на ее руках; он велел запереть двери, чтобы никто не присутствовал при его смерти. До последнего его издыхания она делала для него все, что было в ее силах, а это было много.

Что закат его жизни, несмотря на все, дышет миром, что последнее его произведение излучает столь прекрасную, мягкую и спокойную жизненную философию, было возможно только благодаря той материальной обстановке, которую в течение тридцати четырех лет создавала ему верная, терпеливая заботливость Терезы.

Пора, наконец, взглянуть другими глазами на это бесхитростное сердце, на это простое дитя народа, на эту так много подвергавшуюся злословию и клевете Терезу Левассер, глазами, не помраченными классовою спесью, интеллигентским самоощущением.

* * *

Вернемся к периоду их молодой любви.

Он получил место секретаря у г-жи Дюпен и ее пасынка Франкейля. Зависимость его положения глубоко огорчала его, а гонорар, 900 франков, был незначителен и едва покрывал потребности жизни. Нескольким раз Тереза производила на свет детей; он отправлял новорожденных в воспитательный дом. Тереза вначале протестовала против этого, но, в конце концов, подчинилась, главным образом, потому, что мать ее, к которой она была очень привязана, одобряла это. Они действительно не были в состоянии воспитывать детей, а то, что они делали, было самой обыкновенной вещью. В те времена такой способ избавления от детей был столь же общепринятым явлением, как в настоящее время искусственное ограничение числа детей. Четвертая часть всех рождавшихся в Париже детей подвергались той же участи. В ресторане, где Руссо обедал раньше, чем сошелся с Терезой, он столько слышал об этом, что считал самой естественной вещью в мире отправлять детей в воспитательный дом. В то время он об этом еще не задумывался.

Все его попытки добиться известности потерпели неудачу. Отрывок из оперы его "Les Muses galantes" был однажды исполнен у генерального откупщика податей, "La Popelinier", и позднее еще раз у одного важного лица, у заведывающего дворцовыми меню. Вещь эта понравилась герцогу Ришелье, личности, задававшей тон в высших кругах; он обещал Руссо выхлопотать, чтобы опера была исполнена в присутствии короля. Но из этого ничего не вышло. Правда, Ришелье оказал ему содействие другого рода: он поручил ему переработать водевиль "Les Fetes de Ramire", автором либретто которого был Вольтер, а музыки Рамо. Но ревность профессионального музыканта к композитору-дилетанту побудила Рамо к недобросовестному поступку: он обвинил Руссо в плагиате и добился того, что при постановке пьесы имя Руссо не появилось на афише. Франкейль обещал Руссо похлопотать, чтобы парижская опера поставила "Les Muses galantes", но из этого ничего не вышло. Наконец, Руссо снова попытался добиться постановки "Нарцисса", но опять безуспешно. Он

совершенно упал духом и оставил всякие попытки добиться известности.

Постепенно он приобрел много знакомств среди интеллигенции и высшего финансового мира. Дамы этих кругов находили его интересным, несмотря на его неумение держать себя в обществе, его неуклюжие комплименты и чопорные манеры. Он был непохож на салонных героев, ухаживавших за ними, непохож и на других представителей интеллигенции, которым, при всем их блестящем остроумии, не хватало внутреннего огня. В Руссо, бывшем в общем плохим оратором, иногда вдруг загорался пламень красноречия, и тогда из глубины его существа, глубины, которой он сам еще не познал, изливались пламенные потоки.

Он сам всегда чувствовал себя неуверенным в этой среде. Во всей его жизни была мучительная двойственность; существование, которое он вел, круги, в которых он вращался, не соответствовали его склонностям, его способностям и глубочайшей сущности его натуры. Его существо оставалось внутренне чуждым этой среде, где царила бездушная роскошь. Он пробовал приноровиться к ней; по временам он надеялся все-таки добиться цели и становился тогда преувеличенно-вежливым, но вежливость его была слащавая и утомительная. Гостя в имениях аристократов, он располагал к себе хозяев и гостей, сочиняя небольшие театральные пьески, которые исполнялись самими гостями; представление комедий было тогда, наряду с кокетничеством, любимым времяпровождением "общества, в котором скучают".

Дни текли один за другим и уходили в прошлое. Руссо приближался к сорокалетнему возрасту. Что из него выйдет? Как он придет к познанию истинной сущности своего "я"?

Дни текли—текли беспрерывно. И с каждым днем усиливалось его отвращение к бессердечному, испорченному обществу, которое его окружало, но с духом которого его дух никогда не мог слиться; и с каждым днем росло его стремление к обновлению и очищению жизни. В сокровенной глубине его существа, в скрытых тайниках его подсознания зарождался и медленно зрел новый мир мыслей; настанет время, когда мысли эти, подобно птицам, вознесутся на распростертых крыльях и, уносясь все дальше и дальше от трясины разврата и испорченности, увлекут за собою тысячи и тысячи людей к тем высотам, где снова можно будет вздохнуть полной грудью.

III. НАЧАЛО СЛАВЫ.

Был 1749 год; в этот год стояла невероятная жара, сжигавшая поля. При дворе царил веселье; там попрежнему давались театральные представления; строились все новые увеселительные замки, большие и небольшие. В стране царил голод. То здесь, то там отчаяние крестьян раздражалось местными возмущениями. Но эти мятежи мало смущали господ аристократов; эти истощенные толпы, без организации, без руководительства, не были опасны; опасен был только Париж.

В столице стояло гуденье, как в пчелином улье. Точно грозовая туча нависла над нею, насыщенная революционным электричеством Великие передовые борцы из мира науки, борцы за новые идеи, начали

бомбардировать старый мир толстыми учеными томами; в 1748 году появился "Дух законов" Монтескье. В 1749 году появились первые три части "Естественной Истории" Бюффона, грандиозное изложение истории земли и населяющих ее существ, противопоставленное библейскому мифу о сотворении мира. В большую публику эти ученые сочинения проникали медленно; она жадно хваталась за эзоповскую прозу памфлетов, которые, словно раздраженные шмели, наполняли воздух своим гудением. Старый порядок чувствовал уже, что конец его приближается, что почва уходит из-под его ног; с этих пор правительство перестает следовать какому-либо определенному принципу; в течение сорока лет еще оно колеблется между уступками и строгостью, между реформами и реакцией, то применяет строгие меры подавления, то снова опускает повод, лишь раздражая врагов в первом случае, придавая им смелости во втором.

Летом 1749 года, как и в последующие годы, свирепствовала реакция; шли аресты, преследования; правительство всячески старалось подавить оппозицию силой. В провинции тюрьмы были переполнены. Арестованных нельзя было переводить в Париж, потому что и там тюрьмы были битком набиты. В июле был предпринят поход против интеллигенции, стоявшей во главе оппозиции; правительство решило основательно разделаться с нею. Были произведены многочисленные аресты среди писателей, публицистов, ученых, учителей и духовных лиц; одних обвиняли в сочинении стихов, направленных против короля, других в том, что в их произведениях встречаются нападки на министерство, третьих в том, что они пишут против добрых нравов и за деизм.

Среди арестованных был и Дидро; в своей "Lettre sur les Aveugles" (письмо о слепцах), небольшом популярно-философском произведении, он позволил себе неосторожность, которой оскорбилась одна из принцесс²⁷. Его перевезли в Венсенн и заключили в дворцовой башне. В течение месяца он оставался в одиночном заключении, никого к нему не допускали. Королевского чиновника, который явился его допросить, он, по словам д'Аржансона, встретил с упрямством фанатика, то-есть с гордостью, подобающей революционному борцу.

Арест Дидро в такое время, когда общественное брожение держало нервы в постоянном напряжении, глубоко потряс Руссо. Все его существо возмутилось против тиранического произвола, лишившего его друга; его встревоженная фантазия рисовала ему самые мрачные картины: он мысленно видел Дидро в пожизненном заточении в башне.

Не зная, что предпринять, Руссо обратился к м-м де-Помпадур; он просил влиятельную фаворитку похлопотать о том, чтобы Дидро выпустили на свободу, или же разрешили ему, Руссо, разделить с другом

заклучение. Его просьбе осталась, конечно, без ответа. Но условия заключения Дидро были скоро смягчены; ему предоставили свободу движения в Венсеннском замке и парке и право принимать друзей.

Какой радостью была для Руссо возможность посещать арестованного друга! Трижды в неделю он в полуденную жару совершал длинный, почти лишенный тени, путь от Парижа до Венсенна; иногда, не в силах идти дальше, он падал среди дороги на выжженную солнцем землю. И во время этих путешествий в Венсенн под жарким полуденным солнцем или обратно в Париж душным вечером, еще под впечатлением бесед с другом, этим неутомимым борцом, вырабатывавшим в заточении план концентрации в энциклопедии всех революционных ученых сил, в душе Руссо росла ненависть и озлобление против сильных и богатых мира сего и их безнравственного общества, ненависть к обманчивому блеску этого мира, дышавшего испорченностью и тлением; росло непреодолимое влечение к обществу людей простых сердцем и к безыскусственной чистой жизни. В нем шло брожение, как и всюду вокруг него.

Однажды, перелистывая по дороге газету "Mercure de France", он наткнулся на объявление дижонской академии с премии на тему: "Содействовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов или их падению?" И вдруг, совершенно неожиданно для него самого, в душе его забушевала буря; сердце его стучало, слезы лились из глаз; он этого не замечал. Из глубочайших тайников его души, из богатого хаоса его подсознания поднялся поток мыслей, словно огромные птицы, вылетающие, тяжело хлопая крыльями, из мрака леса.

С Руссо произошло то, что происходит иногда с мечтателями и поэтами нашего времени, когда внутреннему взору их, из накопившихся годами впечатлений, вдруг открывается сущность классового общества, и перед сознанием их встает во всей своей ясности вся гнусность эксплуатации и все ужасы притеснения и рабства, и в них вспыхивает ненависть к угнетателям и любовь к угнетаемым, целая буря чувств, заставляющая их дрожать одновременно от жара и холода, от любви и ненависти. И в такие минуты перед этими поэтами и мечтателями открываются радостные перспективы новой жизни, где нет произвола сильных и угнетения малых, где нет борьбы всех против всех, жизни, полной мира, братской любви и нежной привязанности, и они, дрожа от страстного восторга, простирают руки навстречу чудесному видению, чтобы удержать его. — То же пережил и Руссо в то утро.

Но когда мы, счастливы, ныне живущие, заглядываем вперед, в ожидающую нас новую жизнь, мы ясно представляем себе, как она разовьется из настоящего; в ясных и четких очертаниях встает перед нашими глазами картина коммунистического будущего, рождающегося из труда и борьбы. Перед нашим умственным взором проходят миллионы борцов из всех стран мира, и лица их, озаренные радостной надеждой, сияют верой в победу. И высшая радость, чувство товарищеского единения всех борцов за будущее пронизывает трепещущее сердце поэта.

²⁷ При дворе энциклопедистов, конечно, ненавидели, как чуму. Только м-м де-Помпадур защищала их против реакционной клики наследного принца (орудия в руках иезуитов). У нее были буржуазные наклонности и известное влечение к "простоте" и "природе". Стиль, носящий ее имя, означает реакцию против перегруженной пышности Рококо.

Но перед умственным взором великого мечтателя, в жаркий летний день упавшего под дубом на дороге в Венсенский замок в изнеможении экстаза, не вставала картина новой жизни, гармонично распускающейся из старой; он не видел осуществления своих социальных идеалов в ясных формах нарождающегося общества. Он видел, что рождается какой-то новый мир, но этот мир внушал ему такое же отвращение, как окружавшая его действительность; ведь по существу он ничем не отличался от нее, он был построен опять-таки на несправедливости, угнетении, социальном неравенстве, утонченном наслаждении для незначительного меньшинства за счет страданий широких масс. Действительность отнюдь не приближалась к его идеалу демократии мещан и крестьян. Поэтому его идеальный мир не стоял в его сознании, как нечто ясное и цельное, а как странное нагромождение множества отдельных элементов. Формы его он заимствовал из своих надежд, своих воспоминаний и своей фантазии: из носившихся в его воображении с юношеских лет картин греческих и римских общин, из глубоко укоренившихся впечатлений его детства, из затуманенных временем юношеских воспоминаний о патриархальной жизни в условиях "натурального хозяйства", сохранившегося еще в некоторых отдаленных местностях Швейцарии и Савойи, как и из описаний путешественников, рассказывавших о чистых нравах, о нравственной силе и самообладании, о достоинстве, товарищеской верности и гостеприимстве диких племен. Таким образом в его идеальном мире сливались черты многих антикапиталистических и докапиталистических ступеней развития человечества. Но в этом единстве, которое он строил из множества элементов, преобладала все-таки мелкобуржуазная сущность общества, основанного на мелком производстве и ремесле, общества мелких собственников, крестьян и ремесленников. Само собою разумеется, что никакого намека на коммунизм не было в этом обществе.

Он не знал радости идеала, исходящего из действительности; но и радость, которую дает сознание общности борьбы, общности преследуемых целей, была ему чужда.

Его причисляли к философам, он служил под их знаменем, но служил не всем сердцем. Борьба, которую они вели, не была борьбой за его идеалы, решительной, беспощадной борьбой против ненавистного ему мира неестественности, лжи, внешнего блеска и внутреннего гниения. Они были привязаны к этому миру, будучи передовыми борцами крупной буржуазии, высших финансовых сфер. Борьба той группы, классовое сознание которой отражали их идеи, была борьбой эксплуататоров против эксплуататоров, угнетателей против угнетателей, любителей утонченной роскоши против таких же любителей роскоши, властителей завтрашнего дня против властителей сегодняшнего дня. Того, к чему он стремился, того общественного идеала, который сиял перед его взором, общества, не знающего эксплуатации и угнетения, роскоши и утонченных наслаждений, не желал никто из тех блестящих борцов, вышедших на приступ против глупости произвола, этих передовых борцов за законность и знание, этих отыскивавших новые пути

пионеров современной буржуазии. Такого общества могли желать только крестьяне, рабочие и мещане; они будут за него жить и умирать, бороться и убивать во время революции. Но куда они еще корчились под игом угнетения и были немые и глухие. И лишь его голос должен был пробудить их к сознанию и к возмущению.

Тяжела участь человека, задача которого пробуждать спящих, ибо у него нет товарищей.

* * *

Когда экстаз его несколько улегся, он встал; лицо его еще было мокро от слез. В течение двенадцати лет в нем горело пламя вспыхнувшего в тот час энтузиазма. Он узрел золотой век, счастье человечества; осуществить его на земле стало с этого времени его жизненной задачей.

Весь дрожа еще от возбуждения, он пришел к своему другу, рассказал ему об объявлении дижонской академии и спросил его совета. И вместе, как подобало друзьям и соратникам, они стали обсуждать, что ему следует написать²⁸.

В этом первом "Рассуждении" сказалось все то, что было ему дано от рождения и что было в нем выработано жизнью. Долголетнее чувство обиды за испытанные несправедливости, его долго сдерживаемое раздражение против ученого, элегантного, утонченного, развращенного и сухого света, в котором он никогда не чувствовал себя в своей сфере, его старая любовь к природе и патриархальным нравам, к простой, независимой жизни ремесленника, его сочувствие к бедным и угнетенным, к людям с бесхитростным сердцем, познавшим и осуществлявшим на деле великие старые ценности, которыми живет мир: труд, верность, взаимопомощь, его ненависть к обществу, делающему знания и наслаждения доступными для немногих ценою одичания масс и нравственного вырождения всех, — все, что он пережил, испытал и передумал за свою богатую переживаниями жизнь, вылилось в одно цельное, проникнутое чувством мирозерцание. Он в этом произведении извергал все свое отвращение к цивилизации, осуждавшей массы на горе и нужду, делавшей людей рабами греха, свое отвращение к искусству, "порождению ослабляющей роскоши", отвращение и к науке, "порождению обессиливающей праздности".

Новый голос зазвучал над изумленным миром, грубый, необработанный голос: но сколько в нем было мощи, сколько возвышенной серьезности, сколько внутреннего чувства! Это был голос неуклюжего плебея, неотесанного мещанина, всегда исполненного вражды и ненависти к лощеной вежливости большого света, прикрывавшей его эгоизм, жажду почестей, тщеславие и нравственную

²⁸ Спорный вопрос, занимавший столько умов, о том, насколько советы Дидро повлияли на это первое "Рассуждение" Руссо, представляется мне неважным. В глазах всякого, кто считает рассказ Руссо о его видении по дороге в Венсенн в высокой степени психологически правдоподобным, это влияние могло носить характер только поощрения и подтверждения; советы Дидро могли относиться, в крайнем случае, лишь к второстепенным частностям.

испорченность. Это был голос человека чувства, восставшего против высокомерного, дерзко отрицающего все тайны, критического интеллектуализма и в противовес безграничной гордыне разума превозносившего скромное, угодное богу невежество. Это был голос любящего Францию патриота, с болью в сердце наблюдающего, как тускнеет былая слава его отечества, как изнеживаются и слабеют его боевые силы, замечающего, что гибнущий режим "хотя и может еще поставлять ученых и артистов, но уже не может дать граждан". Это был голос индивидуалиста, протестующего против "низменного и лживого единообразия временной цивилизации". Это был голос проповедника, противопоставлявшего критериям того времени: состоянию, типам, уму и таланту, другие критерии: гражданские добродетели, чистое сердце, чистые нравы, любовь к отечеству, добродетели простых, трудолюбивых людей с неиспорченной кровью. Это был голос ремесленника, мещанина-реакционера, совершенно не разделявшего энтузиазма Дидро по поводу прогресса техники и использования науки для целей производства, ибо он чувствовал интуитивно, что этим разрушается то, что было ему дороже всего на свете—уклад мещанской семейной жизни. Это был голос революционера, передового борца масс, которым нечего было терять от насильственного разрыва с прошлым, которые должны были быть сильны пренебрежением к историческим преданиям и побеждать отрицанием обманчивого блеска и зловещего сияния, исходившего из разлагающегося общества.

Да, поистине это был голос мещанства, этого загадочного класса, загадочного для всякого, кто не рассматривает его сущность, как результат его положения в условиях производства, этого класса, осужденного быть одновременно реакционным и революционным.

Книжка сразу доставила ее автору известность. Писатели хвалили его стиль; философы отмечали чрезвычайную смелость его мысли, хотя и качали головой над его выпадами против науки; они попрежнему смотрели на Жан-Жака, как на одного из своих, как на несколько странного, но все же ценного по своей суровой силе союзника. Что касается его самого, то он обещал принять участие в энциклопедии, для которой и написал статьи по политической экономии и музыке. Большая публика смотрела на его "Рассуждение об искусствах и науках", как на блестящий парадокс против цивилизации — приятное разнообразие в ее обычном чтении.

Последовал целый ряд полемических статей (между прочим, и со стороны короля польского), на которые Руссо отвечал в нескольких брошюрах. Он не уступал своей позиции, а напротив, воспользовался случаем, чтобы точнее осветить различные пункты ее, например, свой идеал общественного равенства. "Роскошь развращает всех", говорит он в своём "Ответе королю польскому", "как богача, пользующегося ею, так и бедняка, стремящегося к ней". "Роскошь (в ответе г-ну де-Борд), может быть, необходима, доставляя хлеб беднякам; но если бы не было роскоши, то не было бы и бедняков". И в выноске он прибавляет:

Роскошь кормит сотню бедняков в городах, но морит голодом сто тысяч в деревнях... Крайнее расточение главных элементов человеческого питания уже само по себе делает роскошь ненавистной. В нашей кухне должен иметься мясной экстракт, поэтому столько больных лишены мясного бульона. За нашим столом должны быть ликеры, поэтому крестьянин пьет только воду. Должна быть пудра для наших париков, поэтому столько бедных не имеют хлеба".

Из таких замечаний явствует социальная причина его ненависти к "цивилизации". Он ее не представлял себе иначе, как в связи с классовыми преимуществами и общественным неравенством; поэтому он ее проклинал. Равенство ценил выше культуры.

Его современникам сразу бросилась в глаза в его книжке пропасть между принципом и практическими выводами. Его тезисы были крайне революционны, безжалостно-уничтожающи, его практические предложения, напротив, чрезвычайно умеренны и осторожны. Искусство и наука разрушили естественность нравов и искалечили человека; но в этом обществе искалеченных людей они выполняют необходимые функции, поэтому установления, поддерживающие их, должны быть сохранены: таков был его вывод. Ибо исцеление от этой искалеченности фактически невозможно, "разве только путем крупной революции, которой почти столько же стоит опасаться, как и самого зла, которое она должна искоренить; ее не следует желать и невозможно ее предвидеть". Все снова и снова выступало в его произведениях противоречие между мечтой и делом, между идеалом и путем его осуществления, между желательным и возможным, заставляя людей качать головами над его "непоследовательностью". Они не могли понять ни психологических, ни социальных причин ее.

В то время, когда он писал свое первое "Рассуждение", он находился под столь сильным воздействием общества, но в этом его произведении в гораздо большей степени, чем во всех других, проявилась только одна сторона его натуры. Он позабыл шопот леса и шум ветра; влияние общества подавило в нем чувство природы. И очаровательная мягкость, которой была проникнута вся его юность, была утеряна; голоса любви не слышно было в этих суровых тонах. Сухость, твердость стойка должны были в нем на время отодвинуть все остальное на задний план. Этого требовал закон развития; он всегда уничтожает гармонию.

Шопот леса и шум ветра снова зазвучали в его "Втором рассуждении", которое он написал несколько лет спустя; в нем заключался ответ на новую тему, выставленную дижонской академией: о происхождении неравенства. Но любви и здесь еще не было слышно; своей прежней мягкости он еще не нашел.

Первая часть этого сочинения представляет восхваление дикого и варварского государства. Руссо размышлял на эту тему среди природы, бродя в течение недели по тенистым лесам С.-Жермена; эти размышления уяснили ему сущность примитивного человека и историю первобытных времен. По крайней мере так ему казалось. В

действительности же он свой идеальный образ первобытных времен создавал, главным образом, из обрывков воспоминаний об описаниях путешествий. В его кругах много говорилось о естественном государстве и естественной морали, этими темами увлекались, он, как и другие; но что для других было не более, как игрой, для него было серьезным вопросом. Затем к этому образу своего идеального государства он примешивал, как все мы делаем, потребности и душевные желания своей собственной личности, своей несколько замкнутой натуры и склонности своего мещанского индивидуализма; это сказалось, например, в его представлении, что в первобытные времена люди жили и работали в одиночку, каждый для себя. Что первобытные люди были близки к животным, это он понимал; но что они были всегда социальными животными, этого он не предполагал.

Свою идеализованную картину естественного государства, с примесью некоторых черт мещанских и патриархальных общин, он противопоставил гнилой сверхкультуре тогдашней Франции, подобно тому, как Тацит возвеличивал германских варваров в противовес прогнившему до мозга римскому государству. И центр тяжести его второго "Рассуждения" лежал в нападках на тогдашнее общество господствующих классов, на социальное неустройство, на общую моральную расслабленность, на нужду широких масс, на последствия все растущих классовых противоречий.

В научном отношении книга эта несомненно уступала этнологическими социологическим сочинениям лучших его современников. Естествоиспытатель Бюффон обладал более правильными представлениями о первобытном человеке, хотя нельзя отрицать того, что Руссо интуитивно очень правильно и сильно чувствовал нравственное величие варварского мира. Коммунист Морелли, "Code de la Nature" которого появилось вскоре после второго "Рассуждения", делал гораздо более резкое различие между экономическим и политическим равенством, видя в первом корень всех прочих неравенств. Но ни Бюффон, ни Морелли, и никто другой не находил в себе той страстной, бурной силы, с какою Руссо клеймил социальное неравенство, делавшее угнетателей искалеченными, беспомощными, во всем зависящими от других существами, а угнетаемых робкими, скупаемыми завистью рабами. Руссо своими словами бил, как дубиной, поражал, словно мечом. Он один ощущал социальное неравенство, как зло, за которое не могли вознаградить весь блеск и вся красота культуры. Он один видел весь ужас в отвратительной, роковой жестокости общества, разделенного на классы с противоположными интересами, такого общественного порядка, "при котором нет, может быть, ни одного зажиточного человека, смерти которого не желали бы алчные наследники или даже собственные дети: ни одного плавающего в море судна, гибели которого не радовался бы тот или другой купец; ни одного народа, не приветствующего неудачи своих соседей". Его критика классового господства самая острая и меткая из всех, какие появились во Франции до Фурье. Он высказывал мысль, что громадное большинство

людей было бы счастливее в таком варварском состоянии, чем в так называемых культурных условиях; и кто мог ему возразить на это? Разве народ не требовал громко хлеба всякий раз, когда король или наследный принц показывались на улицах Парижа? В конце своего сочинения Руссо говорит, что это столь же очевидное нарушение естественного закона, когда кучка людей задыхается в роскоши в то время, как голодным массам не достает самого необходимого, как если бы дитя вздумало приказывать старцу или слабоумный руководить мудрецом, было ясно, что прославление естественного состояния служило ему только средством борьбы во имя первоначального равенства с царящим в человеческом обществе неравенством, принимающим все более ужасные размеры. В этом неравенстве причина всей моральной и политической испорченности; оно роковыми путями приводит к деспотизму, к тирании, к государству, не опирающемуся ни в каком отношении на законность, а только на насилие и которое естественным образом будет разрушено мерами насилия".

В его словах звучали странные и новые ритмы, полные необузданной силы и хмельного восторга; и если бы слух сильных мира был настроен на лад грядущих событий, они бы уловили в этих словах ритмы буйной революционной песни, карманьолы:

"Ca ira, ca ira, ca ira,

Celui qui se leve, on l'abaissera",

и содрогнулись бы в своих чертогах. Но они не содрогались, ибо они еще не слышали этих буйных ритмов или слышали их только из туманной дали и повторяли вслед за м-м де-Помпадур: "Après nous le deluge"; они смеялись и шутили, и ставили театральные пьесы, и мечтали об "естественном состоянии", и увлекались этим оригинальным медведем, Руссо, странные идеи которого совсем не казались опасными. Не в той же ли книжке встречались у него назидательные проповеди на тему о том, что обязанность добрых людей уважать узы обществ, членами которых они состоят, любить ближнего и служить ему, добросовестно повиноваться законам и людям, пишущим и приводящим в действие эти законы? Не сам ли он преклонялся перед господствующей властью, убеждая своих читателей почитать добрых и мудрых правителей, умеющих предупреждать, исцелять или уменьшать все то зло, которое готово на нас обрушиться?"

Революционная мысль, этот орел в царстве духа, еще не расправила крыльев в сфере действия.

Руссо посвятил свое сочинение правительству Женевской Республики и в трогательных словах упомянул в этом посвящении о первом человеке, направившем его на путь демократического образа мыслей: о своем отце.

* * *

В течение лет, протекших между появлением первого и второго "Рассуждения", в жизни Руссо, как внешней, так и внутренней, произошла большая перемена. Его статья о науке и искусствах заслужила премию дижонской академии и имела почти неслыханный скандальный успех.

Когда она вышла в свет, Руссо был при смерти; врачи давали ему не более полугода жизни. Франкейль, занимавший одну из лучше оплачиваемых финансовых должностей—он был генеральный сборщик податей — убедил нуждающегося автора поступить к нему на службу в качестве кассира. В материальном отношении перед ним открывалась блестящая будущность, но заботы и, главным образом, ответственность работу, которая была ему совершенно не по душе, уложили его в постель.

Во время болезни он много думал об условиях своей жизни; казалось, словно только теперь, когда его принципы, выйдя в свет, встали обнаженные перед его умственным взором, ему вполне стали ясны все выводы из них. Он почувствовал противоречие между тем отречением, которое проповедывал другим, и своим собственным образом жизни; он почувствовал, что к его принципам не могут отнестись серьезно, покуда он сам будет делать то, что он ждал в других.

Тогда он принял решение, на которое способен только великий идеализм: он порешил устроить свою жизнь на новых началах и, что бывает еще реже, провел свое решение в жизнь.

Прежде всего он написал Франкейлю, что отказывается места кассира, что было, конечно, в глазах людей огромной глупостью. Франкейль подумал, что Руссо бредит или сошел с ума.

Чем же ему теперь жить?

Большинство писателей того времени, даже довольно известных, постоянно терпели нужду, а так как посещение парижского общества поглощало много денег, то они—как и не могло быть иначе—впадали в самый жалкий паразитизм. Единственным исходом для человека, не обладающего собственными средствами, было добиться ежегодной субсидии от короля, или какого-нибудь аристократа, или богатого мецената-финансиста, как Гельвециус или Гольбах²⁹.

Руссо хотел жить самостоятельно, не быть на службе у рогачей и не пользоваться ничьим покровительством; ибо это лишило бы его свободы проповедывать свои принципы.

Он и не хотел писать ради хлеба; этого он не мог; он мог творить только тогда, когда "любовь к возвышенному, доброму и прекрасному", как он выражался, т.-е. энтузиазм к социальным идеалам зажигал в его душе огонь вдохновения. Он мог сказать про себя словами Данте: "Я из тех, которые прислушиваются к голосу любви и пишут то, что она диктует

душе".

Он решил жить трудом своих рук. У него был четкий и красивый почерк, также и в нотописи; он любил всякое занятие, связанное с любимой музыкой; и он стал переписчиком нот.

Этот переход к ремеслу не был с его стороны капризом и не пустой забавой. Иногда его литературная работа давала ему возможность существовать некоторое время, но когда это было нужно и обстоятельства позволяли (конечно, не в швейцарских горах и не в английской деревне), он с того времени и почти до самой смерти добывал средства к жизни перепиской нот.

Руссо сам не находил ничего необыкновенного в таком переходе к ремеслу; ведь он всегда чувствовал себя ремесленником; и он дал писателям не только своего, но и нашего времени прекрасный пример того, как может и должен жить революционный писатель, не желающий приносить в своих произведениях ни малейшей жертвы господствующему мнению и модным богам, желающий свободно и гордо высказывать то, что диктует ему внутренний голос: он должен материальную сторону своей жизни поставить вне зависимости от своей литературной продуктивности.

Его литературные друзья видели в его решении только чванное важничанье. Все они писали для заработка, пользовались субсидиями и принимали подарки; почему ему не поступать так, как поступали все? Казалось, словно он, действуя таким образом, ставит себя выше других. Это вызывало в них неприязненное чувство к нему; наряду с его совместной жизнью с Терезой, новый оборот, который он дал своей жизни, послужил новой причиной к отчуждению, которое с течением времени должно было убить дружбу.

Между тем он перенес свою "внутреннюю реформацию" и на внешность. Он решил освободиться от тирании общественного мнения, жить по своему желанию и по своему разумению; это значило, что он не желал дальше подчиняться тирании моды. Он отказался от дорогой и неудобной одежды, без которой никто не показывался в большом свете: напудренного парика, коротких штанов, шпаги; он продал свои часы. С этого времени он стал одеваться, как простой горожанин. Вначале ему еще трудно было отказаться от прекрасного тонкого белья, единственной роскоши, которую он ценил; но вскоре вор—по всей вероятности, один из братьев Терезы—избавил его и от этого.

О, если бы он так же легко мог сбросить с себя давивший его гнет светских отношений, как он сбросил с себя обшитый галунами камзол и башмаки с пряжками, составлявшие моду того времени! Он жаждал одиночества и покоя, чтобы работать, но его не оставляли в покое. Чем своеобразное он себя держал, тем больше он входил в моду: ведь парижское общество было радо всему, что вносило разнообразие или приятно щекотало нервы. Его окружали, за ним ухаживали; женщины прибегали ко всевозможным уловкам, чтобы залучить его на свои обеды. Чем упорнее он отстранялся, тем настойчивее они добивались его общества. Чем грубее он держал себя, тем любезнее они были с ним. У

²⁹ Неимущие писатели представляли жалкое явление. Если Колльте в прошлом столетии "питался, бродя от кухни к кухне" (Буало), то ему не нужно было обзаводиться дорогой одеждой писателя позднейшего времени, посещающего салоны. В восемнадцатом столетии Алэн, пользовавшийся известностью писатель, пьесы которого часто ставились и который всюду был принят, был настолько беден, что, не имея кровли над головой, ночевал в портшезах. Благодаря такому (Жалкому положению писателей и вытекающему из него паразитизму ими обращались весьма бесцеремонно Г-жа де-Тансен в качестве новогоднего подарка дарила своим друзьям бывшие тогда в моде короткие штаны". (Мишле, Histoire de France, XVI, стр.84).

вельмож того времени было в обычае засыпать подарками писателей и художников; за это последние, конечно, брали на себя обязательства по отношению к своим "покровителям", которые знали только одну цель: уйти от вечно преследовавшей их скуки. Этой цели должно было содействовать все и вся, и прежде всего ум и таланты их протеже. Эти важные господа считали себя вправе всецело располагать их умом и талантами за оказываемые им милости; таков был их взгляд и таково было положение дел в действительности. Их протеже в любую минуту должны были быть готовы явиться к ним, вести с ними бесконечные разговоры и развлекать их. Ведь все, что могло возбуждать желание, принадлежало им. Они могли все купить; почему же и не это?

Бедный Руссо! Он чувствовал всю горечь подарков от людей, дружеские отношения с которыми не основаны на социальном равенстве. Он чувствовал замаскированное холопство, позолоченное рабство, в которое ставила его милость сильных. Он отчаянно боролся против этого; он защищался, как дикарь, сыпля удары направо и налево, намеренно был резок и груб; потом он сам пугался своей грубости и старался ее загладить. Он сознательно и намеренно проявлял неблагодарность, только для того, чтобы быть свободным. Но он не мог достигнуть полной свободы. Тереза в этом отношении была совершенно другая; она чувствовала иначе и действовала против него. А за ее спиной стояла ее ненасытная мать, готовая проглотить все, что попадалось.

Это было очень тяжело. Он не хотел покровительства. Но любви и забот он жаждал. Как большинство тонко чувствующих людей, он был тщеславен. Трудно провести грань между наслаждением, которое доставляет любовь, согревающая сердце, и наслаждением, которое приносит поклонение, льстящее тщеславию. Одно незаметно переходит в другое. Очень твердые характеры большей частью отвергают поклонение, да и любовь тех, кого они сами не могут любить и уважать. Такие люди слишком высокомерны, чтобы быть тщеславными. Руссо же, как большинство художников, принадлежал к тем более слабым натурам, для которых любовь во всякой форме, также и в виде поклонения, почти неотразима.

А светское общество во времена Руссо было так очаровательно. Любезность стала у этих людей жизненной привычкой, утонченным искусством. Блестящие очаровательные женщины искали у него помощи, нежности; мужчины из знатных родов навязывали ему доказательства своей дружбы с той неописуемо-грациозной вежливостью, которая представляет последний цветок культуры класса, имеющего за собою долгое прошлое властвования и наслаждения. Перед очаровательностью одних, перед вежливостью других он не всегда мог устоять. Он боролся, побеждал, уступал искушению, снова боролся; он избавлялся от одного покровителя только для того, чтобы попасть в сети другого. Противоречия, сомнения, непоследовательность, не доведенные до конца попытки борьбы, разрыв со старыми связями для заключения новых—вот что представляла его жизнь течение многих еще лет.

Как он боролся, так борются многие, все снова и снова возобновляя

борьбу и всякий раз с половинным успехом, тщетно стараясь освободиться от жизненных уз, в которых для нежных сердец заключается и вся нежность жизни.

* * *

В те годы ему представился еще и другой случай испытать силу и стойкость своего решения. Проводя каникулы в Пасси, он опять написал оперу, или вернее оперетку, в итальянском стиле: "Деревенский пророк", и о, чудо: мелодическая музыка ее понравилась; он нашел покровителей, произведение его было поставлено в Фонтенебло, в присутствии короля. Руссо присутствовал на представлении в своей обыкновенной одежде, но все-таки ему было не по себе. "Деревенский пророк" имел колоссальный успех; король был в восхищении, он хотел дать автору аудиенцию и назначить ему субсидию. Руссо не пожелал явиться на аудиенцию³⁰ и отказался от субсидии. Первое Дидро понимал, второе же находил смешным, и это было причиной их первой размолвки. В то же время Руссо вмешался в разгоревшийся в Париже спор между итальянской и французской драматической музыкой. Страстность, с которой он нападал в своей брошюре на условный, иссушенный стиль французской оперы, вызвала против него такое возмущение в интеллектуально-артистических кругах, что его статья, как он говорил, "предотвратила революцию", направив царившее в обществе возбуждение и напряжение по другому руслу. Это, конечно, только доказывает, что революционным настроением в пятидесятых годах был охвачен сравнительно только небольшой круг.

В это время, когда он осознал происшедший в нем внутренний перелом, Тереза опять ожидала появления на свет ребенка, и Руссо в первый раз серьезно задумался над тем, следует ли ему и этого третьего ребенка тоже поместить в воспитательный дом. Теперь это ему уже не казалось само собою понятным, как в первые разы. Но он не видел возможности дать своим детям хорошее воспитание. Тереза избаловала бы их; пример ее семьи мог бы сбить их с пути. Сам он в те годы был всецело поглощен работой. И кроме того, не действовал ли он, отдавая своих детей в воспитательный дом, согласно своим принципам? Воспитание, которое им давала община, делало их полезными членами общины, рабочими или крестьянами. Так он успокаивал свою совесть; он даже гордился своим поступком, который делал его в его собственных глазах гражданином государства Платона. Три раза после того, как он отвернулся от большого света, Тереза рожала; и всякий раз он, против ее желания, отправлял ребенка в воспитательный дом.

Позднее он стал раскаиваться в том, что так безжалостно оттолкнул от себя счастье, его мучили укору совести за исполненный долг. Но в те годы душевного напряжения он этого не чувствовал; казалось, словно в нем иссяк источник всех более мягких чувств и ощущений, словно неж-

³⁰ В своей "Исповеди" Руссо откровенно признается, что одной из причин, заставивших его отказаться от аудиенции, была боязнь страданий, которые доставляла ему иногда его болезнь мочевого пузыря.

ность его натуры погасла.

Его отвращение к парижской жизни все усиливалось; в голове его зародился план поселиться в деревне или в Женеве, где он в 1754 году провел несколько месяцев с Терезой, встретив чрезвычайно дружеский прием. Это посещение дало новую пищу его республиканскому энтузиазму. Теперь, когда в душе его снова проснулись идеалы его детства, было естественно, что ему хотелось на деле восстановить духовное единство с общиной, в которой он, оставаясь идеалистом, каким он был, во многих отношениях видел осуществление своего идеала: он снова стал протестантом и гражданином Женевы.

Его тамошние друзья делали все, что могли, чтобы доставить ему почетное положение и навсегда привязать его к родному городу. Он сам был в нерешительности; может быть, он и согласился бы на это, если бы мягкая вкрадчивость и страстные просьбы женщины не направили его жизнь по другому руслу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЕЛИКИЕ ГОДЫ

I. НАДВИГАЮЩЕЕСЯ ОДИНОЧЕСТВО

Госпожа д'Эпине, урожденная д'Эсклавель, принадлежит по своей натуре и условиям жизни к типичным женщинам из высшего финансового мира восемнадцатого столетия. Муж ее, очень богатый откупщик податей, стал ею пренебрегать почти с самого начала их брачной жизни; растрчивая невероятно легкомысленным образом миллионы за миллионами, он, наконец оказавшись кругом в долгах, был взят под опеку. Само собою разумеется, что она в своей семейной жизни не нашла удовлетворения. Это была живая, сухощавая брюнетка, с большими огненными глазами, не красивая, но привлекательная, одна из тех женщин, которые всегда кажутся моложе своих лет. Она обладала даром тонкой и острой наблюдательности и всегда чувствовала потребность делиться результатами своих наблюдений. Она занималась музыкой и литературой, была остроумна, блестяща, тщеславна и честолюбива. Она охотно собирала вокруг себя выдающихся людей и стремилась сделать свой салон центром умственной жизни; она гордилась своими пятью "медведями" (к числу которых принадлежал и Руссо), как она называла своих литературно-философских друзей. Но, при всех своих причудах и слабостях, она обладала горячим сердцем; своим любимцам, своим друзьям и детям она давала много. Она писала охотно, хорошо, живо и выразительно³¹. Она, как и все, страдала болезнью того времени, "ennui",

³¹ Одно из лучших ее сочинений это "Memoires de m-me d'Epinau", бывшие в течение долгого времени одним из лучших источников для ознакомления с жизнью Руссо в пятидесятых годах. Исследования Фр.Макдональд (Фредерика Макдональд, "A new criticism") показали, что так-называемые мемуары, полу-роман, полу-памфлет, есть результат долгой литературной махинации между г-жей д'Эпине, Гриммом и Дидро, что они, следовательно, не имеют никакой цены с точки зрения точной передачи фактов. (То же признает и E.Faguet, "Vie de

чувством страшной пустоты жизни; чтобы заполнить эту пустоту, она окружала себя интересными, выдающимися людьми, которые ею восхищались. Деньги и ее деморализовали, сделали ее капризной и требовательной; ей казалось, что друзья ее по первому ее зову должны быть готовы занимать ее. Капризная судьба на многие годы приковала эту требовательную женщину к человеку с эгоистической, рассчетливой натурой, который от своего времени своей личности уделял ей лишь столько, сколько ему было удобно, но не больше.

Руссо познакомился с г-жей д'Эпине в 1747 году. В течение осени, которую он прожил в замке Шенонсо, они много времени проводили вместе; она участвовала и в комедии, которую он там написал для увеселения общества. Любви между ними не было, но их связывала тесная сентиментальная дружба. Франкеиль был в то время ее другом сердца, и они оба делали Руссо своим поверенным. Он дружески выслушивал их, но когда они захотели сделать его посредником в своей любви, он благородно уклонился от этого. Светским молодым дамам, гостившим в замке, он рассказывал события своей юности и неудачи позднейшего периода своей жизни, романтически прикрашивая их для этого случая. Он рассказывал хорошо и тепло, и рассказы производили глубокое впечатление на его слушательниц. Г-жа д'Эпине в те дни чувствовала большое влечение молодому поэту-музыканту и писала своему возлюбленному. "Ты не можешь себе представить, сколько очарования представляет для меня общение с ним... Душа моя еще тронута его простым и вместе с тем своеобразным рассказом о его неудачах".

С того времени, проведенного в Шенонсо, г-жа д'Эпине и Руссо оставались друзьями. Свои отношения с Франкейлем она порвала и несколько времени спустя завела себе нового любовника, Гримма, человека, которого Руссо (и в этом он был, может быть, не совсем неправ) считал злым гением, отвратившим от него многих из его прежних друзей.

Гримм был молодой немец, приехавший в Париж в конце сороковых годов в свите принца Саксен-Готского. Руссо познакомился с ним в тревожные дни ареста Дидро и сразу почувствовал к нему симпатию, по всей вероятности потому, что Гримм был хороший музыкант и страстный поклонник итальянской музыки, ибо во всем прочем между ними было мало общего. Руссо ввел молодого человека, державшегося чрезвычайно скромно, в круг своих знакомых и делал все, что мог, чтобы помочь ему. Гримм был ловок и усерден, умел работать и значительно превосходил Руссо в самообладании, выдержке и гибкости натуры; он быстро подвигался вперед и оказался настоящим карьеристом. Он получил место у герцога Орлеанского; потом он был назначен уполномоченным свободного имперского города Франкфурта и в течение нескольких лет выпускал для иностранных правителей "Correspondence litteraire", своего рода бюллетени всего, что появлялось в Париже в области искусства,

литературы и т.д. У него было достаточно самообладания и такта, чтобы даже тогда, когда Руссо и он стали заклятыми врагами, в своих письмах выражаться о популярном писателе осторожно и умеренно, втайне интригуя и подкапываясь под него. Этот человек пошел далеко: дружа вначале с философами-материалистами, он постепенно менял личину и, в конце концов, стал верным слугой трона и алтаря. Тогда-то он получил титул "барона священной германской империи", сделавший его необычайно счастливым.

В начале пятидесятых годов г-н д'Эпине расширил и разукрасил свой замок Les Chevrettes близ Монморанси. Это было как раз в период наибольшей интимности между Руссо и г-жей д'Эпине, когда с Франкейлем у нее уже произошел разрыв, а Гримм еще не был ее возлюбленным. Руссо в то время часто бывал в замке. Однажды, осматривая с г-жей д'Эпине пристраивавшийся новый флигель, они продолжали свою прогулку до огорода и водоема, в том месте, где парк примыкал к Монморансийскому лесу. Там, в очаровательном, уединенном уголке, стоял маленький, совершенно заброшенный домик, "Эрмитаж". "Да, — сказал Руссо, — если бы здесь жить". Г-жа д'Эпине ничего не ответила, но сохранила в памяти желание своего друга; год спустя она привела его к тому же месту, где тем временем был выстроен новый прелестный домик. "Вот, мой милый медведь, — сказала она, — твоя берлога. Ты сам ее выбрал; друг предлагает тебе ее: откажись от своих злостных замыслов переселиться в Женеву и покинуть нас". Это был в полном смысле слова дружеский поступок, и хотя она извлекла из него удовольствие для себя, но прежде всего ее намерением было осчастливить Руссо. Увы, как часто наши лучшие намерения и пупки приносят лишь огорчения и печали тем, кому мы им дать счастье!

Руссо был тронут, но не мог принять окончательного решения. Как раз в это время ему предлагали должность городского библиотекаря в Женеве; он любил родной город кил надеждой со временем вернуться туда. Но он не чувствовал себя вполне пригодным для этой должности, не зная греческого языка. С другой стороны, он любил и великолепные леса Монморанси и своего нежного друга, таким милым образом приготовившего там для него уютное гнездо, колебался, сильное беспокойство овладело им: он чувствовал, что его воля к свободному и независимому существованию столкнулась с чужой волей. Предчувствуя неприятности, которые повлечет за собою для него уступка чужой воле, он писал г-же д'Эпине: "Как мало вы понимаете и собственные интересы, если хотите сделать из своего друга слугу"... (Его вечный страх, что на него могут смотреть, как на слугу!) "Я мало беспокоюсь о том, как я буду жить или умирать; но меня жестоко мучают сомнения, какой образ жизни даст мне наибольшую независимость на то время, какое мне еще остается прожить. В Париже я ее, вопреки всем своим стараниям, не нашел. Я стремлюсь к ней теперь больше, чем когда бы то ни было, и целый год меня страшно мучит то, что я не знаю, где мне ее вернее найти. Наибольшие шансы обрести эту независимость представляет для

меня родина, но сознаюсь, что слаще мне было бы ее найти вблизи вас. Гнетущая меня нерешительность не может долго тянуться, в течение недели я должен остановиться на каком-нибудь решении"... Но и после того, как он ей написал: "Решение принято. Вы понимаете, конечно, что вы победили", его все еще, по его собственному признанию, продолжало "терзать состояние внутреннего кризиса".

Под влиянием этой внутренней тревоги, он, насколько мог, ускорил свое переселение: осенью 1756 года он поселился в "Эрмитаже". Кроме Терезы его сопровождала туда и мать ее, очень старая, но еще крепкая женщина, которая с того времени должна была жить у них. Он самым определенным образом отказался от предложения г-жи д'Эпине жить в "Эрмитаже" даром; она, с своей стороны, не хотела принимать от него платы. В конце концов, они сошлись, на том, что он взял на себя платить садовнику, который жил в непосредственной близости от "Эрмитажа" и мог оказывать в хозяйстве Руссо некоторые мелкие услуги.

Ни один заключенный не ожидает дня своего освобождения с таким нетерпением и не покидает своей тюрьмы с такой радостью, с какой Руссо покидал Париж. Жизнь в светской среде, к которой он все еще был привязан, надоела ему до крайности — она всюду была та же, как в городе, так и в замках богачей. "Я чувствовал себя до такой степени больным от всех этих салонов, фонтанов, подстриженных деревьев, цветочных клумб и скучных людей, — пишет он в своей "Исповеди", — от брошюр, карточной игры, рукоделий, пустой игры словами, жеманных манер, разговоров и ужинов, что сердце мое переполнялось радостью, когда глаз мой встречал терновый куст, плетень, луг или сарай, до обоняния моего доносился запах простого омлета или слух улавливал вдали припев деревенской песни". Всеми силами своей души он стремился к простой, крестьянской, непринужденной жизни на лоне природы; он называл это "возвращением к природе".

К тому же он жаждал возможности думать и работать спокойно. Он много писал между 1750 и 1756 годами, но чувствовал, что большую часть того, что он хотел сказать, ему еще предстоит написать, да так оно и было. Он работал над многими новыми вещами; чтобы довести их до конца, надо было на продолжительное время уединиться и концентрировать все свои мысли на работе. Эти работы задавали вопросы его отношения к жизни, всего его мирозерцания, вопросы, которые ему самому еще не были ясны.

В первую очередь он хотел закончить исследование о влиянии политических установлений на нравы. Он начал его в Венеции, тринадцать или четырнадцать лет тому назад, и от времени до времени все снова возвращался к нему. Он сделал также выписки из чрезвычайно объемистых сочинений аббата де-Сен-Пьер, стараясь сделать из них нечто читаемое. Кроме того, он намеревался написать нечто вроде сензитивистской теории морали, из которой на бумаге еще было очень немного, а также статью о воспитании. Об этом его просила г-жа де-Шевонсо, чтобы иметь руководящую нить для воспитания своего сына; он много размышлял на эту тему, как всякий, кто хочет осчастливить

человечество. И наконец, он работал над составлением музыкального словаря; это он делал между прочим.

Искра вдохновения вспыхивает самопроизвольно, а не собственному желанию. Медленно созревающий в подсознании процесс, разрешающийся, в конце концов, концепцией художественного произведения—подобно тому, как из различных веществ, которые растение впитывает в себя и перерабатывает в новые соки, в один прекрасный день распускается жизнь—этот процесс не всегда идет параллельно с сознательной мозговой деятельностью. Подсознание может идти впереди сознания и до некоторой степени двигаться в противоположном направлении: в подсознании может расти и укрепляться то, чего "цензура" воли не допускает к сознанию.

В то время, как у Руссо сознательная работа мысли еще по пути, на который толкнуло его пережитое им в Венеции внутреннее потрясение; в то время, как он хотел быть и, по его мнению, и был, главным образом проповедником и моралистом, из затаенных глубин "я" прорвалась его старая потребность нежности; и в то время, как он, как ему казалось, еще был "опьянен добродетелью", его чувственная мягкость уже жаждала любви.

Бедный Руссо! Та другая, неискоренимая сторона его природы, которую он в течение целых восьми лет подавлял в себе, только ждала случая, чтобы опрокинуть всякую "цензуру", с непреодолимой силой устремиться вперед и стать в фокусе сознания. За годами одностороннего пуританизма наступает сильная реакция: в жизни его она сказалась в страсти к г-же д'Удето, в его творчестве она получила выражение в "Новой Элоизе".

Роль случая, которого ждали подавленные силы его природы, чтобы расчистить себе путь и опрокинуть строгий стоицизм, так долго и неограниченно властвовавший над нею, сыграло его переселение в "Эрмитаж".

Была ранняя весна, когда он переехал в домик на опушке Монморансийского леса. Ранняя весна, как двадцать восемь лет тому назад, когда он шестнадцатилетним мальчиком! сбросив с себя гнет учения, бродил по горам Савойи. Снег еще лежал на полях, но природа уже начинала распускаться: в лесу цвели фиалки и первоцвет, на кустах появились почки, соловей пел перед самым его окном. Каким наслаждением было для него находиться опять среди природы! Еще не успев окончательно устроиться, он с восторгом принялся знакомиться с окрестностями своего жилища; веселый и радостный, как дитя, он бродил по всем тропинкам, заглядывал во все кусты. Через несколько дней после переезда он писал г-же д'Эпине, что, несмотря на заботы и хлопоты, связанные с устройством на новом месте, первые три дня в "Эрмитаже" были самыми мирными и очаровательными в его жизни.

И неожиданно, как тает снег в полях под мягким дуновением весны, начала таять твердая кора его души, которая, как он думал, сковала ее на веки. Здесь ничто не напоминало ему ежеминутно всего того, что так озлобляло его в Париже; он не видел больше вокруг себя нужды и

роскоши, расточительности и голода, невыносимые жеманные люди не раздражали его непрерывно. Все это отошло на задний план; здесь он наслаждался волшебным очарованием весны среди природы; его душа наслаждалась, его чувства наслаждались, он утопал в блаженстве. И как тогда, когда он юношей бродил по весенним полям, весь переполненный настоящей радостью, с музыкой в душе,—в нем снова зашевелились силы, зажурчали ручьи, распустились почки, зазвучали дивные голоса: долго скованная фантазия снова расправила свои крылья.

Те поэты, фантазия которых подобна пылающему пламени, разливающемуся по всему их существу и растворяющему все силы их души, поэты, напряжением всех своих творческих сил сразу охватывающие мир своей фантазии до их его пределов, до глубочайших его тайников. Но другие, фантазия которых работает менее бурно, у которых образы выявляются медленно, выплывая постепенно мечтательно-мягких, смутных настроений, из неопределенно нежных чувств и мыслей, как выплывают из тумана контуры судов. Таким именно образом работала фантазия

Вначале это были мечты, зарождавшиеся, вне контроля и вне влияния рассудка, из настроений и ощущений, и гнездившиеся в затаенных глубинах его природы, радостные мечты, которым он беспрепятственно отдавался во время своих прогулок. Отдаваться мечтам было для него высшим блаженством жизни; мягкий поток его фантазии вносил радость в его одиночество, заставлял его предпочитать это одиночество обществу людей. Но в молодости он никогда не чувствовал потребности удержать эти мечты; то, что он писал в то время, всегда было работой сознания, точной работой, происходившей вне его действительного "я". Потом началась борьба с жизненными заботами, а наступило время, когда он, поглощенный новыми великими мыслями о добродетели, героизме и призвании, возводил плотину вокруг той части своего "я", из которой эти мечты исходили. Но теперь плотина прорвалась, и поток фантазии снова беспрепятственно устремился вперед. В то лето он постоянно бродил по лесам и полям; большей частью один, потому что Тереза находила эти прогулки среди природы довольно скучными. Он наслаждался, но вместе с тем часто чувствовал себя неудовлетворенным, как все неуравновешенные природы, когда они достигают желанной цели. Главное его желание было удовлетворено: ему не приходилось больше строить планы будущего; это вызывало в нем чувство известной пустоты. К тому же было много такого в "Эрмитаже", что мешало ему и раздражало его. Случилось то, чего он опасался: г-жа д'Эпине не оставляла его в покое; во всякое время, когда только она нуждалась в развлечении или занятии, он должен был быть наготове явиться к ней в замок. Она не справлялась о том, не занят ли он или не желает ли быть один. Таковы были эти избалованные светские дамы, даже лучшие из них... Приняв от нее доказательство ее дружбы и расположения, он лишился своей независимости. Но это было еще не все! В течение летних месяцев его постоянно осаждали посетители из Парижа, поклонники и другие: после обеда он старался как можно скорее

улизнуть, чтобы в лесу на свободе отдался своим мечтам.

"Нет,—думал он,—"Эрмитаж" все-таки не то, что Les Charmettes; там жизнь была истинно прекрасна, полна гармонии и покоя". О той крупной дисгармонии, которая изгнала его из Les Charmettes, он забыл. Мечты его незаметно обратились к прошлому: они уже не направлялись на будущее, а возвращались назад, как бывает всегда, когда молодость проходит.

Он дошел до грани—неодинаковой для всех,—когда сердце обращается к прошлому и с болью и горечью прощается с тем, что больше не вернется: с золотой, прекрасной молодостью.

Таков удел всякого человеческого сердца, дошедшего до этой грани: уходящая молодость оставляет сожаление о том, что она не была использована лучше. Кто искал своего счастья в любви к красивому телу и в удовлетворении этой страсти, тот испытывает всю горечь воспоминаний; и сожаление обо всем том, что он упустил, гоняясь за этой единственной целью, сжимает ему сердце; он грустит: ему кажется, что он растратил драгоценный источник юности. Кому сияли другие звезды, нежели звезда Венеры, кем двигало честолюбие или стремление к блестящему идеалу, мечта о спасении человечества, и у того сердце переполнено болью и сожалением: он пренебрегал тем, что ему представляется теперь самым прекрасным в жизни; и ему кажется, что и он упустил венец жизни.

Покинув Савойю, Руссо в течение восьми лет искал славы, борясь с потоком жизни, все снова и снова отбрасывавшим его назад; в течение следующих восьми лет он жил своих идеалов. Как одно, так и другое представлялось теперь ничтожным; жатва этих лет казалась ему бедной, жизнь лишенной содержания, лучшие его силы истраченными и неиспользованными. Никогда он не любил так, мог любить; никогда не получал той любви, к какой стремился всем сердцем. И вот молодость прошла и никогда не вернется. Жажда любить и быть любимым бурной волной заливала его сердце, все его тело, все его чувства, его воображение... И фантазия направлялась по стезе воспоминаний. Он снова молод, снова беззаботный мальчик, мечтательный, страстный юноша; он снова слышит серебристый голос, снова видит перед собою милые лица очаровательных существ, когда-то приводивших в волнение его кровь. Он видит обеих подруг, его спутниц в тот незабвенно-блаженный день, когда он направлялся через горы к старинному замку; он видит своих очаровательных учениц в Шамбери, он видит милую маленькую женщину, которую он встретил во время путешествия по Франции, он видит смуглую венецианскую красавицу, к которой он, будучи секретарем посольства, воспылал страстью. Много еще образов проходило перед его внутренним взором, ибо он очень часто влюблялся, в стороне от других, отделенную от прочих более замкнутым, более нежным и меланхолическим чувством, какое ему внушала, он видел г-жу де-Варан такой, какой она престала в первый раз перед взорами робкого мальчика: молодой, цветущей, с маленькими ручками и пепельно-белокурыми волнистыми волосами, олицетворением грации и красоты. Он был влюблен в свои воспоминания, он горел и пылал, но предмета

любви он не находил, тогда-то его неудовлетворенное стремление обратилось к у великому спасительному средству, к которому жаждущая счастья человеческая душа прибегает, как к якорю спасения, чтобы не погибнуть от тоски. Художники умеют крепко ухватиться за это спасительное средство и лучше использовать его, чем другие люди; поэтому они, эти тонкие, чувствительные натуры, все-таки лучше противостоят прибою жизненных волн. Он свою жажду любви перенес в другую высшую сферу; удовлетворения, в котором ему отказывала действительность, он стал искать в фантазии.

Медленно и постепенно творческая фантазия преображала все милые воспоминания юности: она отделяла, связывала, соединяла; она упростила многообразие впечатлений до ясных, простых линий, откинула все лишнее, побочное; изо всего, что он когда-либо любил в людях, она сплела ореол вокруг отдельных образов и сконцентрировала на небольшом клочке земли все прекрасное, что он когда-либо находил в природе.

Таким путем его воображение создало несколько образов людей с чистыми, чувствительными сердцами, два женских образа и один мужской; женщины были нежными подругами, мужчина был возлюбленным одной из них и другом другой; они жили вместе в деревне на берегу озера. Это место было местом рождения г-жи де-Варан; в женщинах отразились черты всех женщин, которых он когда-то любил, а мужчину он обрисовал таким, каким чувствовал себя самого, пылким и слабым, неустойчивым и полным восторженного стремления к добродетели и добродетельной жизни, но юным и неотразимо-привлекательным, каким он хотел бы быть. Он хотел воздвигнуть памятник богам своего сердца; дружбе и любви.

Он начал писать, сначала без всякого определенного плана, и чувствовал себя невыразимо-счастливым. В зимние месяцы он читал вслух написанное Терезе и ее матери. Тереза плакала от умиления, он сам тоже. Но вместе с тем в нем поднималось чувство стыда за собственную мягкость и родившееся из нее творение. Ведь в течение ряда лет он осуждал любовь, эту человеческую слабость, и выставял к позорному столбу превозносивших ее писателей. Не то же ли он делал теперь сам, что и они? Энтузиазм, который вызывали в нем крутые стези добродетели, строгая и уединенная жизнь, рос в нем годами и пустил корни в его мозгу; он не мог его вырвать; он стал частью его самого, от которой он не мог освободиться, как и от своей мягкой чувственности. Поэтому он попытался соединить в своем произведении обе эти стороны своей натуры, примирить любовь с долгом. Этому удалось. Теперь его совесть была спокойна; он продолжал писать и был счастлив.

В этот период интенсивной внутренней жизни его посетила невестка г-жи д'Эпине, г-жа д'Удето. Он давно был с нею знаком, но знакомство это было поверхностное; она всегда была с ним любезна, но не более. Она была некрасива, ряба, слегка косила и глаза ее выдавали сильную близорукость. Но иногда некрасивые женщины обладают большой привлекательностью; она очаровывала своей красивой шеей и

великолепными руками, своими открытыми и любезными манерами, своей грацией и детски-веселой неловкостью, она была еще молода, не старше тридцати лет, и довольно способна; она хорошо писала и недурно сочиняла стихи. Она имела друга сердца, некоего Сен-Ламбера, дворянина и поэта, из тех вошедших в моду поэтов, которые, проводя свою жизнь в салонах, воображали, что стремятся к природе и сельской жизни, и воспевали ту и другую в гладких академических стихах. Это была несколько сухая, черствая натура, впрочем, вполне почтенный человек и джентльмен головы до ног. Связь г-жи д'Удето с Ламбером продолжалась до конца их жизни, почти столетия; их верность вошла в пословицу.

Оба они, конечно, очень ценили Жан-Жака, по всей вероятности и не сознавая, что для него было глубокой жизненной правдой то, что для них являлось только забавой: в те времена многие мужчины и женщины большого света играли идеями о любви к природе, о сельской простоте жизни и т.д. только из пресыщения роскошью и из жажды разнообразия.

Первое ее появление в "Эрмитаже" произошло осенью 1756 года; она отослала свой экипаж, пошла пешком и чуть не завязла в грязи; вся грязная и промокшая, но радостно-возбужденная своим приключением, она достигла дома. Тереза должна была ей дать сухое платье, и она без всяких церемоний осталась к ужину.

Следующей весной она снова посетила Руссо, на этот раз она приехала верхом, в мужском платье. В то время разразилась семилетняя война; ее муж и ее возлюбленный оба были на поле сражения. Она наняла виллу вблизи Монморанси и намеревалась много бывать в обществе Руссо; ее возлюбленный отнесся к этому одобрительно, ибо в обществе жившего уединенно философа, стойка со строгими взглядами на добродетель и нравственность, он считал ее защищенной от соблазнов парижского света.

Но, увы, Руссо начал с того, что безумно влюбился в нее, как еще никогда ни в кого не влюблялся в жизни.

Дала ли игра его фантазии лишь кажущееся удовлетворение его человеческой жажды любви, на самом деле только раздражив ее? И не потому ли он роковым образом воспылал любовью к первой очаровательной женщине, которую судьба поставила на его пути? Или дело обстояло иначе: не заговорила ли в эту минуту в душе его—бессознательно для него самого—потребность художника довести свою изобразительную способность до высшей степени интенсивности путем физического ощущения любовного томления, любовного восторга и любовной скорби, которые он изображал в своем произведении?³²

Кто возьмет на себя решить этот вопрос? Бессознательные склонности и желания, определяющие действия человека, часто неисповедимы, полны мистерий.

Как бы то ни было, в нем загорелась любовная страсть пылкая и жгучая, полная тревоги и смущения, потому что он стыдился ее, полная страданий, ибо ответ на его любовь и удовлетворение страсти были в данном случае невозможны, он сам не мог, не смел этого требовать. Ведь обожаемая им женщина была жена другого, была возлюбленная друга его, который был ему дорог, в немалой степени самой ее преданностью возлюбленному; желать обладания ею значило покрыть позором себя и ее; не обладать ею—значило страдать невыносимо: так он страдал, горел, боролся с самим собою; так он в неистовстве страсти молил о том, против чего восставало все идеальное в его натуре, все его нравственное чувство. Что касается г-жи д'Удето, то она была и испугана, и польщена, и тронута; Руссо был уже не молод, но еще и не стар и чрезвычайно привлекателен; в нем было что-то необычное, в одно и то же время и возвышенное и мягкое, чего не было ни в ком другом. Она хотела погасить пожар, который сама же зажгла, и избрала для этого самый неправильный путь: она дала ему нежность, которая лишь сильнее разожгла пламя страсти. Все, что может заключаться в романе между мужчиной и женщиной, связанных самыми нежными любовными отношениями, из которых исключена только сексуальная сторона, вся неудовлетворенность и боль, бури, доходящие до экстаза, экстаз, минутно грозящий перейти в отчаяние, — все это было его уделом в течение сладостно-мучительных летних месяцев сорок пятого года его жизни, того года, когда он расстался молодостью.

Тяжело было это прощание с молодостью,—оно изнуряло тело и его нервы. А потом пламя погасло, оставив после себя только пепел воспоминаний.

Но из него выросло творение, сотканное из пламени, удивительная книга, язык которой полон нежности и страсти, как пение соловья весенней ночью: "Новая Элоиза". В огне этого произведения должна была очиститься душа женщины того времени, она должна была погрузиться в него, чтобы возродиться: скорбь поэта вызывает в тысяче человеческих сердец трепет блаженства.

Его переселение в "Эрмитаж" вызвало раздражение в его друзьях и всей кучке, толпившейся вокруг богатого эпикурейца Гольбаха. Они по-своему тоже любили природу: в садах и парках увеселительных дворцов и замков; но чтобы интеллигентный человек мог бежать из Парижа для того, что зарыться в глухих лесах и пустынных полях—это было вне их представления. Сами они не выдержали бы и недели в лесах Монморанси. Чего же ищет там этот ушедший в них человеконенавистник Руссо? Его мизантропия там только усилится; он окончательно удалится от людей, совершенно уйдет из-под влияния друзей, если только выдержит эту роль... но он ее не выдержит... Они насмеялись над нимчески приставали к нему, чтобы заставить его вернуться: приемы, которых он совершенно не переносил.

Может быть, они были правы, предполагая, что одиночество не пройдет для него вполне бесследно, что жизнь в "Эрмитаже" усилит его замкнутость, нелюдимость и подчас болезненную склонность рыться в

³² Аналогичный случай, которому, впрочем, тоже не найдено достоверного объяснения, представляет любовь Вагнера к Матильде Эзендопк в то время, как он писал своего "Тристана".

мелочах. Но, конечно, они не имели права противодействовать тому, к чему стремилась вся его душа, поучать его, а когда это не помогало, тайно за его спиной вести интриги с Терезой и ее матерью, с целью заставить его вернуться в Париж. В конце концов, он это заметил, и все эти открытые поучения и наставления и тайные интриги действовали на его раздражительную натуру самым неприятным образом. Он стал чувствовать все большую неприязнь к своим старым друзьям, Дидро и Гримму. Они оба, жаловался он в письме к г-же д'Удето, стали светскими людьми, людьми "успеха". Он же остался прежним, поэтому они больше не подходят друг к другу - Дидро, по мнению Руссо, часто подводил его тем, что не приезжал в обещанные дни и т. п. и критиковал всякий его шаг и всякое действие. Несколько раз дело у них доходило до размолвок: в первый раз это случилось, когда Дидро в письме к нему стал упрекать его в том, что он всю зиму держит мать Терезы в "Эрмитаже"—в таком тоне, как если бы старуха там подвергалась величайшим лишениям; Руссо на это возразил, что она там так довольна и здорова, как только можно этого желать, и неужели старые люди не могут жить нигде, как только в Париже?—В другой раз, когда Дидро в одной из своих пьес высказал фразу: "Только злодей живет в одиночестве", Руссо принял эти слова на свой счет. Г-жа д'Эпине вмешалась в это дело, и ей удалось примирить друзей: Дидро посетил Руссо в "Эрмитаже". После этого посещения Руссо, глубоко тронутый, писал своей старой приятельнице: "Вы были вполне правы, желая, чтобы я повидался с Дидро. Вчерашний день он провел здесь; я давно уже не переживал такого чудесного дня. Нет размолвки, которая бы устояла перед присутствием друга".

Но и дружба с г-жей д'Эпине не была уже столь безмятежна, как раньше: между ними уже некоторое время стоял Гримм, теперь стала и г-жа д'Удето. Нахальное поведение Гримма по отношению к нему все чаще и чаще превращало для него в мучение его пребывание в доме г-жи д'Эпине. Все мелкие знаки внимания, которыми избаловала г-жа д'Эпине за время их интимных дружеских отношений: то он рядом с нею за столом, его спальня рядом с ее комнатой, теперь прекратились; новый фаворит требовал и получал. Неужели ему всегда суждено было уступать место какому-нибудь Винценриду?

С другой стороны, г-жа д'Эпине не была бы женщиной, если бы внезапная страсть Руссо к ее невестке не привела ее дурное настроение. Новая страсть заставляла его совершенно пренебрегать старой приятельницей: его почти никогда больше не видеть было в Les Chevrettes, где гости дразнили его и подсмеивались над философом, который с сединой в голове еще влюблялся, как школьник. Избалованная г-жа д'Эпине не могла мириться с таким пренебрежением, она сердечно любила Руссо, дружба их длилась уже десять и она охотно грелась в лучах ее нежности при всей своей любви к возлюбленному. Кроме того, она, конечно, обижалась на то, что Руссо находил всевозможные недостатки в этом возлюбленном. В то лето она прилагала всяческие усилия, чтобы предотвратить разрыв между Руссо и Гриммом.

Атмосфера, таким образом, была со всех сторон заряжена

электричеством. И в один прекрасный день разразилась гроза.

Сен-Ламбер был осведомлен об интимных отношениях, установившихся между его возлюбленной и Руссо. Конечно, отношения были представлены как любовная связь. Г-жа д'Удето со слезами рассказала об этом Руссо. Последний не сомневался ни одной минуты, что это дело рук г-жи д'Эпине. В слепом возмущении он обвинил свою приятельницу в низости, чего она не заслужила с его стороны.

Г-жа д'Эпине, в свою очередь, обвиняла Терезу в том, что она якобы написала Сен-Ламберу анонимное письмо, что, по разным выражениям, весьма мало вероятно. Раз г-жа д'Удето и Руссо постоянно были вместе, вместе гуляли при лунном свете и т.п. и гости в Chevrettes, принадлежавшие к одному с Сен-Ламбером кругу, все знали, что ясно, что слухи и сплетни не могли не дойти до Сен-Ламбера.

Но благодаря ее кротости—она во что бы то ни стало хотела предотвратить разрыв,—а также тому обстоятельству, что Гримм в это время находился в Вестфалии, между ними состоялось примирение без дальнейших объяснений; но подведение Руссо оставило жало в сердце оскорбленной женщины. С этого времени Гримм стал постоянно настаивать на том, чтобы она перестала церемониться с Руссо. По возвращении Гримма из Германии его высокомерное и пренебрежительное обращение с прежним другом стало для Руссо совершенно невыносимым. Он хотел порвать с ним окончательно; с большим трудом г-же д'Эпине удалось их примирить и на этот раз, хотя только наружно. Между тем и Сен-Ламбер вернулся на время с театра войны; чтобы показать, что он не придает никакой веры сплетням, он посетил Руссо в "Эрмитаже" и остался у него обедать. Он был воплощенной любезностью, как и позднее в письмах, и с виду отнесся чрезвычайно тепло к мысли Руссо о возможности нежных душевных отношений между ними тремя. Но все это было не более, как проявление "тонких светских манер", которых Руссо никогда не понимал, умения распутывать неприятные вопросы гладко и бесшумно; после отъезда Сен-Ламбера бедный влюбленный убедился в сильном охлаждении со стороны г-жи д'Удето. Она старалась постепенно порвать отношения с ним.

Само собою разумеется, что лето, проведенное в таких сильных душевных волнениях, глубоко отразилось на Руссо, и не много надо было для того, чтобы он совершенно утратил равновесие. И тут-то последовал удар, который его окончательно сразил.

В один октябрьский день г-жа д'Эпине призвала к себе Руссо и сообщила ему, что ее сильно беспокоит состояние ее здоровья и она намеревается, не теряя времени, отправиться со своим сыном, его домашним учителем и несколькими слугами в Женеву, чтобы там полечиться у Трошена, знаменитого в то время врача. Она предложила Руссо сопровождать ее, говоря, что ей это было бы очень приятно, и выражая надежду, что он не откажется.

Руссо ничего не понимал во всем этом. Зачем непременно ему ехать с нею в Женеву, почему не ее возлюбленному или ее мужу? Но на

следующий день Тереза, чаще, чем это было нужно, вступавшая в разговоры с горничными замка, рассказала мужу, что ходят слухи, будто г-жа д'Эпине беременна и едет в Женеву, чтобы там втайне дожидаться разрешения от бремени. Теперь ему все стало ясно. А когда он, вскоре после этого, получил особенно бестактное письмо от Дидро, в котором последний уговаривал его ехать в Женеву и взывал к его чувству чести, напоминая ему о бесчисленных обязательствах, связывающих его с г-жей д'Эпине, для него больше не было сомнений: против него составляют заговор, хотят создать видимость, будто он любовник г-жи д'Эпине, и для этого он должен ее сопровождать. Этого хотел Гримм, чтобы самому выйти сухим из воды в случае, если бы рождение ребенка стало известным.

Он был глубоко возмущен. Все его прежние страхи перед зависимым положением снова проснулись в нем; ему казалось, что г-жа д'Эпине требует от него лакейской услуги и хочет его запечь в ярмо лакейства. "Он и не подумает,—выразился он в письме к Сен-Ламберу,—выставлять себя на посмешище у себя на родине, являясь в роли лакея откупщицы". Он, как еж, выставил во все стороны свои иглы.

Было ли какое-нибудь основание для его подозрительности и озлобления?

Основывался ли слух о беременности г-жи д'Эпине на истине?³³ Действительно ли была во всем этом рука Гримма и хотел ли он отправить Руссо в Женеву, чтобы делать его козлом отпущения в случае, если бы открылась беременность г-жи д'Эпине? Участвовали ли в самом деле его старые друзья в таком позорном заговоре против него?

Или все это объяснялось самым простым и естественным образом? Может быть, г-жа д'Эпине действительно отправлялась в Женеву ради своего здоровья, сказав себе при этом: было бы хорошо, если бы Руссо меня сопровождал; он знает город и его обитателей, и он все равно ведь собирался посетить свою родину. Не соответствовало ли это простое объяснение правде?

Ответ на эти вопросы расколол биографов Руссо на два лагеря, но все их соображения не могли пролить свет на обстоятельства этого дела.

Бесчисленные письма—злые, страстные, насмешливые, холодные, успокаивающие, добродушные—сколько, однако, люди в те времена писали!—как пестрые птицы, летели в те осенние дни между Руссо, г-жой д'Эпине, г-жей д'Удето, Дидро, Гриммом и Сен-Ламбером. И потом наступил печальный конец всей дружбе и оказываемой с самыми добрыми намерениями заботливости.

Первым импульсом Руссо было сейчас же покинуть "Эрмитаж"; но другие удержали его от этого, упроявив остаться до весны, чтобы избежать открытого разрыва. В тех кругах этого не любили. Он уступил и после отъезда г-жи д'Эпине написал ей в этом смысле. Ответ получился в начале декабря; это был уничтожающий в своем высокомерии ответ: в

самых невежливых выражениях она предлагала ему в ближайший срок покинуть "Эрмитаж".

С конца октября он пережил ужасные недели, может быть, самые ужасные в его жизни. Г-жа д'Удето уехала в Париж случайно в тот же день, когда г-жа д'Эпине отправилась в Женеву. Прощание между нею и Руссо сопровождалось уверениями в нежности и дружбе; он написал ей, потом писал снова и снова; она не ответила ни на одно из его писем. Он не понимал причины ее молчания и терзался всевозможными предположениями. Неужели его все покинули?—Неужели он потерял все, на что опирался, и у него не осталось ни одного друга? Этого он не мог перенести: с этих пор он совершенно утратил внутреннее равновесие.

Дидро, посетивший его в начале декабря, испугался его вспыльчивости, полного отсутствия самообладания: его бешеный рев был слышен в саду, он точно сошел с ума.

Тогда-то пришло письмо из Женевы; оно подействовало на него, как удар бичем. Он, всегда все откладывавший, всегда колебавшийся, стал теперь действовать с крайним напряжением всех сил, решительно и энергично. Он нашел и нанял небольшую квартирку вблизи Монморанси и, не взирая на снег и отвратительные дороги, перевез туда и вещи; это произошло в середине декабря. Г-же д'Эпине он написал из своего нового местожительства: "Нет ничего проще и необходимее, сударыня, как покинуть вашу квартиру, раз вы не желаете, чтобы я в ней оставался".—После этого он свалился.

Своих прежних друзей он утратил навсегда, хотя форменный разрыв с Дидро произошел несколько позже. Его ужало одиночество, как всякого, теряющего под старость друзей своей молодости.

Но это было еще не худшее. До этого времени у него бывали странные поступки, он был переменчив, обнаруживал признаки неврастения, но никогда не переступал грани, которая отделяет здоровую душевную жизнь от больной. Он часто бывал подозрителен; но зато, раз подарив кому-нибудь доверие, он, как все люди большого масштаба, дарил его безусловно и неограниченно. В общем он чистосердечен и откровенен по отношению к друзьям, ничего от них не утаивал, отдавал всего себя. Недоверие было у него исключением, доверчивость правилом. Теперь все изменилось. В эти дни он впервые определенно переел через границу нормального. У него стали появляться навязчивые идеи, которых он не мог отогнать. Подозрительность стала болезненной склонностью. В тот период безысходной тоски, последовавший за потрясшими его нервную систему переживаниями последних месяцев, в нежной ткани его мозга образовалась рана, никогда уже заживавшая. В его сознании зародилась тогда мрачная навязчивая идея, получавшая все новую пищу из тысячи случайностей и мелочей, составляющих в своей совокупности сеть,—навязчивая идея заговора.

³³ Во всяком случае нельзя винить Руссо в том, что он этому слуху верил: он знал, что она раз родила тайно ребенка от Франкейля.

II. КАТАСТРОФА

Руссо поселился с Терезой в небольшом домике в Мон-Луи, предместьи Монморанси. Мать Терезы с этих пор больше не жила с ними; Руссо убедился, насколько она неискренна и ненадежна: в лицо она ему постоянно льстила и поддакивала, а за спиной его действовала совершенно иначе. Домик был старый и ветхий, пол такой гнилой, что мебель чуть не проваливалась. Но вид из него открывался чудесный: с террасы был виден парк и великолепный дворец герцога-фельдмаршала Люксембургского, самого крупного вельможи во всей местности. Домик был расположен ниже города, на склоне холма, вершина которого была покрыта лесом, а у подошвы расстилалась плодородная долина Монморанси. Позади домика, в саду, в конце аллеи стоял павильон, откуда открывался прекрасный вид; этот павильон Руссо сделал своей рабочей комнатой. Несмотря на плохое состояние своего здоровья, несмотря на лютый холод, он зимой 1758–1759 года проводил там каждый день по несколько часов, чтобы в уединении размышлять и писать. После всего горя, всех тревог последних месяцев им овладел теперь новый порыв творчества; он усердно работал. Хотя тема, над которой он работал, не имела, повидимому, ничего общего с его личными переживаниями последнего времени, он сумел ее окрасить—такова тайна творчества—струей своей странно раздвоившейся в те дни душевной психики.

Он писал статью о театре, которую он выпустил под заглавием: "Lettre a d'Alembert sur les spectacles". Поводом к этой работе послужило одно место в статье о Женеве в энциклопедии, в котором автор высказывал сожаление о недостаточном количестве театров в столь культурной во всех других отношениях и развитой общине и предлагал правительству не препятствовать допущению их. Самая статья принадлежала перу д'Аламбера, но автором этого места в ней молва называла Вольтера. Увлекаясь до крайности театром, сочиняя для него пьесы, в которых он сам исполнял роль и дирижера и актера, Вольтер возымел мысль организовать любительский театр вблизи виллы, в которой он жил, в Les Delices, предместьи Женевы; но духовные власти не хотели об этом и слышать и делали все возможное, чтобы помешать такому "безнравственному предприятию". Но и в Женеве обстоятельства изменились, и вскоре после появления статьи Руссо Вольтер с торжеством писал своим друзьям: "Вся Женева посещает наш театр; город Кальвина становится городом развлечений и духа терпимости".

В "Письме к д'Аламберу" проходят две различные нити мыслей: одна представляет полемику против французского театра (как классической трагедии и комедии, так и мещанской драмы, развившейся как раз в то время), по существу это была старая критика цивилизации на новую тему; другая—идиллически окрашенное описание простых, неиспорченных нравов и трогательного духа общественности среди мелко-крестьянской и мещанской демократии. В критико-сатирических главах Руссо снова дает исход своему возмущению против жизни правящих классов своего

времени; в идиллической части он противопоставляет ей жизнь швейцарского общества, не столько такой, какой она была в действительности, а скорее такой, какой она сохранилась в его идеализованных юношеских воспоминаниях. Его стремление к атмосфере покоя, атмосфере чистой жизни, бесхитростных развлечений и сельской простоты—это стремление еще усилилось после всего, что он пережил, но вместе с тем оно больше, чем когда-либо, было проникнуто тоской. В тех пор, как он стал думать, что люди, которым он побрил свое доверие, обошлись с ним несправедливо, его прежняя горечь смягчилась какой-то кроткой печалью. Так сердце его, в котором еще дрожали отголоски пережитых бурных потрясений, его личное страдание слилось с ощущениями, вызванными в нем размышлением над его темой. Поэтому совершенно верно то, что он засвидетельствовал позднее в своей "Исповеди": что он в этом произведении бессознательно изобразил свое собственное состояние, обрисовал себя самого, Гримма, г-жу д'Эпине, г-жу д'Удето, Сен-Ламбера, хотя никто из них в нем не назван и речь идет, повидимому, о совершенно других предметах; его произведение было гармоническим сочетанием общих взглядов и личных ощущений; это-то и делало его столь привлекательным и неотразимым. Из него исходила какая-то хватавшая за сердце мягкая нежность, нечто совершенно несвойственное почти всем другим сочинениям того времени. Этим объясняется колоссальный успех этой книжки, предвестник лихорадочного энтузиазма, вызванного появлением "Новой Элоизы".

Письмо к д'Аламберу означало открытый разрыв Руссо с философами-материалистами. "Я не признаю того положения,—писал он,— что можно быть добродетельным без религии". Но если бы он даже и не написал этого, он во всяком случае в будущем восстановил бы против себя их партию, потому что, ведь, он дерзнул выступить против Вольтера и противодействовать его намерениям. Руссо поднял знамя возмущения против вождя, а это не могло быть терпимо.

До этого времени отношения между Руссо и Вольтером оставались—конечно, на расстоянии—товарищески-корректными. Они при случае обменивались любезными, остроумными, слегка кисло - сладкими письмами и скрывали глубокую антипатию, которую они, сознательно или бессознательно, должны были чувствовать друг к другу, под маской обоюдно-вежливого признания их талантов и произведений. Руссо, наиболее неуравновешенный из двух, первый проявил свое раздражение. По поводу известного стихотворения Вольтера по случаю лиссабонского землетрясения, Руссо в частном письме прочел этому светочу науки нотацию, раскритиковав жалкий пессимизм его стихов и с несносным самодовольством выставив в противовес ему свой собственный торжествующий оптимизм, которого он никогда не утрачивал, смотря на заботы, физические немощи и т.д. Письмо было написано скучно и в поучительном тоне, в какой Руссо часто впадал со времени своего обращения на путь добродетели, и легко понять, что Вольтер был сильно раздражен. Но все это еще происходило в тиши (письмо это было обнародовано лишь много лет спустя без ведома Руссо). В 59 году

Вольтер еще и не порывал с Руссо; для этого энциклопедисты слишком дорожили им. Но теперь, когда этот злодей дерзнул противодействовать ему, Вольтеру—который был столь же тщеславен, столь же раздражителен и столь же подозрителен, как Руссо, хотя и в совершенно другом роде, и сверх того, чем никогда не грешил Руссо, изображал из себя непогрешимого папу, не терпящего противоречия, — когда Руссо осмелился противодействовать ему его театральных планах, теперь прошла пора бережного отношения и любезных фраз, теперь надо было проучить этого негодяя, этого глупца, этого фанатика, этого ублюдка Диогена и его собаки". Вольтер, впрочем, отнюдь не желал марать своих рук памфлетами против Руссо, для этого у него были другие исполнители. Ему достаточно было мигнуть, чтобы дело было сделано. Сам он пока довольствовался тем, что в частных письмах, которые, как он знал, обойдут весь кружок друзей и товарищей, осыпал Руссо оскорбительной руганью; в ней он давал исход своему раздражению.

Как и всегда в полемике, так и по отношению к бешеной вражде, с какою Вольтер с этого времени стал его преследовать, Руссо в общем сохранял хладнокровие и достоинство. Он был еще тот же, что и в дни детства: на оскорбительное обращение он реагировал больше внутренней болью и полным отчаяния чувством бессильного возмущения, чем проявлениями ненависти. Правда, со времени появления первых признаков его душевной болезни, на которые мы уже указывали, у него чаще прежнего стали повторяться взрывы бешеной злобы. При многочисленных столкновениях с людьми, которыми так богата была его дальнейшая жизнь, он, благодаря этой невоздержности, часто навлекал на себя видимость неправоты даже тогда, когда на деле был прав. Так, написав однажды письмо Вольтеру с извинением в том, что письмо его от 1756 г. по вопросу об оптимизме было без его ведома опубликовано, он в припадке гнева закончил это письмо следующим образом: "Я не люблю вас; вы причинили мне, вашему восторженному ученику, всяческое зло, какое только могло доставить мне наибольшие страдания; вы развратили Женеву в благодарность за то, что нашли в ней приют; вы вызвали отчуждение между мною и моими согражданами в награду за то, что я расточал вам хвалы среди них; вы сделали невозможным для меня пребывание в родном городе; благодаря вам я умру на чужбине, лишенный всех утешений, облегчающих последние минуты умирающего, брошенный где-нибудь в углу без всяких почестей, между тем, как все почести, доступные человеку, оказываются вам у меня на родине... Словом, я ненавижу вас, потому что вы этого хотели, но ненавижу вас, как человек, который был бы достоин вас любить, если бы вы этого пожелали. Из всех чувств, которыми мое сердце было переполнено к вам, остается только восхищение, в котором вам нельзя отказать, перед вашим гением и любовью к вашим произведениям... Прощайте, милостивый государь". Это было в 1760 году.

Вольтер ничего не понял в этом лишенном самообладания, письме, но пришел от него в ярость, как свидетельствуют некоторые его выражения, относящиеся к тому времени: "Этот троекратный глупец...

подлое письмо..., достойные презрения приемы..., автор "Новой Элоизы", этот мошенник..." ("Новую Элоизу" он называл "скучным и неприличным романом"; "Эмилия" он находил "пошлым и плоским"). Само собою понятно, что Вольтер, ценивший элегантною ясность стиля выше всего,—он сам однажды сравнил себя с неглубоким, но прозрачным источником—не мог оценить полного душевной глубины и меланхолии гения Руссо и его изборожденного, подчас ораторски-напыщенного стиля. Руссо, напротив, до конца своей жизни преклонялся перед литературным дарованием Вольтера. Когда седовласого патриарха накануне его смерти увенчали во Французском театре лавровым венком, и какой-то льстец обратился по этому поводу к Руссо с насмешливым замечанием, этим угодить ему, Руссо ответил ему словами: "Кто же себе позволить делать замечание по поводу того, что Вольтеру оказываются почести в храме, божеством которого является он, и жрецами, которые в течение пятидесяти лет питаются творениями его гения? Кто, как не Вольтер, заслуживает лаврового венка?"

Контраст в поведении этих двух людей—страстная унижающая критика со стороны Вольтера, полное великодушие признание его таланта со стороны Руссо—объясняется, может быть, тем обстоятельством, что Вольтеру приходилось подавлять в себе неприятное чувство: человек выше меня, в нем самом и в его произведениях есть нечто более глубокое и задушевное, что мне чуждо—в то время, как Руссо, хотя и завидовал славе и влиянию Вольтера, но в глубине души сознавал свое превосходство, как художника, и это сознание позволяло ему судить о своем враге мягко и справедливо. Нечто подобное существовало, по моему мнению, в отношениях между Байроном и Шелли.

"Письме к д'Аламберу" Руссо в замаскированной форме объявил о своем разрыве с Дидро. Воспользовавшись чрезвычайно ядовитой цитатой из Библии, он посвятил публику в причины этого разрыва. Руссо обвинил Дидро—и по всей вероятности не без основания, потому что этот болтун никогда не умел держать язык за зубами—в том, что распускал сплетни об его отношениях к г-же д'Удето, совершив этим предательство по отношению к другу. Позднее, когда Руссо жил в Мотье, Дидро при посредничестве третьих лиц сделал попытку к примирению. Но Руссо решительно отказался. Ответ его гласил: "Я умею уважать без дружбы и тогда, когда она уже погасла, но никогда не пытаюсь вновь оживить ее", и никогда больше не видели друг друга. Д'Аламбер был с своей стороны так возмущен образом действий Руссо по отношению к Дидро, что сейчас же порвал с ним, вернув присланный ему экземпляр нового сочинения Руссо.

В "Письме к д'Аламберу" Руссо дал исход многому, что его мучило и угнетало; настроение его стало спокойнее, он ощутил мир в душе и возможность вздохнуть свободно, возможность, которой он был лишен многие годы. В Мон-Луи он, погружившись в работу, вел спокойную, размеренную жизнь; в 1759 году была закончена "Элоиза", и к концу этой работы он настолько сохранил свежесть умственных сил, что сейчас же

принялся писать большое сочинение о воспитании, которое созревало в мозгу его в течение почти двадцати лет.

Не один только внутренний голос в течение этих годов побуждал его, человека по натуре не деятельного, к такой богатой и непрерывной умственной деятельности. Он был исполнен сознания, что на нем лежит призвание, задача перед человечеством: он хотел ему указать путь к счастью и внутреннему миру. Он должен был выполнить эту задачу, должен был повиноваться внутреннему голосу; он не мог найти покоя, не высказав своих взглядов на важнейшие, по его мнению, вопросы в человеческой жизни: отношение человека к богу, устройство государства, взаимные отношения полов и воспитание. Но потом он намеревался отдохнуть, вести жизнь, соответствующую его натуре: спокойную, безмятежную жизнь в тесном мирном кругу. Он не чувствовал себя счастливым и ему было не по себе в той обстановке, в которую он попал; он достаточно, слишком достаточно вращался в литературных кругах и хотел положить этому конец; он сознавал, что ему не хватает необходимых для светских сношений качеств: такта, уверенности в себе, светских манер и ловкости. Он сознавал, что в этих сношениях он оставался слабейшим, а опыт научил его, что более слабый при всяких обстоятельствах остается в накладе. Он знал также, что никогда не найдет внутреннего покоя, покуда будет поддерживать отношения с людьми тех кругов; они всегда приводили его в колебание и будили в нем тысячи ощущений, с которыми он не мог справиться для этого сила и слабость слишком близко соприкасались в его натуре. Лучшее в нем,— его великая любовь к людям, потребность быть понятым и любимым, стремление отдавать себя,—все это так тесно переплеталось в его сердце тщеславием, жадной похвал и поклонения, боязнью порицания, это сердце было так легко уязвимо, так чувствительно к боли, что мир и покой были для него возможны только в уединении или среди простых бесхитростных душ, которые не в состоянии были его огорчать. Он это знал и пил ничего больше не писать — кроме своих мемуаров, которые должны были появиться только после его смерти;— хотел уйти от культуры и скрыться с Терезой в каком-нибудь глухом углу, исчезнуть в мраке. Это-то желание и вынуждало его, между прочим, так неутомимо работать. Ибо покой мог наступить для него не раньше, чем будут окончены произведения, занимавшие его ум. И так велика была у него жажда покоя, что он решил выделить небольшую часть из первоначальной схемы большого сочинения о политических установлениях и разработать только ее, оставив остальное в стороне.

От намерения писать о сензитивистской морали он еще раньше отказался. Все остальное, за исключением музыкального словаря — который в счет не шел—он мог закончить течение нескольких лет, после чего он намеревался устроить свою жизнь по собственному усмотрению и собственному вкусу. Бедняга! Он знал самого себя так хорошо и вместе с тем мало — как большинство из нас. Он забыл о своей двойственности; в нем была склонность к одиночеству, к мирной уединенной жизни, но вместе с тем и желание отдать себя, итти к людям с открытым сердцем и

открытыми глазами, потребность дружеского общения с людьми и потребность любви—главным образом, последнее. Стремление к людям составляло коренную черту его натуры, ее глубочайшую сущность; оно всегда оставалось в нем, и хотя временами подавлялось, но никогда не могло быть окончательно отнято его вторым "я", этим продуктом общественных влияний и тяжелых переживаний: болезненным недоверием и не менее болезненным самоуглублением.

Боль, вызванная разрывом со старыми друзьями, продолжала его терзать. В те дни он писал в Женеву одному ему доброму знакомому, потерявшему жену: "Еще не все потеряно, покуда можешь плакать; самая печаль об утраченном счастье есть еще часть этого счастья. Счастлив тот, кто еще носит в сердце дорогой образ. О, поверьте мне, вы не знаете самой жестокой формы утраты: необходимости оплакивать дорогое существо, пока оно еще живет". Тому же знакомому он отвечал, благодаря его за предложение финансовой помощи: "Я нуждаюсь только в друге". Да, он снова жаждал привязанности, нежности; у него была потребность чувствовать биение своего сердца в унисон с другими сердцами; чувства нежности и любви снова пробуждались в нем и стремились пустить ростки.

Вокруг него было много людей, готовых с протянутыми руками пойти ему навстречу, оказать ему помощь и услугу: аристократы из высших кругов, женщины большого света, люди такого сорта, с какими он еще мало приходил в соприкосновение. Что побуждало их к этому? Одно только любопытство, скука? Или мода того времени, предписывавшая светским людям привязывать к своему дому всякого рода обязательствами какое-нибудь светило литературного или научного мира, подобно тому, как римляне времен упадка держали при себе ученых рабов? Или на них действовала магическая притягательная сила, исходившая от всего его существа, очарование его богатой, горячей натуры? Или все эти факторы вместе?

Из аристократических знакомств, которые Руссо завязал в Мон-Луи, некоторые сыграли роль в его дальнейшей жизни. Тут была, во-первых, г-жа де-Верделен, опять-таки молодая женщина с возлюбленным, желавшая во что бы то ни стало сделать Жан-Жака своим другом. Она с невыразимым терпением сносила его капризы и дурное настроение и открыто защищала его в те годы, когда почти все были против него. Затем принц де-Конти, независимый, интеллигентный человек, приверженец новой философии, не являвшийся ко двору, и его метресса, графиня Буффлер; оба они оставались ему верными до конца. Далее Ламуаньон де-Малерб, директор королевской печатни и начальник цензурного ведомства; это был честный, любезный и готовый прийти на помощь человек, выполнявший свои тяжелые обязанности к общему удовлетворению писателей, но слишком уступчивый и слишком склонный избегать затруднений.

В это время, вскоре после появления "Новой Элоизы" Руссо завязалась несколько романтическая дружба с женщиной, которой он не знал и которая была одной из самых горячих его поклонниц. В письме,

которое она написала ему за подписью "Клер д'Орб", она выражала ему свою симпатию и восхищение им и приписывала себе в его жизни роль одной из его героинь. Несмотря на его просьбы и настояния, прошло много времени раньше, чем она открыла ему тайну своего имени: ее звали г-жа де-ла-Тур Франквилль. В течение многих лет она неустанно писала Руссо, который ей отвечал часто нетерпеливо или раздраженно, или даже совсем не отвечал, потому что ее постоянные настояния на правильной переписке раздражали его. Но, в конце концов, ее верность все-таки подействовала на него и настроила его мягче; некоторые его записки к "милрой Марианне" дышат искренней сердечностью. Между 1765 и 1772 годами они виделись не больше двух или трех раз. Несмотря на то, что все время, когда Руссо подвергался наиболее сильным нападкам (после ссоры с Юмом), г-жа де-ла-Тур оставалась ему непоколебимо верна и даже опубликовала в его защиту брошюру, он, под влиянием своих все усиливавшихся навязчивых идей, кончил все-таки тем, что причислил и ее к числу своих врагов или во всяком случае "подозрительных" лиц. В 1772 году Руссо окончательно прекратил с нею всякие сношения.

Более важную роль, чем вышеназванные лица, сыграли в жизни Руссо герцог и герцогиня Люксембургские, с которыми он познакомился в то же время.

С тех пор, как автор "Рассуждений" поселился вблизи них, они всегда были чрезвычайно предупредительны по отношению к нему. Проводя лето в Монморансийском замке, они несколько раз посылали к Руссо лакея с приглашением приходить к ним ужинать, когда ему вздумается.

Он отвечал вежливо, но не приходил. Но однажды, на второе лето его пребывания в Мон-Луи, маршал-герцог Люксембургский самолично, в сопровождении своей свиты, явился к нему с визитом. Вежливость требовала, чтобы он отдал визит герцогу и засвидетельствовал свое почтение герцогине,—другого исхода не было. Очень скоро знакомство приняло интимный характер, и по утрам, когда герцогиня еще лежала в постели, Руссо читал ей "Новую Элоизу", от которой она была в восхищении. Герцог и герцогиня Люксембургские были уже в пожилом возрасте, когда Руссо познакомился с ними. Герцог, друг Людовика XV, был большой добряк, бесхитростный, не очень умный, но любезный и простой в обращении человек, один тех людей, каких Руссо любил; он очень скоро сошелся с ним близко, и они оставались друзьями до самой смерти герцога, последовавшей в 1764 году. С герцогиней у него никогда не было таких коротких отношений, хотя она была воплощенная любезность по отношению к нему. Между ними всегда стояла ее репутация и ее прошлое, которое его отпугивало. Она была в свое время одной из знаменитейших красавиц при дворе и одной из развращеннейших женщин и пользовалась дурной славой за свой невыносимо скверный характер и острый, злой язык. Теперь, уже старой женщиной, она продолжала властвовать в кружке, который собрала вокруг себя, как некогда властвовала при дворе. Она сохранила дар

производить именно то впечатление, какое хотела, и Руссо знал ее, как милую старую даму, умеющую вести тонкий и остроумный разговор, почти трогательную в своем опасении причинить ему огорчение и в своей радости по поводу каждого проявления сердечности или благодарности с его стороны.

В одном отношении—и это он чрезвычайно ценил—его новые аристократические друзья не были похожи на прежних: отношения с ними складывались настолько проще, чем с прежними его знакомыми из плутократических кругов; они предоставляли ему больше свободы, не докучали доказательствами своего расположения, не пытались беспрестанно втянуть его в водоворот своей собственной светской жизни. Их безукоризненные манеры давали ему возможность вращаться среди них, как равный среди равных, и чувствовать себя у них свободнее и спокойнее, чем он чувствовал себя когда-либо в высших финансовых кругах. Их утонченная вежливость проявлялась также в мелких знаках внимания по отношению к Терезе. В общем, однако, они держались уговора не обременять его подарками.

В дворцовом парке, на склоне холма, между большим прудом и бассейном оранжереи, находился прелестный павильон, окруженный двойным рядом колонн. Издали казалось, что он, окаймленный цветущими кустами, подымается прямо из воды, точно маленький островок на одном из итальянских озер; кругом разносился запах апельсиновых деревьев, раздавалось пение птиц. Там, в этой прелестной обстановке, его новым друзьям хотелось его поселить хотя бы на время, пока его ветхий домик будет перестраиваться. Перед сердечными настояниями и своим собственным стремлением к этому раю, полному цветов и птиц, он не мог устоять, грез каких-нибудь полтора года после того ужасного декабрьского дня, когда его, больного и несчастного, как собаку, выгнали из "Эрмитажа", он снова поселился под кровлей знатного вельможи. Это было не в последний раз, но, к сожалению, последний раз, что такой эксперимент окончился благополучно.

Когда домик в Мон-Луи был готов, он вернулся на свою прежнюю квартиру, но ключи от павильона, по настоянию своих гостеприимных друзей, сохранил у себя и часто проводил там с Терезой по нескольку дней; он мог приезжать и уезжать, как и когда ему вздумается. Он посещал также иногда герцога и герцогиню в Париже по их настойчивой просьбе, но неохотно ездил туда. В общем эти годы он просил хорошо и спокойно.

Еще задолго до появления своего "Новая Элоиза" вызвала разнообразные толки, и ее выхода в свет ожидали с большим нетерпением. Для некоторых из своих приятельниц, между прочим для герцогини Люксембургской и г-жи Удето, Руссо переписал несколько экземпляров; это было для него приятной работой, потому что Юлия была его любимым детищем; переписывая свое произведение, он снова переживал то дивное чувство счастья, которое наполняло его во время процесса творчества; с чисто-детской радостью он выбирал наилучшую бумагу и цветные чернила и соединял листы светло-голубыми лентами.

Благодаря этим копиям книга, конечно, стала известна многим, и появления ее ждали с некоторым волнением. Наконец, в 1761 году она вышла из печати: она имела поразительный успех, подобного которому, может быть, не было в истории литературы. Светские дамы, собиравшиеся на бал, приказывали отпрягать лошадей и до утра зачитывались ею; в течение первых дней на книгу абонировались, платя по марке за час; книготорговцы не были в состоянии выполнять заказы. Это было нечто иное и большее, чем чисто-литературный успех,— да и мнения писателей о книге разделились, их критическое око сразу усмотрело в ней много слабых сторон и длиннот,—какая-то лихорадка энтузиазма и восхищения охватила людей. Ибо книга эта разбивала гнетущие оковы застывшей, гладкой, пустой, чисто-внешней, чисто-рассудочной жизни умирающего режима. Она открывала глубочайшие тайники сердца, неизведанные глубины личности. "Новая Элоиза" означала освобождение личности, и, прежде всего, личности женщины, от невыносимых пут условности. Тысячи увлекавшихся "Новой Элоизой" женщин из самых разнообразных кругов общества любили, почитали и обоготворяли в Руссо не только симпатичного или блестящего автора, нет, они обоготворяли в нем своего избавителя, освободителя их человеческой личности.

Самому Руссо этот колоссальный успех его книги у женщин не принес счастья; их экзальтированное восхищение автором, как это часто бывает у лиц слабого пола, выродилось в необузданное обожание, предмет которого, если он не святой и если у него в груди не камень вместо сердца, должен окончательно потерять голову от тщеславия.

Тем временем был окончен и "Эмиль", этот другой плод многих горестных ночей, печальных размышлений и глубоких дум. Он любил его также сильно, как и "Новую Элоизу", но другой любовью, менее нежной, более гордой. Он знал, что это самое зрелое и лучшее из его произведений, что в этой книге он более твердо и уверенно, чем в каком-либо из прежних своих сочинений, открывал человечеству новые пути к счастью. И кроме того, это произведение, задуманное с такой любовью, выполненное с такой тщательностью, во всех своих частях дышавшее богатейшим потоком мыслей и чувств, имело для него еще другое, почти священное значение: это было искупление, единственно возможное его покаяние в непростительном легкомыслии его молодых лет, в непонятной бесчувственности сердца, с какой отверг свою собственную плоть и кровь. Уже давно это не сжималось раскаянием, раскаянием в том, что было непоправимо: его глубоко терзало сознание, что он, желая быть для своих современников образцом добродетель-гражданина и честного человека, не выполнил своего чисто человеческого и гражданского долга. Необходимость постоянно подавлять в себе это сознание еще усиливала его внутренний конфликт, причиняла ему сильное чувство беспокойства, досаждала и мучила его... У него были враги..., а темное пятно в его жизни делало его столь уязвимым, она его была известна многим... раньше перед г-жей д'Эпине, Гриммом и Дидро, так и теперь перед герцогиней Люксембургской он исповедался в том, что касалось

его отношений к Терезе и его образа действий в вопросе о детях. Рассказ его возбудил ее сострадание настолько, что она распорядилась произвести розыски в надежде найти хоть кого-нибудь из детей по метке, зашитой в их белье. Когда все старания оказались безуспешными, он ощутил странно-смешанное чувство разочарования и облегчения... последнее чувство преобладало. Как бы он встретил это дитя, которое было ему чуждо и вместе с тем плотью от его плоти? Он знал одно: насколько можно поправить непоправимое, он это сделал; насколько можно было искупить вину, он ее искупил своим "Эмилем", теперь и этот его труд был окончен; он мог вздохнуть свободнее; великий покой в уединении, мирное существование вдали от забот, казалось, были близки. Герцогиня Люксембургская, утверждавшая, что издатели Руссо грабят, просила его предоставить ей заботу об "Эмиле". "Общественный договор"—так назвал он главы, которые он из задуманного им большого сочинения о политических установлениях—должен был выйти у его постоянного издателя Рея в Амстердаме. "Письма к д'Аламберу" и "Новая Элоиза" принесли ему скромную сумму; по выходе последних сочинений в его распоряжении должен был оказаться небольшой капитал от восьми до десяти тысяч франков; на эти деньги он хотел купить для себя и Терезы пожизненную ренту. Рей, разбогатевший на "Новой Элоизе", попросил у него разрешения записать на имя Терезы ежегодную ренту в 300 франков; Руссо с благодарностью принял это предложение; сумма эта отныне должна была идти Терезе на туалет. За эту, сравнительно, мелочь он навсегда сохранил чувство благодарности к издателю, точно так же, как навсегда остался признателен г-же д'Эпине, приславшей ему когда-то свою собственную фланелевую юбку для того, чтобы он делал себе из нее теплый жилет. Он ощущал гнет благодарности только тогда, когда к ней примешивалось невыносимое чувство обязательства и зависимости, и в таких случаях сбрасывал его с себя.

Соглашаясь на то, чтобы герцогиня Люксембургская взяла на себя заботы о выпуске "Эмиля", он предварительно взял с нее обещание, что книга эта, как и прежние его сочинения, будет печататься в Амстердаме. Это было единственной возможностью не иметь неприятностей с цензурой; он хотел также во что бы то ни стало избежать конфликтов с законами страны, в которой он жил. В этом сказывалось его чисто-мещанское уважение к закону, даже если этот закон, как в данном случае, был чистейшим произволом. Он отнюдь не желал быть высланным или в какой бы то ни было форме подвергаться преследованиям за свои убеждения; мученический венец отнюдь его не прельщал. Но вместе с тем он все свои сочинения выпускал под своим именем, чего не делал почти никто из энциклопедистов; действовать иначе значило в его глазах проявлять недостаток мужества. Весь его образ действий в этих вопросах был типичен и чрезвычайно показателен для него, для социально-психологической стороны его натуры: осмотрительный, почти боязливо-осторожный по отношению к государственной власти, но вместе с тем гордый и полный достоинства, на мещанский лад. Такой образ действий был вместе с тем и чрезвычайно благоразумен, он давал ему

возможность писать совершенно свободно, не иметь дела с цензурой и не знать хлопот. Но герцогиня Люксембургская и Малерб решили действовать иначе. Без сомнения, с искренним намерением устроить его дело на этот раз особенно хорошо, они именно направили его жизненную ладью на тот подводный камень, об который она должна была разбиться.

Подписанный им контракт был составлен самим Малербом, как Руссо убедился по почерку; он был поэтому совершенно спокоен. Книга должна была печататься в Голландии, у голландского издателя; но на самом деле рукопись была куплена парижской фирмой. Руссо скоро заметил, что происходят какие-то странные вещи: корректуры как будто набирались одновременно и во Франции, и в Голландии, и не понимал, в чем дело; ведь в книге были места, которые, по его мнению, не могли пройти через цензуру. Он все снова и снова напоминал о том, что книга ни в каком случае не должна выйти тайно, помимо цензуры; он хотел строго оставаться в рамках закона. Потом он вдруг перестал получать корректурные листы; он написал голландскому издателю, но не получил ответа; написал парижскому издателю, ответа и от него не было. В ту зиму он снова хворал и был поэтому особенно беспокоен и раздражителен; он воображал самые ужасные вещи: что иезуиты наложили руку на его сочинение, что они с выпуском книги хотят ждать его смерти (он часто думал, что скоро умрет), чтобы потом изменить текст в своих собственных интересах и т.д. Он принялся писать всем своим друзьям об этом иезуитском заговоре и заклинал двух из наиболее преданных своих поклонников в Женеве спасти его труд и его честь из когтей его преследователей, когда он умрет. Он до такой степени потерял всякое самообладание и как бы помешался на этой мысли, что Малерб сам приехал в Монморанси, чтобы успокоить его. И действительно, через некоторое время он снова стал правильно получать корректурные листы; он пришел в себя и стал раскаиваться, что так растревожил своих друзей своим безумным страхом. Малербу он в виде объяснения написал несколько длинных писем с подробным описанием своего собственного характера, удивительным по тонкости самоанализа; он назвал это объяснение "ключей к своему поведению".

Лишь значительно позже он узнал, что произошло, герцогиня и Малерб надеялись, что цензура пропустит французское издание. Почувствовав, что они ошиблись и что издатель ни в каком случае не получит разрешения на выпуск книги, они решили выпустить ее без цензуры, т.-е. против установленных законом правил; это была большая неосторожность, до некоторой степени объяснявшаяся тем обстоятельством, что "Новая Элоиза", в которой так же, как и в "Эмиле", превозносилась "естественная религия", не была запрещена во Франции. Как бы то ни было, они сделали именно то, чего Руссо убедительно просил их не делать.

Еще до выхода в свет "Эмиля" стали ходить странные слухи. Руссо беспрестанно получал анонимные и неанонимные письма с предостережениями; ратман одного из провинциальных судов предлагал ему убежище. Руссо сам оставался спокойным и бодрым; он слишком

хорошо знал, что в "Эмиле" высказывался за религию и против материалистической философии; к тому же его произведение ведь выходило с ведома и согласия начальника цензурного ведомства, известным образом под покровительством закона; следовательно, к нему придаться нельзя было. Его планы будущего стали принимать более определенные формы; он решил поселиться в Турени. Герцог и герцогиня со своей обычной любезностью предложили ему устроиться в имении, которым они там владели, и предоставили в его распоряжение экипаж для того, чтобы он мог осмотреть свое будущее местожительство. Но случайно Руссо почувствовал себя в условленный день нездоровым, и план этот расстроился. "Эмиль" вышел в свет среди напряженной тишины; литературные друзья и знакомые Руссо держали себя как-то странно; все было не так, как при появлении "Новой Элоизы"; д'Аламбер послал ему письмо с пожеланием успеха, но не подписал этого письма; Дюкло, один из немногих писателей, с которыми он сохранил дружеские связи, совсем ему не написал и ждал личной встречи с ним, чтобы выразить ему свое восхищение. Герцогиня сохраняла свое обычное самообладание, но г-жа де-Буффлер очень нервничала; она спросила Руссо, имеет ли он что-нибудь против того, чтобы его заключили на несколько недель в Бастилию, воспользовавшись "lettre de cachet", что дало бы ему возможность уйти от руки парижского парламента. И она, и принц Конти делали все возможное, чтобы предотвратить надвигающийся удар, но все было тщетно. Со всех сторон убеждали бежать; он не соглашался, он все еще не верил, что ему может грозить опасность, но в ночь на 9-е июня 1762 года к Руссо явился камердинер герцогини с предупреждением, что по определению суда следующее утро в 7 часов должен последовать его арест.

Он бросился в замок. Герцогиня лежала в постели. В первый раз Руссо под внешностью знатной дамы увидел больную, нервную женщину; это тронуло его. Он знал свою собственную неловкость и ненаходчивость; он боялся, что в случае допроса не сумеет скрыть компрометирующих ее сведений. Он видел, что было бы лучше бежать. Герцог и г-жа Буффлер, только что вернувшиеся в большом возбуждении из Парижа, не хотели и слышать о том, чтобы он уехал сейчас же; герцог предложил ему куда укрыться в замке, а г-жа де-Буффлер—отправиться к ее возлюбленному принцу де-Конти. Квартира последнего в Тампле пользовалась правом неприкосновенности. Но Руссо разгадал благородную позу их предложения; он чувствовал их страх быть скомпрометированными в случае, если он останется. Он решил уехать в то же утро и пока искать прибежища у своего старого друга Рогена в Ивердене, в Бернском кантоне.

Все утро он торопливо перебирал свои бумаги; к четырем часам он был готов. Герцогиня и другие дамы, бывшие в то время в замке, обняли его. Тереза рыдала и громко, несдержанно выражала свое горе. Герцог в молчании сопровождал его через парк к задней калитке, где ожидал его экипаж; молча они обнялись, молча Руссо передал бывший в его пользовании ключ от калитки; он никогда не мог забыть резкого

движения, с которым герцог взял этот ключ. Прощание с добрым стариком, которого, он знал, он никогда больше не увидит, было одной из наиболее горьких его жизни.

* * *

Вот он едет по полям и лесам в почтовой карете, последнем подарке герцога. Около самого Монморанси он сталкивается с судебными чиновниками, едущими его арестовать; они, улыбаясь, раскланиваются с ним. В Париже он встречает знакомых, которые его тоже приветствуют; никто, повидимому, не удивляется тому, что он, которого в это самое утро должны были арестовать, решается показываться открыто; ему беспрепятственно дают ехать дальше, таковы нравы того времени. На почтовых лошадях он мчится по Франции, к восточной границе; от времени до времени его вдруг охватывает страх быть пойманным, подвергнутым пытке и сожжению, как Калас; несмотря на это, ему и в голову не приходит ехать под чужим именем. В течение большей части пути он ощущает в голове ту странную пустоту, которая обыкновенно бывает последствием сильного потрясения; он погружается в мечты, он раздумывает об отрывке из библейской истории, который он прочитал вечером накануне своего бегства; он начинает его перерабатывать в идиллию в стиле Геснера.

Парламент, по всей вероятности, постановил преследовать Руссо только для того, чтобы реакционная партия в момент, когда правительство собиралось изгнать иезуитов, не имела повода утверждать, что можно безнаказанно выступать против религии. Но он не имел ничего против того, чтобы Руссо ушел от ареста. По закону его следовало преследовать, потому что идея единства религии была тесно связана со всей системой абсолютизма, и всякий, кто в религиозных вопросах высказывал мнение, несогласное с общепризнанным, будь то янсенист, протестант, атеист или свободомыслящий, считался мятежником. Нет никакого основания смотреть на это преследование, как на особенно позорное действие реакции.

Но что сказать о его высоких покровителях, о герцоге, герцогине, г-же де-Буффлер, о самом Малербе, которые, зная его крайнюю нервность, его приступы страха и навязчивых идей, которыми он уже тогда страдал, дали своему "дорогому другу" уехать и навлекли на него все бедствия и треплющую нервы неуверенность жизни в изгнании—и все это за поступок, в котором он не был повинен, в котором были виноваты они? Его покровители, если бы дело дошло до процесса, рисковали больше его: они рисковали быть безнадежно скомпрометированными, потерять светские должности, свое положение при дворе. Что сказать об их поведении? Только одно можно сказать—и насколько мне известно, ни один из новейших биографов Руссо не высказал этого ясно и определенно,—что это свидетельствует о неимеющей причин подобной трусости, которую, как и большинство человеческих действий, можно объяснить обстоятельствами и известной степени извинить, но о которой умолчать запрещает истина.

Отношения Руссо с сильными мира не принесли ему счастья. Эти

люди ему льстили, ласкали и всячески баловали, и содействовали, следовательно, тому, что он стал тщеславным, несносным и требовательным. Когда же его требования показались им слишком большими, они оттолкнули от себя, стали с ним поступать сурово и жестоко, как нельзя поступать с другом. Он был не более, как игрушкой них в минуты досуга. Затем явились другие люди и проникли в его сердце; их обращение было так тонко и очаровательно, полно такой всепокоряющей вежливости и любезности, что он не мог устоять: он опять подарил свое доверие, снова отдался им, может быть, слишком горячо отдался; он сам признавался в этом, он не умел соблюдать меры в дружбе. Опять его стали ласкать, ухаживать за ним и восхищаться им. Когда же разразился удар, безо всякой его вины, удар, вызванный ими же самими, их хотя и доброжелательными, но неосторожными действиями, они испугались, отступили и оставили его; вместо того, чтобы поддерживать его, как этого требовал их долг, они, так хорошо знавшие его, знавшие, как разбита его душа и как она нуждается в покое, пустили его одного в бурное море, в изгнание. Заступить за него им и в голову не пришло. Бедный Руссо! Право было его чутье художника, заставлявшее его стремиться прежде всего к независимой жизни, прав был его мещанский инстинкт, протестовавший против всяких сношений с людьми, стоявшими выше его на социальной лестнице.

Но жизнь оказалась сильнее его инстинктов и его стремлений. Ведь она так неизмеримо сильнее нашей воли.

III. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕЛИКИХ ГОДОВ

Пять лет, проведенных Руссо в "Эрмитаже" и в Монморанси, годы сильных внутренних переживаний, всепожирающей страсти, горьких разочарований и начинающегося душевного расстройства, были для него в то же время годами наибольшей полноты жизни и внутренней гармонии. До этого времени он еще не познал самого себя, всей глубины собственной природы, еще не был в состоянии выявить обе стороны своего я—любящего человека и апостола—в одном потоке красоты и силы. После этих лет его натура искалечилась под влиянием с одной стороны неудач и с другой—обожания; преследования нарушили его душевное равновесие; зеркало его сознания отражало картину все более развращающегося мира, в центре которого стояло возведенное на пьедестал, увеличенное до невероятных размеров представление о его собственном я.

В течение этих пяти лет, между 1757 и 1762 годами, были созданы четыре произведения—корни двух из них уходят далеко назад, в гораздо более ранний период,—в которых отражаются его мирозерцание и вся его сущность в момент наибольшего расцвета его творческих сил. Это: "Письма к д'Аламберу", "Новая Элоиза", "Общественный договор" и "Эмиль". Его прежние сочинения, особенно оба "Рассуждения", являются лишь пробой пера по отношению к этим произведениям. В них он еще только ищет, нащупывает свою дорогу, в них еще отсутствуют гармония и уверенность в своих силах, свойственные большому художнику. Что

касается произведений, написанных после пребывания в Монморанси, то их мощно подразделить на две группы. К первой относятся "Письма к Монсеньору Бомону", "Письма с горы" и "Система управления Польшей". Это по преимуществу вариации сочинений великих годов; они представляют отступления, повторения, переделку, подтверждения определенных пунктов раньше изложенных взглядов на мир и жизнь, но в них мало новых мыслей. Сомнения второй группы, "Исповедь" и "Грезы", несомненно являются лучшими вещами Руссо с точки зрения чистой стилистики, т. е. если принять за единственный критерий тщательность, живость и восторг, с какими автор описывает свои впечатления, наблюдения, душевные движения и ощущения, а также его способность сообщать и другим переживаемые им чувства. Но если подойти к ним с философско-эстетической меркой, то надо поставить "Исповедь" и "Грезы" позади "Новой Элоизы" и "Эмиля", потому что последние не только отражают внутренний и внешний опыт автора, но в них образы его фантазии являются носителями космического и социального идеала. Я это высшее, чего может достигнуть поэзия.

В четырех произведениях великих годов он изложил главные пункты своего миро- и жизнелюбия: отношение человека к природе (бог, вселенная) и отношения людей между собою (государство, собственность, любовь и брак, восстание, нравственность, классовые отношения). В "Новой Элоизе" и в "Письме к д'Аламберу" изложены, главным фразой, его идеалы любви, брака, семейной жизни и классовых отношений, в "Эмиле" идеалы религии и воспитания, "Общественном договоре" его политический идеал. Но в действительности в каждом из этих произведений речь идет обо всех этих различных проблемах человеческой жизни. Это детища одного духа; они питаются из того же богатого источника чувств, желаний и мыслей; мы можем их рассматривать, как части одного большого труда жизни. Но если они и воодушевлены одним и тем же духом, дух этот не в состоянии был возвести их на одинаковую высоту, на высоту "прекрасной мечты". Руссо не удалось то, что удается очень крупным поэтам-мыслителям: представить свое мирозерцание в ясном закругленном образе. Для этого не хватало его сил. Его фантазия, при всей своей пылкости, при всем своем богатстве, не могла справиться с такой задачей, ей не хватало размаха, поток ее был слишком слаб. Этот поток бурлил сильнее всего под вихрем эротических чувств. Его воображение ярче всего реагировало на половую любовь. И любовь к природе или к вселенной, чувство слияния с космосом иногда возрастало в нем до восторга, из которого рождается вдохновение; социальная любовь, влечение к человечеству, тоже была в нем сильна, но не так сильна, как другие чувства. Вот причина, почему его концепция идеальных любовных отношений между полами ("Новая Элоиза") вылилась в художественное произведение, в образ, между тем как его изображение идеального государства ("Общественный договор") представляет не более, как ряд умозрительных доказательств. Вот тоже причина, почему в "Эмиле", представляющем общую, схваченную в одном образе, теорию

воспитания, его рассуждения и доказательства в частях, трактующих об отношении человека к космосу (бог) и о первом сладостном взаимном влечении юноши и девушки, вылились в прекрасное образное изложение³⁴.

Интенсивность его чувства и способность так изображать его, чтобы вызывать те же ощущения в читателе, возводят Руссо на степень поэта; но, как поэт, он несовершенен, ибо способность воплощать свои идеи в образы развита в нем неравномерно. К наиболее крупным величинам его приближают не только интенсивность чувства и пылкая фантазия, но и способность к общему и абстрактному мышлению. Правда, мышление, по его собственному свидетельству, требовало от него величайшего напряжения; в простые линии логического размышления у него постоянно вплетались пышные изветвления его фантазии; в области фантастических мечтаний он скользил легко и мягко, это была его родная стихия, там он чувствовал себя, как дома; мышление же было для него завоеванной областью, которую только прилежание и труд делали плодородной. Но, может быть, именно благодаря этим напряженным усилиям мышление его сделалось самостоятельным, пробило себе свои собственные пути. Он обладал даром диалектики. Он умел из основной идеи вывести целую сеть дальнейших мыслей, сходных с ней, как дети, по существу и все же отличных от нее, так что читатель, признав правильность исходной мысли, в изумлении и смущении останавливался перед вытекавшими из нее выводами, не умея, однако, уйти от них. Его мышление обладало редким свойством действовать одинаково убедительно, шло ли оно путем критического анализа или синтетического построения. Оно оплодотворялось его чувством оживотворялось пламенем его ненависти и его любви; глубина его дара увлекать за собою других заключалась в чудесном соединении силы логического убеждения с живой страстностью.

Личность Руссо, этого крупного поэта и крупного мыслителя, не умевшего, однако, воплотить свое миро- и жизнелюбие в одном цельном образе, отражается в природе его сочинений, которые трудно причислить к какой-нибудь определенной категории художественных произведений. Они представляют смесь лирики, романа, умозрительных рассуждений или философского трактата. Чем свободнее и неопределеннее была форма, тем ярче проявлялись все силы его существа, чувство, фантазия, мысль, в постоянной смене образов и рассуждений, лирического пафоса и логических умозаключений. Эпистолярная форма романа, примененная им в "Новой Элоизе", не была его собственным измышлением, он заимствовал ее у английского романиста Ричардсона, которым очень восхищались в кругах энциклопедистов. И неудивительно: Ричардсон осуществлял для них их литературный идеал, рисуя верную и полную картину буржуазной жизни.

³⁴ Эти части суть: исповедание веры савоярского викария, где рассуждения являются в рамке дивной картины, и идиллия между Эмилем и Софией, представляющая сплошь живописный образ.

Руссо заимствовал у Ричардсона эту форму романа в письмах, потому что она была особенно удобна для трактования серьезных вопросов в рамках вымысла.

Он стремился к тому же, к чему стремились и английские писатели, а именно: вызывать в читателях моральные чувства; одинаковые цели привели к одинаковой форме. Роман, на который до того времени модные французские писатели смотрели, как на орудие забавы или развлечения – в виде ли описаний низких и пошлых походов, какие давал Лесажа, или в виде пикантно-романтических рассказов в духе Прево или пикантно-чувственных в духе Кребильона – стал в руках крупных буржуазных писателей, Ричардсона и Руссо, средством будить и подымать в нарождавшейся буржуазии чувство собственного достоинства и классовое самосознание. Оба они в рамках вымысла выявляли перед буржуазией содержание ее собственной жизни и ее самосознания, ее общественные взгляды и нравственные идеалы, и таким образом заставляли ее резче осознать контраст между мышлением и чувствованием ее класса и феодально-абсолютистских классов³⁵.

В "Эмиле" Руссо создал свою собственную форму – постоянную смену образного изложения и философских рассуждений; это во всех отношениях самое оригинальное из его произведений.

В "Письме к д'Аламберу", являющемся соединительным звеном между "Новой Элоизой" и "Эмилем", умозрения, критико-сатирические рассуждения о французском театре иногда прерываются идиллически-окрашенным описанием общественной и домашней жизни крестьян и мещан в среде швейцарской демократии. Эти главы проникнуты лирическим восторгом; идеализованные воспоминания по временам вышшаются до прекрасного, проникнутого чувством, картинного изображения общественных отношений идеального человечества.

В "Общественном договоре", напротив, нет ничего лирического или образного. В упомянутой группе это произведение, по своей строгой форме, своему логическому построению и лаконическому стилю, занимает особое место. Руссо намеренно избегает здесь подкреплять чувством или фантазией силу своих логических доводов; железной рукой он отстраняет мягкую нежность, сдерживает страстность. Он подавляет в себе всякий пафос, всякий восторг, всякое движение страсти. Чувствуется пыл, но пламя горит где-то невидимо, не желает увлечь, он хочет убедить. Нам, воспринимающим другими глазами, ушами и сердцем, нежели люди XVIII столетия, его математическое изложение представляется час серо-монотонным; растянутые, заимствованные из

древности примеры нас не трогают. Иногда, однако, какая-нибудь короткая, выразительная фраза, какое-нибудь суждение, формула поражают нас своей меткостью и убедительностью и запечатлеваются в нашем мозгу неизгладимо. Мы ощущаем сдержанную дрожь негодования против рабства зависимых классов, возмущения несправедливостью, жертвой которой являются народные массы. Пламя любви к свободе вспыхивает; огненные языки шипят, змеясь и пробиваясь между каменными глыбами слов. Слава тебе, человек с мужественным сердцем, ненавистник тирании и демократ, представитель идеалов нарождающегося будущего, просветитель воспитатель великих революционеров 1793 года, пионер революции!

Кто-то сказал про Руссо, что у него стиль его темы, что художника означает стиль его чувства, и это верно. Обе стороны его натуры, черномземная сила, суровая основательность и нежная, трогательная мягкость звучат в его творчестве. В его богатом языке отражается богатство его внутренней жизни и дифференцирование оттенков собственных ощущений. Его предшественники, французские классики, располагали пышными жемами и торжественным пафосом, язык их, то есть их чувство, производит на нас впечатление чего-то абстрактного, безличного, он благороден, но бесплоден, ясен, но беден. Они не проникали дальше верхних слоев душевной жизни. Произведения современников Руссо отличаются легкостью, грацией, прозрачностью; но в них во всех, кроме Бюффона, есть что-то сухое, плоское, тощее. И они тоже оставались на поверхности. Руссо избородил ниву языка гораздо глубже, чем кто-либо из них, ибо он глубже избородил ниву сердца. Словам, звучавшим глухо и плоско, пусто и бедно, он придавал полную, богатую звучность; он дал им новое содержание, вдохнул в них новую энергию и жизненное тепло; он пробудил от векового сна полузабытые слова, слова, которых стыдились и которыми пренебрегали, как стыдились и пренебрегали тем, что они выражали: нежностью, энтузиазмом, всеми нежными и сильными движениями души.

С Руссо, как с Бетховена в музыке, в литературе зазвучал новый голос: голос богатой, глубокой, неизведанной, растерзанной в себе и жаждущей внутренней гармонии современной личности; личность эта – продукт общества, изолирующего индивидуума, который в своем гордом одиночестве восстает против общего порядка вещей, или в своей неразделенной печали съедается и уходит в себя, не в силах разрушить проклятие одиночества, которое для буржуазного художника есть великая скорбь его жизни, но вместе с тем и бальзам для гордыни его сердца.

Голос "одиноким личности", гордой в своей покинутости, жаждущей любви, глубоко-расщепленной, скорбной, звучит у Руссо сильнее и интенсивнее всего в произведениях его старости, в "Исповеди" и в "Грезах". Рядом с безыскусственной, увлекающей живостью "Исповеди", рядом с дивной гармонией, чарующей грацией и, обвеянной мягкой меланхолией, тонкой прозрачностью его "Грез" произведения великих годов являются менее совершенными, но более возвышенными

³⁵ Бесконечно растянутые, скучные романы Ричардсона стоят в самом тесном противоречии с тем, что обыкновенно называют сущностью "французского духа": любовью к сжатости, краткости, ясности. Чем иначе объяснить это, доходившее почти до обожания, преклонение такого, по натуре своей, истинного француза, как Дидро, перед Ричардсоном и колоссальный успех его произведений во Франции в 1760 году, как не совпадением стремлений, интересов и потребностей английской и французской буржуазии? Общность классовых интересов, т. е. социальные факторы, оказались сильнее национального характера и традиций.

художественными творениями.

Однако, если они и более неровны и менее гармоничны, если чувство в них порой искажается в пошлую сантиментальность, а также в театральную напыщенность, то, с другой стороны, они являются выражением иной, более широкой жизни, нежели жизнь личности. В них чувствуется мощное дуновение, которого нет в тех перлах стилистики, в "Исповеди" и в "Грезах".

Откуда же эти недостатки и несовершенства в произведениях великих годов, уживающиеся рядом с крупным размахом и высоким напряжением мысли? Где источник этих погрешностей, которых нет в произведениях, отражающих исключительно личную жизнь Руссо? Откуда эти преувеличения в выражении чувства, эта напыщенность у художника, который умел давать чувству такое верное и правдивое выражение?

Но, с другой стороны, откуда и возвышенное настроение этих произведений, этот пыл, проникающий их, это благородное величие? Откуда они?

Ответ должен гласить: как одно, так и другое имело своим очником общество. У Руссо, как и у всех поэтов, был ль его темы, то-есть его чувства, его личности. Но, как всех поэтов, у него был также и стиль нарождающихся общественных сил, классов, интересами и потребностями которых его чувство было проникнуто. В его чувстве отражалось чувство жизни нарождающихся буржуазных классов.

Исторической задачей этих классов было устранение, в сотрудничестве с другими народными классами (рабочими и крестьянами), всех политических, общественных и юридических препятствий, мешавших свободному развитию капиталистического производства и восстановлению гражданского порядка.

Этому порядку отнюдь не надлежало быть героическим; однако, чтобы установить его, потребовалось проявление героических сил, потребовались самообладание, презрение к смерти, терроризм, кровопролитная гражданская война и столкновение целых народностей. Содержание этой великой борьбы, подготавливавшейся во времена Руссо, было буржуазно-ограниченное. Иным оно и не могло быть, потому что ставкой этой борьбы было установление мирового порядка, который должен был положить конец политическому рабству, но только для того, чтобы туже, чем когда бы то ни было раньше, затянуть узы их экономического рабства. Чтобы возвысить свои страсти до уровня исторической трагедии, в которой они исполняли роли героев, и удержать их на этом уровне, чтобы скрыть от самих себя ограниченно-буржуазное содержание гигантской борьбы, которую они вели, чтобы окружить это содержание ореолом не-человеческого, видеть поставленную им действительные задачу в блеске фантастического преувеличения,—для этого революционные борцы должны были вызвать в себе целый мир настроений, представлений, идеальных форм чувствования и мышления. Материал для этого идеального мира они находили, главным образом, в исторических легендах классической древности. В этих

легендах воскресал перед ними дух стоицизма, патриотический и республиканский пафос, презрение к смерти и героизм—чувства, перед которыми они преклонялись и которые воспринимали в себя; из этих легенд они черпали различные формы чувствования, усваивая их для того, чтобы казаться самим себе тем, чем они в действительности не могли быть³⁶.

Что чувства и представления, в которых они жили, выходили за пределы содержания их жизни, их действительной борьбы, что видимость, форма этой борьбы были более героическими, чем ее сущность,—ясно сказывается в писаниях революционного периода: в их напыщенном языке, в их, иногда кажущемся нам ложным, пафосе, в их пошлой любви ко всему театральному, а также в их преувеличенной, слезливой чувствительности, представляющей не что иное, как оборотную сторону форсированно-героического напряжения чувства.

Эту участь революционеров 1789—1792 годов разделяли и Руссо и другие буржуазные поэты, вдохновение которых—так было у Байрона и Шиллера³⁷, так же, как и у Руссо—имело своим источником их любовь к буржуазным идеалам свободы и в произведениях которых восхвалялась и прославлялась борьба буржуазии против абсолютистски-феодального общества. И они иногда впадали в пустой пафос, в высокопарную напыщенность, подчас и в пошлую сантиментальность. Их чувство было искренне, как и у революционеров, они горели неподдельным энтузиазмом, они искренно верили в идеалы, которые они восхваляли, но идеалы эти были внутренне лживы и пусты. Ибо победа буржуазных классов принесла не свободу и равенство, мир и справедливость, как они думали, а причинила больше бедствий, чем мир когда-либо знал; она пробудила в людях не чувства братства, а инстинкты алчности, властолюбия и зависти.

Но,—возразят мне, может быть,—Руссо умер за добрых десять лет до революции; сочинения, в которых воплотились его социальные идеалы, он писал за 25 лет до завоевания Бастилии; он не был революционером в том смысле, что звал к борьбе и восхвалял эту борьбу; он даже едва ли верил в возможность крупного переворота. Все это совершенно верно; и все же Руссо чувствовал, что в обществе нарастают крупные перемены³⁸, больше того: он, почти единственный среди своих современников, чувствовал, что не блестящая, атеистическая, жадная до наслаждений, зараженная развращенностью старого порядка крупная буржуазия может дать толчок к этим переменам, а что только простые, неиспорченные, страдающие массы, здоровое, жизнеспособное ядро нации, мелкая буржуазия, рабочие и крестьяне могут создать новые условия жизни. Он чувствовал, что для того, чтобы осуществить это, им нужны уважение к самим себе, любовь к добродетели, нравственное мужество, идеальный

³⁶ Карл Маркс, 18 брюмера Людовика-Наполеона".

³⁷ Изю всех буржуазных поэтов, прославлявших идеалы свободы, один Шелли совершенно лишен всякого ложного чувства.

³⁸ В "Эмиле" он говорит: "Мы приближаемся к состоянию кризиса и к веку революций".

образ мыслей, горячая любовь к свободе, патриотизм и готовность умереть за свои идеалы. И такие чувства, представления и мысли он старался будить и укреплять в них.

Что в этом особенного? Художник представляет чрезвычайно чувствительный инструмент, на котором играют природа и общество: он чувствует нарастание новых общественных сил, он всеми порами своего существа впитывает их внутреннюю сущность, их формы чувствования и мышления, их нравственные представления. А Руссо был чрезвычайно чуткий художник, может быть, один из наиболее чутких, когда-либо живших. Таким образом он впитал в себя благородные соки буржуазных классов, их революционный идеализм, их дух интимной семейственности, но вместе с тем и их ложные элементы, все, что было фальшивого в их чувстве. И эти элементы тоже отразились в тоне и стиле его произведений: они повинны в театральности, напыщенности, деланности, которые искажают его произведения там, где он рисует нравственные и социальные идеалы буржуазных классов, но не там, где он выражает результаты своего личного опыта.

Ошибочно, следовательно, предполагать, как это делает в числе других и Менье, что Руссо "обладал силой изменить дух французского народа" и что он "навязал революции свои формы чувствования и мышления, свой стиль." Таким чародеем он не был! Наоборот, именно благодаря тому, что он тонкой интуицией художника предугадал, какие идеальные формы мышления и представления требуются, чтобы поднять сердца борцов на высоту их задачи, что он нашел выражение для силы и слабости, для красоты и туманности их чувства, его произведения и могли стать евангелием века революции.

Само собою разумеется, бессмысленно также, как это делает Менье, взваливать на Руссо вину за пошлую напыщенность и высокопарность, в которых повинны деятели революции. Им нужна была эта театральная драпировка, это крайнее преувеличение выражения не по отношению к чувству, а по отношению к лежащей вне чувства действительности; и если бы Руссо не дал им этого, они бы заимствовали это из другого мира идей, хотя бы из ветхого завета, из которого Кромвелль и его последователи полтора столетия тому назад заимствовали свою идеологию.

* * *

Мы рассмотрим теперь, как Руссо решает, в художественном ли изображении или в умозаключениях, общие вопросы человеческой жизни, отношение человека к богу (природа, вселенная) и отношения людей между собою.

Еще со времени пребывания в Les Charmettes Руссо верил в личного бога, в личную силу, которой держится вселенная и которая заложила в человеческую душу сознание добра и зла. Он никогда не терял этой веры, даже и в те годы, когда много вращался среди материалистов; но, повидимому, только к концу его пребывания в Париже эта вера стала в нем живой силой. Впоследствии он заявил, что образ мыслей его друзей-материалистов всегда был ему противен, при всем его уважении к ним,

как к личностям. Материализм восемнадцатого века был боевой философией крупной буржуазии, оружием, которым она пользовалась, чтобы освободиться от духовного авторитета церкви. К такому освобождению стремился и Руссо, но другими средствами, а именно, согласно с протестантским принципом, что каждый человек носит в душе своей пастыря и стоит лицом к лицу с богом. Их материализм и его деизм сходились в том отношении, что и тот, и другой были выражением растущего гражданского сознания, отражая, однако, разные его стороны. В материализме энциклопедистов и их приверженцев отражалось существо той части буржуазии, сознание которой было исполнено чувства все усиливающейся власти человека над природой и возрастающего порабощения природных сил средствами науки и техники. В этой материализме сказывалась гордость и самосознание людей собиравшихся установить свое социальное господство при помощи науки и техники. Но эта часть буржуазии была, как мы видели, заражена нравственным разложением умирающего режима. С ее материалистической философией было связано материалистическое нравственное учение, отрицавшее в человеке социальные наклонности и рас сматривавшее эгоизм, как главную сущность человека.

В деизме Руссо, в его вере в абстрактного, схематического, в одиноком величии возвышающегося над миром бога отражалось отношение буржуазного человека не к природе, а к его собственному буржуазному обществу, отражалось его чувство к нему. В этом обществе, обществе товарного производства, продукты человеческого труда приобретали все больше власти над людьми; отношения людей между собою приняли форму абстрактных отношений между вещами³⁹.

Товарное производство порвало узы, связывавшие часть с целым, человека с обществом. Оно противопоставило людей друг другу, как самостоятельных производителей и как отдельных индивидуумов. Все увеличивающаяся отвлеченность в отношениях людей друг к другу и возрастающее обособление человека отразились в божественной идее протестантизма и в философии XVII века. Протестантизм, в сравнении с конкретно-чувственными представлениями народного средневекового католицизма, был религией одинокого абстрактного бога. Деизм, игравший большую роль в английской философии XVIII столетия, получивший у Руссо поэтическое выражение и популяризированный им, был не что иное, как крайний вывод, упрощение и синтез протестантизма, теологическое выражение успеха товарного производства со времени реформации.

Но с того времени не только товарное производство в общем, но и специально капиталистическое производство сделало большие успехи. Наука и техника развились, человек стал сильнее по отношению к природе, научился в большей мере управлять ее силами; но эти успехи

³⁹ Сравнить: Карл Маркс, "Капитал", ч. I, гл. I, IV, "Фетишистский характер товара и его тайна", и, как популярное изложение: Г. Гортер "Исторический материализм".

были достигнуты, главным образом, за счет рабочих классов. Необеспеченность жизни возросла, нужда усилилась; всюду в Европе крестьяне или изгонялись массами из своих дворов, или попадали в тяжелую зависимость под соединенным давлением феодализма и абсолютизма. Все растущий разгул в экономической области, безграничная алчность хозяев, идущая в нравственной области параллельно с капиталистическим товарным производством, делали участь бедных классов все более тяжелой.

В современном капиталистическом обществе тот или другой слой буржуазных классов хотя и может, под давлением определенных интересов (противодействия авторитету церкви и т.п.), объявить себя временно противником всякой религии, но широкие массы должны все снова и снова возвращаться к той или иной форме религии, потому что она есть необходимый элемент буржуазного порядка. В умственной области отвлеченная идея божества есть отражение существующих общественных условий, в области моральной религия, по чрезвычайно правильному выражению Руссо, нужна, как "узды для богатых и утешение для бедных". Он чувствовал, что вера в бога, в свободу и бессмертие есть в буржуазном обществе необходимая основа для нравственного, то-есть социального образа действий. Как материализм восемнадцатого столетия привел к этической теории, что эгоизм есть первоначальный инстинкт в человеке, так деизм опирался на бога для поддержания социальных чувств в людях и обуздания их эгоизма. Деизм не допускал возможности чисто-человеческой, естественной основы для нравственных действий, сверхъестественная казалась ему единственно возможной; вот причина, почему Руссо исключал атеистов из своего идеального государства,—не за их убеждения, а потому, что люди с такими убеждениями неизбежно должны были поступать несоциально: у них не было средств обуздывать свои эгоистические наклонности, не было надежды на награду за подавление своих желаний.

Таким образом механический материализм и деизм представляют два полюса, две противоположных крайности буржуазного мышления, которые обе коренятся в обществе капиталистического товарного производства. Было бы поэтому ошибкой считать Руссо за его деизм "реакционером" по сравнению с философами-материалистами. Главная суть борьбы выдвигавшихся классов против разлагавшихся заключалась не в философско-религиозных убеждениях, а в протесте против авторитета церкви. И в этом пункте Руссо со своим индивидуалистическим тезисом: "Каждый человек стоит лицом к лицу с богом" был не менее революционен, нежели материалисты со своим тезисом: "бога не существует".

В религиозном чувстве Руссо соединялись два противоположных течения, или две противоположных склонности, придававшие этому чувству особый характер. Во-первых, его экзальтированный, выросший с течением годов до чудовищных размеров индивидуализм, заставлявший его рассматривать свое "я", как нечто единственное в своем роде. Специфически-современное ощущение индивидуума, что он одинок и

представляет мир в себе, приняло у него, под влиянием болезненного преувеличения, маниакальные формы. Его идея божества представляла перенесение этого неограниченного "я" в бесконечность, самовозвеличение человека, синтез всех его сил, всей совокупности чувств его природы, вознесение и крайнее расширение личности⁴⁰. Отсюда происходит то, что он часто кажется стоящим на границе пантеизма, но никогда не доходит до отождествления бога с природой. Он крепко держался веры в личную силу, управляющую материей, в законодателя, диктующего свою волю человеческому сердцу.

Этот экзальтированный идеализм Руссо, это возведение на пьедестал своего "я" могло, однако, проявляться только в идеальном мире мечты. В реальном мире он чувствовал себя стесненным со всех сторон, бедным, угнетенным, бессильным, как те народные массы, настроения и стремления которых он выражал, хотя и сильно окрашивая их своей индивидуальностью. Знатные господа, богатые финансисты не нуждались в боге, они могли обойтись без него, ибо они были могущественны и собирались взять в свои руки диктатуру над обществом; они диктовали свою волю королям, они жили по ту сторону добра и зла; они могли свободно расправлять крылья, властвовать, наслаждаться. В совершенно ином положении находились Руссо и все мещане, крестьяне, городские рабочие. Эти люди жили, сдавленные между силами, значительно их превосходившими! Игрушка в руках судьбы, они влачили свое существование, угнетенные, бессильные против несправедливости. Я время, когда они будут в состоянии подняться и сбросить с себя ярмо, еще не наступило. Совершенно так же и, Руссо чувствовал себя подавленным долго испытываемой несправедливостью. Как часто ему приходилось переживать это чувство со времени того первого тяжелого испытания в Боссе! Он всегда стремился к добру, а между тем сколько горя, страданий, несправедливой оценки пало на его долю! Он нигде не встречал признания, был лишен возможности свободного развития, и надежду на все, в чем ему было отказано в этой жизни, он перенес на потустороннюю жизнь; справедливость, которой он не нашел на земле, вознаградит его за все в иной жизни. "Друг мой,—писал он своему знакомому в Женеву,—я верю в бога, а бог не был бы справедлив, если бы душа моя не была бессмертна". "Если бы у меня не было другого доказательства имматериальности души, кроме торжества зла и угнетения праведных в этом мире,—говорит савоярский священник,—то этого одного было бы достаточно, чтобы устранить мои сомнения... Я бы сказал себе:

⁴⁰ И в этом отношении философия Руссо представляла один полюс, философия материалистов—другой. Последние напирала на пассивность человека, его зависимость от окружающей его природной и социальной обстановки, и доводили свое учение до самых крайних выводов, до веры в исключительно механический характер мышления и действия. Руссо, напротив, напирал на личную активность человека, на его способность вмешиваться в ход мировой жизни, влиять на нее. Ясно, что этот идеализм был на практике силой, столь же побуждающей к революционному действию, как и механический материализм.

не все для нас кончается с жизнью; смерть восстановит равновесие во всем."

Это чувство, эта потребность в моральной поддержке и в утешении за все зло жизни есть основа его веры в бога, которую он изложил в последних письмах "Новой Элоизы" и в исповедании веры "Савоярского викария". Эта вера покоится на внутреннем чувстве и на совести.

Человек есть двойственное существо, в нем живут два принципа: один делает его рабом его чувств, другой—свободным существом. В глубине души таится врожденный принцип справедливости и добродетели, который служит нам критерием для оценки добрых и злых дел, этот принцип—совесть. Этот принцип заложен в душе человека богом, он для души то же, что инстинкт для тела; это "божественный инстинкт, имматериальный голос свыше, верный руководитель ограниченных, но свободных и одаренных разумом существ, непогрешимый судья над добром и злом, делающий человека подобным богу"...

"Ни одно материальное существо, кроме меня самого, не одарено собственной активностью. Это можно оспаривать, но я чувствую, что это так, и это чувство сильнее оспаривающего его разума. У меня тело, которое подвергается воздействию других тел и, в свою очередь, воздействует на них, но моя воля независима от моих внешних чувств; я могу поддаться или устоять, я побеждаю или оказываюсь побежденным, и я очень хорошо чувствую, когда я поступаю так, как должен поступить, и когда поддаюсь своим страстям".

Теология Руссо, если отбросить от нее все поэтические приатки и всю преувеличенность чувств, в высшей степени проста, почти бедна. Внутреннее чувство и совесть суть те крылья, на которых душа возносится к богу, свободе и бессмертию. Все остальное—догмы, откровение, Христос как посредник, смертный грех и искупление—все исчезло, ничего не осталось, кроме этого самого общего, сверхъестественной санкции моральных, т.-е. общественных обязанностей.

Что такое, в сущности, эта вера, как не учение Канта, лишенное всех философских хитросплетений и всего философского глубокомыслия? Подобно Канту, Руссо отвергает знание, чтобы дать место вере; подобно Канту, он оставляет в стороне разум, основывая веру на внутреннем чувстве и совести. Подобно Канту, он приписывает сверхъестественное происхождение голосу, повелевающему нам следовать долгу даже вопреки склонности. Как и Кант, Руссо убежден, что человек не в состоянии познать сущность вещей.

"Непроницаемые тайны,—говорит савоярский священник,— окружают нас со всех сторон. Они вне области воспринимаемого чувствами; мы думаем, что обладаем достаточным разумением, чтобы проникнуть в них, но мы обладаем только силой воображения... Мы—ничтожная часть большого, безграничного целого, которое творец его предоставляет нашему неразумному суждению, мы достаточно тщеславны, чтобы желать решить, что это целое представляет в себе и что мы по отношению к нему".

Не согласуется ли это вполне с учением Канта, что все, что существует во времени и пространстве, суть лишь явления и что действительности, вещи в себе, мы не в состоянии постигнуть?

Но если вера в абстрактного и схематического бога исходит у Руссо и Канта из одного социального корня, то, вследствие большого контраста между их личностями, из нее получились совершенно разные вещи.

Их деизм—это последний побег начавшегося с реформацией процесса развития, отражение в духовной области происшедшего с конца средних веков переворота в экономических и социальных отношениях; он представляет последнюю форму проявления религии перед ее закатом. Но Кант, человек абстрактного мышления, человек с математическим умом, строгая, корректная, лишенная фантазии натура, делает содержанием сухой схемы—бог—свобода—бессмертие—идею долга, противодействия чувственным наклонностям и соблазнам себялюбия. Таким образом его учение приобретает большое социально-этическое значение для нарождающейся буржуазии: долг—это отказ от личных выгод и личной пользы это противодействие соблазнам обмана и хитрости, когда совесть подымает свой голос; это отодвигание на задний план личных интересов перед интересами общими, классовыми. Философия Канта стала прежде всего руководящей жизненной нитью не страдающей, не борющейся, а трудящейся буржуазии.

Руссо же, напротив, согласно своей чувственно-мягкой, поэтической натуре, напирает не столько на строгие требования совести, сколько, главным образом, на величие бога, этого вознесенного на небеса "я", и на утешение, которое справедливость его обеспечивает угнетенным и страждущим. Ему удалось вдохнуть теплую живительную струю в веру в абстрактный Дух-Монстр, придать мягкость и поэтический блеск сухой схеме религии без догм, без откровения истины, без обрядов, религии, лишенной определенных форм. Его учение получило прежде всего политическое и литературное значение: политическое—в сантиментальной вере Робеспьера и якобинцев в "Etre supreme", "Высшее существо", абстрактную идею, совмещавшую в себе все другие абстрактные идеи мира, свободы, справедливости и пр., за которыми скрывались весьма реальные и материальные классовые интересы; литературное—в туманном, неопределенном, поэтически-раскрашенном деизме и спиритуализме Шатобриана, Виктора Гюго, Ламартина, Альфреда Мюссе, Жорж Занд и др. Весь их спиритуализм по прямой линии идет от исповедания веры "Савоярского викария".

Когда консервативный профессор Сен-Марк де-Жирарден добрых шестьдесят лет тому назад в серии лекций о Руссо разбирал, между прочим, и "исповедание веры савоярского викария", он с торжеством указал на обращение Руссо к вере в бога и к смирению, как на начало христианской реакции против систематического неверия, и закончил свое рассуждение следующими словами: "Милостивые государи, надо сделать выбор между священником и полицейским, и мы ставим Руссо в заслугу то, что он выбрал первого".

Профессор ошибался: дело обстоит несколько иначе, нежели он

думал. То, что сделал Руссо и что делают все, исповедующие веру в бога и в бессмертие, потому что считают ее необходимой для поддержания буржуазного общества, означает просто подкрепление авторитета земного полицейского авторитетом небесного

В некоторых небольших сочинениях своих (между прочим, во втором "Рассуждении", в предисловии к "Нарциссу", в статье для энциклопедии о политической экономии и в статье о "Системе управления Польшей") Руссо разбирал вопрос о влиянии политических установлений на человеческое общество.

Кроме обычной страстной критики существующего порядка, в этих сочинениях встречается много интересных проектов политических реформ, носящих отпечаток мещанской утопии. В связном и систематическом виде Руссо рассматривает общий вопрос об основах общества в "Общественном договоре". С виду это сочинение отличается от всех прочих его сочинений не только способами аргументации, воздержанием от всяких лирических сердечных излияний, всякой образности языка, избеганием его обычных ораторских приемов, но и той точкой зрения, на которую он становится по отношению к общественной жизни. И прежде всего было отмечено глубокое противоречие между его вторым "Рассуждением" и "Общественным договором". Ибо в этом "Рассуждении" он восхваляет естественное состояние, как единственное, гарантирующее истинное счастье, проклинает культуру и общественную жизнь, испортившие и искалечившие человека и являющиеся поэтому источником всякого зла, всех пороков, всех человеческих бедствий. В "Общественном договоре" он, напротив, с большой теплотой выдвигает те преимущества, которые дала человеку совместная жизнь и гражданское общество. "Если человек и в этом состоянии,— говорит он там, лишен некоторых преимуществ, которые предоставляло ему естественное состояние, зато он приобретает другие преимущества, столь значительные, его способности упражняются и развиваются в такой степени, его идеи расширяются настолько..., что, не будь злоупотреблений его нового положения, низводящих его часто до уровня того состояния, из которого он поднялся, он должен был бы непрестанно славить тот счастливый миг, из глупого, ограниченного животного сделавший его интеллигентным существом, человеком". Но это противоречие только кажущееся; оно отпадает, как только мы вспомним, какую цель Руссо преследовал в своем втором "Рассуждении" и что имел в виду в "Общественном договоре". В обоих сочинениях он нападает на абсолютистско-феодальное государство своего времени. В упомянутом "Рассуждении" он с этой целью социальному бедствию и моральному вырождению своего времени противопоставляет так называемое естественное государство и восхваляет его; в "Общественном договоре" он исследует вопрос о происхождении государства вообще, чтобы при помощи этого исследования доказать незаконность абсолютизма.

В восемнадцатом столетии революционные мыслители, идеологи буржуазных классов, ополчались на абсолютистское государство с двух точек зрения. Историческое исследование, представителем которого был

Монтескье, рассматривало развитие систем управления и сравнивало существующие системы, чтобы из этого сравнения вывести превосходство "смешанной" (т.-е. английской, полу-буржуазной) системы управления перед абсолютистской. Юридическое, предпринятое Руссо, исследование брало исходным пунктом существование не подлежащего отмене, неотчуждаемого человеческого права, права свободного распоряжения собственной личностью, и из существования этого права выводило противозаконность господствующих политических установлений. Первая точка зрения требовала изучения конкретной действительности и приводила на практике к умеренным предложениям; она довольствовалась попыткой установить компромисс между абсолютистско-феодальными и буржуазными классами, как это произошло в Англии. Монтескье писал, как реалист и реформатор. Абстрактно-юридическая точка зрения Руссо вела к революционному требованию народного владычества. Величайшая наступательная сила буржуазных классов против феодально-абсолютистских заключалась в то время в чисто-идеологических и идеалистических формах мышления, между тем как в наше время величайшая наступательная, направленная против буржуазии, сила пролетариата выражается в исторических и материалистических формах мышления. Тогда вера в извечные права человека была революционной, как в настоящее время революционной является вера во влияние условий производства на содержание сознания.

Там, где Руссо в своем "Договоре" покидает неограниченные области абстракции и вступает в область конкретной действительности, где ему приходится иметь дело с относительностью вещей, там умолкает смелый революционный мыслитель и слышится голос робкого, осторожного мещанина.

Человек—таков ход мысли в "Общественном договоре"—рожден свободным, свобода—это общее, неотчуждаемое человеческое право. "Право сильного"—лишь лживое выражение. Необходимость может заставить повиноваться силе, но с правом это ничего общего не имеет. Основой общественного договора поэтому не может быть ни завоевание, ни расширение отцовской власти, ни согласие всех повиноваться одному. Ни отдельный человек, ни народ не могут отчуждать своей свободы, а тем менее свободы последующих поколений; политическое и социальное рабство противны и разуму, и человеческому праву. Первоначальной основой государства было, по всей вероятности, соглашение между членами его, при чем каждый член жертвовал частью своей независимости, получая взамен от власти целого защиту своей личности и своей собственности. Путем такого соглашения все соединяют свои силы под высшим управлением одной общей воли. Рождается моральная и коллективная личность, носительница общественной власти, которую Руссо называет "владыкой"; члены ее, как граждане, участвуют во власти, как подданные, они подчиняются закону.

Но можно ли еще считать свободными членов политического общества после того, как они сами связали себя таким образом общественным договором? Да, отвечает Руссо. Хотя каждый отдельный

человек может иметь свою особую волю, противоречащую общей воле, которую он представляет, как гражданин, хотя его личный интерес может притти в конфликт с общим интересом; но общественным договором Он защищен от всякой личной зависимости и свободен делать все, что согласуется с разумом и справедливостью. В этом заключается его свобода. Если он не хочет повиноваться общей воле, получившей выражение в законах, то его надо заставить повиноваться, то-есть заставить быть свободным. Выявленной в законе народной воле надо подчиняться, как естественной необходимости. Закон не может противоречить общим интересам, ибо в таком случае народ действовал бы против собственного блага, а это невозможно. Народ непогрешим, народная воля не может ошибаться, она всегда направлена на общее благо. Правда, народ может быть введен в заблуждение, обманут; в таком случае он как будто стремится к злу, но правильное положение вещей восстанавливается само собою.

"Владыка" нуждается в органе для выполнения общей воли и применения в особых случаях закона. Таким органом является правительство, которое Руссо называет правителем или магистратом. Члены правительства, следовательно, являются не господами, а служителями, уполномоченными народа. Народ назначает их, наделяет их определенными правами и всегда волен изменить или взять назад эти права, ибо отчуждение народной воли несовместимо с природой общественного организма и прямо противоречит цели социального договора.

Форма правления может быть монархической, аристократической или демократической. Чем более оно сконцентрировано, т.-е. чем меньше число людей, в руках которых оно находится, тем оно будет сильнее. Монархия есть самое сильное правительство, ибо в монархии все нити собраны в одних руках. Но ее цель не благо народа, а благо короля, постоянно стремящегося к усилению своего могущества. Не следует судить по управлению доброго и мудрого короля, а надо смотреть, как злой или неспособный правитель выполняет свою задачу—служить общему благу.

Теоретически демократия, управление через многих, является наилучшей формой правления. Но, чтобы осуществить ее, требуется совокупность целого ряда условий, как-то: небольшие размеры страны, простота нравов, равенство имуществ и т.д. "Если бы существовала нация богов, она управлялась бы демократически; для нации же людей такая совершенная форма правления непригодна". На практике, следовательно, аристократия, самая древняя форма правления, является в то же время и наиболее желательной, поскольку, однако, она не опирается на наследственную аристократию. Ибо эта последняя представляет самую плохую форму правления, как выборная аристократия—самую лучшую. Она служит наибольшей гарантией способности, добросовестности, опытности, бескорыстия и т.д. правителей. Ибо, покуда народная воля не будет введена в заблуждение, она всегда будет выбирать наиболее достойных граждан для выполнения функций управления.

Нет формы правления, которая была бы наиболее желательной сама по себе. Преимущество той или другой формы зависит от природы государства, от его размеров, его богатства, его населения, от развития производительных сил и т. д.

В общем, единоличное управление является наиболее подходящим для больших стран, аристократическое—для средних и демократическое—для малых. Верным признаком хорошего управления служит правильное приращение населения, дурного—уменьшение его⁴¹. Каждое правительство склонно расширять свою власть за счет владыки, т.-е. народной воли. Поэтому народ должен стоять настороже и охранять "свое право, принуждая к повиновению или устраняя правительство, не удовлетворяющее своему назначению—служить народному благу. Народ представляет законодательную власть, которая есть сердце государства; он должен регулярно собираться на общие собрания, чтобы выполнять функции, вытекающие из сущности общественного договора. В этих собраниях прежде всего всегда должны ставиться на голосование следующие два вопроса: во-первых, угодно ли владыке сохранить существующую форму правления; во-вторых, угодно ли ему оставить управление в руках тех, на кого оно в настоящее время возложено.

Как только народ передает свои функции в руки представителей, он погиб; это означает конец свободы; власть народа неделима и неотчуждаема. Руссо ссылается на институты древнего Рима в доказательство того, что и в странах с большим населением народу незачем передавать свои права представителям, он может обсуждать и решать все вопросы в общих собраниях.

Из этого видно, что "Общественный договор" в форме абстрактно-юридической аргументации представляет в действительности открытый поход демократии против абсолютизма. Определение сущности владыки и закона, которое это сочинение дает, различие, которое оно устанавливает между владыкой и правительством, взгляд, что правители являются уполномоченными народа,—все это были в дни Руссо революционные принципы, смелые новшества, всплывавшие пока еще лишь на периферии буржуазного классового сознания. В этом заключается причина, почему "Договор" лишь постепенно проникал в общество и содержание его было воспринято, понято и встречено с ликованием лишь новым поколением. Для этого поколения произведение это стало революционным источником; из которого борцы 1789—1793 годов черпали большинство своих чувств, представлений и воззрений.

Всем известна роль, которую сыграл "Общественный договор", как евангелие буржуазной революции. Менее известен преобладающий мелко-буржуазный характер политических идей, которые Руссо изложил в "Общественном договоре". Идеальное государство, носившееся перед его умственным взором, когда он писал это сочинение, не было произвольной абстракцией, это был образ швейцарской демократии

⁴¹ Надо припомнить, как значительно было в то время, когда Руссо жил, уменьшение населения в сельских местностях Франции.

мещан и крестьян, идеализированный воспоминанием и нежным благоговением патриота, жившего вдали от родины. Форма правления и установления, которые, по мнению Руссо, вернее всего приводят людей к счастью и добродетели, это форма правления и установления тех небольших общин, состоявших из провинциального города с прилегающими к нему землями. Здесь разделение труда еще было слабо развито. Большинство городов еще владели землями и, по крайней мере в определенные периоды года, принимали участие в работах по сельскому хозяйству, служившему, наряду с ремеслом, важнейшим источником существования; промышленность и торговля находились в слабом и отсталом состоянии, классовые противоречия были незначительны.

Мещанской точкой зрения Руссо объясняется также тенденция в "Общественном договоре" к государственному деспотизму (в противоположность либеральному учению). Правда, он нигде не высказывался определенно о границах верховной власти, не устанавливал точно, какие личные права и свободы, касающиеся права собственности, родительской власти и пр., индивидуумы, по его мнению, должны были выговаривать себе при заключении общественного договора. Но из многих мест в различных его сочинениях явствует, что он своему идеальному государству предоставлял значительное право вмешательства в жизнь своих членов. В своей статье о политической экономии, например, он говорит, что государство должно руководить воспитанием; в "Общественном договоре" он признает обязанностью государства при помощи законов не допускать роскоши и тенденции к росту неравенства имуществ; в "Письме к д'Аламберу" он высказывается против всяких косвенных налогов и защищает обложение дохода и предметов роскоши. Несомненно, его желания и мысли двигались по линии значительного ограничения личной свободы государством⁴², какое якобинцы, истые детища его духа, провели на практике. Руссо был антилиберален; лозунг "Laissez faire et laissez aller" отнюдь не был его лозунгом, он не разделял взгляда, что государство должно ограничиваться ролью ночного сторожа, как можно меньше вмешиваясь в жизнь граждан. Такой взгляд появился лишь после победы буржуазии; в нем сказывался страх промышленных капиталистов перед всякой охраной аграрных интересов и, главным образом, перед жизненной силой пролетариата, сказывалось нежелание допускать даже самое незначительное ограничение эксплуатации. Будучи индивидуалистом по чувствам и образу мыслей, Руссо, однако, ничего не имел против широкого вмешательства государства.

Против эксплуатации масс промышленной буржуазией он восставал так же, как и против грабительства феодальных землевладельцев и королевского фиска. И этот ремесленник-мещанин, каковым он себя чувствовал, считал само собою разумеемшимся вмешательство властей в

⁴² Менье оспаривает такое толкование в своей упомянутой выше статье, представляющей попытку изобразить Руссо либеральным буржуа.

образ его жизни и деятельности, в его способ работать, его манеру устраивать свою квартиру и одеваться, и совершенно не видел в этом стеснительного принуждения.

Его мещанская точка зрения сказывается очень сильно и в его пристрастии к маленьким государствам. Расширение земельной площади, слишком густое население государства, скопление его в столице, все это в его глазах является главной причиной исчезновения первоначальной свободы. Маленькие государства, с населением приблизительно в 10.000 душ, не богатые и не бедные, в которых никто не нуждается и которые в свою очередь ни в ком не нуждаются, по его мнению, единственные, способные иметь хорошие законы. И во взаимной зависимости государств в торговом отношении он видит опасность для их свободы. Только самодовлеющие государства, сами производящие все, необходимое для их жизненных потребностей, могут рассчитывать на сохранение своей национальной свободы, как и только самостоятельно производящему индивидууму обеспечена его личная свобода⁴³.

Тот факт, что Руссо строго полагал крайнее осуществление свободы в выполнении законодательных функций самим народом, без Посредничества представителей, опять-таки доказывает, что он свою идею абстрактного государства конструировал не из головы, а заимствовал ее из идеализованной воображением действительности Женевской республики. Ибо в Женеве все еще существовал институт общего собрания всех граждан, хотя и сведенный на деле к полному бессилию; небольшие размеры города и незначительный процент населения, обладающего полнотой гражданских прав, делали излишней систему представительства.

Руссо хорошо понимал, что осуществление его политических идеалов требует, как экономической предпосылки, приблизительного равенства имуществ и отсутствия развитых классовых противоречий. Нигде логические выводы его мещанского сознания не выступают острее, чем в его отношении к собственности. На основании единственного суждения высказанного в одном из наиболее пылких и страстных его произведений, ему иногда приписывали социалистические тенденции, которые в действительности были ему совершенно чужды. Несомненно, из этого суждения можно вывести заключение о враждебном отношении к частной собственности, но только в том случае, если рассматривать его самостоятельно, вне связи с целым и независимо от общих, ясно выраженных взглядов и чувств автора. Хотя Руссо от глубины души ненавидел накопление богатств в одних руках, но социалистическая доктрина, что созданное обществом богатство должно и принадлежать обществу, была совершенно вне его умственного горизонта. Он, напротив, смотрел на частную собственность, как на основу всякого

⁴³ Суждение это гласит: "От скольких преступлений, войн и убийств, от скольких бедствий и жестокостей избавил бы человечество тот, кто, вырвав из земли колья или засыпав рвы (границу первой частной земельной собственности), воскликнул бы, обращаясь к людям: "Не верьте обманщику, вы погибли, если забудете, что плоды земли принадлежат всем, самая же земля никому".

общественного порядка. В своей статье о политической экономии он говорит о праве собственности, как о "священнейшем из всех гражданских прав, в известном отношении более важном, чем свобода". В "Рассуждении" о происхождении неравенства, в котором и встречается его якобы "социалистический" выпад против права частной собственности на землю, он в другом месте указывает, как это право собственности положило начало первым правилам справедливости. Его выпад не что иное, как вздох о потерянном рае первобытного коммунизма, предшествовавшего, по его мнению, появлению всех общественных установлений.

Но если он и восхваляет собственность, то это относится только к мелко-буржуазной и мелко-крестьянской собственности, приобретенной личным трудом; всякую же собственность, основанную на эксплуатации, он отвергает, как в высшей степени безнравственную и противоречащую справедливости. "Вступление во владение землей,—говорится в "Общественном договоре"—на основе личного труда и обработки земли есть единственное право собственности, которое, при отсутствии юридически-обоснованных правовых требований со стороны других, должно быть признано". Эту мелкобуржуазную, опирающуюся на личный труд, собственность Руссо считает основой свободы и равенства; поэтому задачей законодательства должно быть—все снова и снова восстанавливать находящееся под постоянной угрозой равенство и ограничивать неравенство состояний таким образом, чтобы никто не был достаточно богат, чтобы покупать других, и никто не был бы вынужден бедностью продавать себя.

Единственная форма собственности, которую он допускает рядом с мелко-буржуазной, это крупное патриархальное землевладение, эксплуатируемое для собственных потребностей.

* * *

Сильные элементарные душевные движения, страсти и ощущения, составляющие аромат и очарование жизни, восемнадцатое столетие объявило устаревшими, недостойными утонченного вкуса просвещенного поколения и изгнало их из обихода. Оно низвело любовь на степень чувственно-церебрального наслаждения, игры, часто забавной и иногда жестокой, но всегда лишенной элемента ожидания и восхищения, лишенной нежности, иллюзий, восторга и мечты. "Мужчины стремятся к обладанию, женщины—к победам, в этом вся игра, все честолюбие этой новой, капризной любви; она непостоянна, изменчива, легкомысленна, ненасытна; в "Comedie de mœurs" она олицетворяется в образе шумливого, дерзкого, торжествующего Купидона, обращающегося к Амуру древности следующим образом: "Твои влюбленные были простофили, умевшие только томиться, вздыхать и изливать свои страдания окружавшему их Эхо. Я уничтожил Эхо. Да, говорю я, я люблю тебя; дай то, что ты хочешь мне дать, ибо время дорого, надо торопиться. Мои подданные не говорят: "я умираю"; нет ничего более живучего, чем они. Томление, тоска, сладкие муки — обо всем этом нет больше речи; это все пошлая, безвкусная пища прошлого. Я не усыпляю

своих подданных, напротив: я их оживляю; они так стремительны, что им нет времени для нежности; во взорах их страстное желание; они не вздыхают, а хватают то, чего хотят; они не говорят: "подари мне свою любовь", а берут ее сами, и так оно и должно быть"⁴⁴.

"Любовь, глубокая, настоящая, пылкая, страстная любовь между мужчиной и женщиной представляется современникам столь же смешной, как любовь между мужем и женой. Верность—это нелепая, старомодная привычка. Порхающий мотылек становится символом высшего искусства жизни. Отдельные прочные связи свет обозначает насмешливым именем "почтенных уз". Не дышит ли это выражение чем-то добродетельным и затхлым, чем-то, напоминающим старую провинциальную тетку? Мы видим, как тонкие губы кавалера складываются в насмешливую улыбку, когда он указывает своей даме на парочку, повинную в столь старомодной пошлости.

Уважение к женщине? У кого еще его можно встретить? Галантность, вежливость, да, они существуют, но уважение? Стало аксиомой следующее положение: "Если вы трижды скажете женщине, что она прекрасна, то она в первый раз поблагодарит, во второй поверит, а в третий вознаградит вас". Любовь сводится к шутке и легкомысленному порханию, всякие узы, конца которых нельзя заранее определить, кажутся слишком тяжелыми этим людьми с легкими сердцами. Ради бога, только не примешивайте в чашу наслаждения ни серьезности, ни зависти, ни печали, ни ответственности!

Женщина применяется к новым нравам; она подавляет свои глубочайшие инстинкты, она стыдится своей стыдливости. Она научается смеяться над непорочностью и целомудрием, над добродетелью и верностью; она подавляет в себе жажду другой любви, полной нежности и обожания, ибо это смешно, а больше всего она боится казаться смешной. Но ей никогда не удастся убить в себе это внутреннее стремление. "Вы,—говорит г-жа дю-Деффан герцогине Шуазель,—лишены чувства; и все-таки вы страдаете, потому что не можете обойтись без него"⁴⁵.

Женщине приходится, однако, приспособляться, потому что мужчины, которые еще "понимают в чувстве" и еще сохранили "провинциальные предрассудки", редки. В виде суррогата утраченного целомудрия она усваивает "известную элегантность в цинизме, легкую грацию в своем падении

Мода-философия дает теоретическое обоснование нравам времени: материализм превозносит исключительно чувственное наслаждение, как единственную форму любви, согласную с природой человека; Бюффон выставляет, как научную аксиому: "единственно хорошее в любви—это ее физическая сторона".

Среди этого похотливого, пошлого мира с его грациозными

⁴⁴ "La reunion des amours" Мариво, цитиров. братьями Э. и Ж. Гонкур в "La femme au XVIII-eme siecle".

⁴⁵ "La femme au XVIII-eme siecle". Стр. 173.

формами, скрывавшими столько пустоты, холода и часто жестокости, появилась "Новая Элоиза". Книга казалась продуктом жизненного опыта другой планеты, голосом из каких-то других, пространств. Он, Руссо, не боялся показаться смешным. Он не пытался в ней угодить вкусу времени и дать описание легких, двусмысленных, сальных или романтических приключений, разукрашенных пышным стилем. Он не пытался дать цельное, гармонически сконструированное произведение, легко охватываемое глазом в своем гармоническом отношении частей к целому. Чего он только не нагромоздил в этой книге под влиянием ярко вспыхнувшей в нем потребности затронуть все жизненные отношения, исследовать все жизненные проблемы! Философия, литературная и театральная критика, нравственность, политика и политическая экономия, сельское и домашнее хозяйство, педагогика и религия,—все было здесь затронуто. Но во всех его умозаключениях и суждениях слышался мощный, трепещущий, то нежно шепчущий, то страстно зовущий голос любви. В центре этого изумительно богатого, сложного, скучного, перегруженного и при всем том неотразимо обаятельного произведения стояло то, чего мир больше не знал и в существование чего больше не верил: любящая пара, влюбленный мужчинами любимая женщина. Они сливались в страстном влечении, погружались друг в друга, в их внутренний мир, в их прошлое и будущее, и черпали один из другого всю силу и слабость, все счастье и всю горечь. Любовь подымалась в их сердцах, как роковая, элементарная сила, создающая свои собственные законы и мощной рукой разрывающая сеть светских условностей и светской морали. Социальные перегородки, разделяющие людей, не существовали для нее; она порвала в девушке оковы ее девичьей робости, заглушила голос детской любви и покорности. Для любящих не существует ничего больше, кроме любви; вкусив волшебного напитка, они больше не могут противостоять.

Да, в них идет внутренняя борьба: колебание предшествует наслаждению любви, раскаяние следует за ним. Юлия мучается тем, что обманула кроткую мать и старого отца; Сен-Прё чувствует себя повинным к тревоге и страху, которые испытывает его возлюбленная. Но если они и раскаиваются, жалеть о случившемся они не могут. Глубоко под чувством раскаяния в том, что они действовали скрытно, обманом, в их живет сильная, ликующая радость, что они уступили святому влечению природы. Ибо любовь священна; она будит священные силы в душе и теле; она питает пламя мощного, рождающегося из нее стремления: любви к добродетели. Было ли это слабостью, что они не устояли перед требованиями любви? В глазах людей—да; но не перед лицом природы. Эта слабость не унижает их, она не делает их недостойными самого глубокого и горячего сочувствия. Они дали друг другу то, что принадлежит каждому человеку: себя самих; они распорядились собственной личностью.

Что общего между этой любовью и тем, что в то время называлось любовью, поверхностной, мимолетной, чувственной склонностью? Ничего, кроме имени. В любящих страсть облагораживается и очищается

сердечной нежностью, симпатией мыслей, полетом фантазии, сильным стремлением к идеалам доброты и чистоты, к которым она возносит их.

"Не знаю, ошибаюсь ли я,—пишет Юлия своему возлюбленному,—но мне кажется, что истинная любовь является самыми целомудренными из всех уз. Ее священный огонь очищает наши естественные влечения, концентрируя их на одном объекте; она удаляет от нас искушение и делает то, что, кроме этого единственного лица, один пол больше не существует для другого... Для любящей женщины мужчины больше нет; ее возлюбленный больше этого, все остальные меньше; она и он — единственные в своем роде. В них нет желания, в них есть любовь. Сердце не подчиняется чувственности, "оно направляет ее; оно накидывает очаровательный покров на все заблуждения чувственности. Истинная любовь всегда полна стыдливости; она не пытается завоевать благосклонность смелостью, а покоряет ее робостью. Тайна, молчание, робкая стыдливость прикрывают сладостное упоение; огонь любви облагораживает и очищает все проявления нежности, целомудрие и чистота сопровождают любовь и в чувственном наслаждении; любовь одна умеет все давать страсти, не оскорбляя скромности".

Сравните это возвеличение чувственного элемента в любви с бесстыдным сладострастием Мариво!

Откровенность, с какой Юлия и ее возлюбленный говорят между собою о своем сексуальном чувстве, вызвала на падки со стороны узкосердечной критики. Эта критика подтрунивает над суждением XVIII столетия, видящим в Юлии и Сен-Прё идеальных любовников, исполненных тонкой и чистой нежности; она находит грубой и неприличной их откровенную чувственность, точно так же, как видит грубость в том, что Руссо рассказывает нам, что для Софьи, по ее темпераменту, было чрезвычайно тягостно ожидание мужчины, или что она бессознательно и невольно, то ласками, то сдержанностью, раздражала чувственность своего жениха.

В этом различии мнений сказывается разница точек зрения на сексуальную мораль среди общества XVIII столетия и современно - буржуазного общества⁴⁶. Первая восхваляла естественную скромность, обволакивающую сексуальные стремления девушки и женщины; последняя считает более приличным боязливо умалчивать или отрицать эти стремления.

В Руссо не было ни следа цинизма или развратности: его в высокой степени мещанская натура чувствовала себя слишком свободной и независимой от разлагающихся классов, чтобы подвергнуться заразе их морального вырождения. Но в нем не было и лицемерия и ложного стыда, свойственных пуританскому мещанству. Тонкий покров естественной робости, окружавший девушку, составлял в его глазах одну из величайших ее прелестей; но он чувствовал также, что в девушке дремлют чувственные наклонности, которые пробуждаются глазами, и голосом, и нежными жестами любимого человека. Для него целомудрие

⁴⁶ Здесь имеется в виду, конечно, точка зрения господствующих классов.

и скромность заключались не в отрицании или подавлении склонностей, естественных и уже потому хороших, а в соединении чувственного пыла с глубокой нежностью, теплой симпатией и чистой фантазией.

Любовь священна; она облагораживает сердце, в котором живет, она очищает душу, которой касается; она связана с добродетелью, с каждым благородным побуждением души; каждое способное чувствовать сердце следует ее велениям; под ее влиянием все лучшее в нашем "я" пускает ростки, развивается и дает плоды.

Но если любовь и священна, то не одна она священна. И общественный закон священен, как священен закон природы.

Любовь имеет право опрокидывать сословные перегородки и разрушать все правила приличия, но она должна преклониться перед священным институтом, на котором покоится здание буржуазного общества: перед институтом брака. Право любви не абсолютное; оно ограничивается другим правом, перед которым должно отступить: общество побеждает природу, нравственный долг—сердечное влечение. Эту основную мысль Руссо образно выразил в последних частях "Новой Элоизы". Таким образом в этой книге, больше чем в каком-либо другом из его произведений, примиряются обе стороны его существа безудержное следование своим импульсам и инстинктам—и воля их победить и жить согласно высоким нравственным принципам.

С той минуты, как Юлия выходит замуж за Вольмара—человека много старше ее, хладнокровного, бесстрастного, действиями которого всегда управляет рассудок, человека, которого она не любит, но за которого выходит по приказанию отца,—с этой минуты совершается чудо: с ней происходит внезапное внутреннее превращение. Ее истерзанная душа успокаивается; она чувствует, что между нею и ее страстью выросла преграда, которой она никогда не переступит. С этого времени она может спокойно думать о любимом человеке; она любит его, не меньше, чем прежде, но новый жизненный принцип окружил, словно панцырем, ее слабое сердце; этот принцип, в котором она находит твердую опору, есть сознание святости брака. Она с благодарностью в сердце чувствует себя в новой атмосфере безопасности и неприкосновенности, она горячо молит бога поддержать ее в ее новой задаче. "Я хочу,—обращается она к Богу,—любить супруга, которого ты мне дал. Я хочу быть верной, ибо верность первый долг, связывающий семью и общество. Я хочу всего того, что исходит из установленных тобою природных законов и из сущности разума, дарованною мне тобою".

У Юлии нет любви к мужу, как и у него нет к ней чувственной страсти. В их браке не было ни очарования чувственности, ни пыла просветляющей фантазии, и именно это делает его счастливым. "Ошибочно думать,—пишет Юлия любимому человеку,—что для счастливого брака необходима любовь. Для этого достаточно добродетели, честности, известной согласованности не столько в возрасте и положении, сколько в характере и темпераменте; результатом всего этого может быть очень нежная привязанность, не менее сладостная, чем сама любовь, но более прочная и спокойная. Вступают в

брак не для того, чтобы всегда и исключительно заниматься друг другом, а для того, чтобы вместе выполнять обязанности гражданской жизни, с осторожностью и осмотрительностью вести свое хозяйство и воспитывать детей в добродетели и честности. Все это Юлия делает. Счастье ее жизни заключается в добросовестном выполнении семейного долга по отношению к мужу, к детям, к слугам и к рабочим в ее поместье.

В этом большом патриархальном деревенском хозяйстве, продуктами которого покрываются важнейшие жизненные потребности всех членов этой большой семьи (ибо слуги здесь еще в самом деле принадлежат к семье), круг деятельности женщины обширен и благодарен. Она не только выполняет идеальное призвание супруги и матери, но и фактически стоит во главе обширного комплекса производств и многочисленной армии слуг.

Юлия выполняет эту двойную задачу изумительным образом. Она является средоточием семейного круга, силой, сохраняющей порядок, всех связующей, сглаживающей все шероховатости, регулирующее темп жизни, добрым гением дома, распространяющим вокруг себя мир, довольство и веселье. Ее верность не колеблется ни на одну минуту, даже тогда, когда ее муж, желая убедиться, может ли он решиться осуществить свое заветное желание: сделать Сен-Прё домашним учителем своих детей, таким почти жестоким образом ставит ей тяжелое испытание. В сознании святости брака и материнства Юлия находит силу противостоять старым, не потерявшим силы чарам любви. Когда смерть избавляет ее от борьбы между долгом и любовью, она считает себя счастливой. Ибо борьба эта, говорит она в своей последней исповеди, оказалась бы, в конце концов, непосильной для нее.

Так Руссо примиряет в "Новой Элоизе" право личности на любовь со святостью буржуазного брака; он выставляет Юлию героиней целомудрия, хотя она девушкой имела возлюбленного, и героиней любви, хотя она замужней женщиной противостояла искушению страсти. В глазах французского общества XVIII столетия такое представление означало моральную революцию, "переоценку всех ценностей". Молодые девушки оставались за монастырскими стенами до тех пор, пока родители не находили им "подходящего мужа; со вступлением в брак начиналась для них пора свободы. На брак уже не смотрели, как на святое таинство или почтенный общественный институт, а как на заключенный двумя сторонами договор, имеющий целью производить законных наследников, на которых переходит титул и состояние. Что брак накладывает обязательства верности, взаимной поддержки и привязанности, это считалось крайне смешным и весьма обременительным; насколько удобнее был новый взгляд на брак, предоставлявший каждой стороне полную свободу!

"Говорят о нравственности доброго старого времени,—пишет один из писателей того времени.—Прежде весь дом приходил в смятение, если жена нарушала верность; ее запирали под замок, ее колотили. Когда муж пользовался выговоренной себе свободой, его несчастная и верная жена была принуждена выносить нанесенное ей оскорбление и в тиши своего

домашнего уединения, как в мрачной темнице, изливать свои страдания в жалобах. Если она поступала по примеру своего капризного мужа, ей грозили величайшие опасности... Поистине, я не понимаю, как люди в те варварские времена находили в себе мужество вступать в брак. Узы брака были цепями. В настоящее время в семьях царят терпимость, свобода и мир. Если супруги любят друг друга—тем лучше: они живут вместе и счастливы. Если любовь их остывает, они, как честные люди, признаются в этом и возвращают друг другу обет верности. Они уже не любящие, они друзья. Это я называю мягкими и социальными нравами⁴⁷.

О действительной совместной жизни мужа с женой в высших классах не было и речи. Муж занимал место при дворе—тогда он жил в Версале и часто отправлялся с поручениями в провинцию,—или же он был офицером, тогда он жил где-нибудь в лагерях или в случае войны отправлялся в поход. Жена имела своих поклонников, своего возлюбленного, своих приятельниц, свой салон и свои развлечения; для нее жизнь ограничивалась стенами Парижа и пределами окрестных поместий и увеселительных замков. Последовать за мужем в полуупустошенную деревню, в глухую атмосферу провинции означало для этих светских избалованных женщин быть заживо погребенными, умирать от скуки, тут был предел супружеской верности. Чрезвычайно обычной вещью была оговорка в брачном контракте, предоставлявшая жене право не следовать за мужем, если он селился в своем имении в провинции. Поставив свою идеальную семью в условия деревенского существования, далекого от жизни больших городов, изобразив Юлию и Вольмара благодетелями, образцами и советчиками деревенского населения, "участь которого они старались смягчать, не давая им, однако, возможности переменить свое социальное положение на другое", Руссо действовал совершенно в разрез с нравами господствующих классов своего времени.

Свой идеал брака Руссо создал не из пустого пространства, не из произвольной мечты: и этот идеал представлял не что иное, как идеализованную действительность, идеализованную картину брака в буржуазном классе. Молодые девушки этого класса не воспитывались в монастырях; они "пользовались относительной свободой: они могли показываться на улице без провожатых; во время прогулок, в церкви и в обществе они встречались с молодыми людьми своего же класса и в скромных и невинных формах пользовались молодостью. Их не продавали честолюбивые или полуразоренные родители, и если они и не пользовались полной свободой при выборе мужа, то, во всяком случае, имели право голоса. Но для них брак, совсем не так, как для дамочек аристократок, был могилой свободы. Приходилось сказать прости развлечениям и веселию! Начиналась жизнь, полная забот и тягот, жизнь, полная однообразной работы, ответственности и несвободы, кончавшаяся лишь со смертью.

Эту бедную, серую действительность мещанской жизни Руссо обвееял

очарованием поэзии. Он изобразил чистую домашнюю жизнь женщины буржуазной среды в привлекательном свете и придал добродетели более нежный и прекрасный блеск, чем блеск, которым окружен порок. Но, чтобы представить деятельность женщины в сфере домашней жизни в свете богатой и привлекательной жизненной задачи, чтобы придать новому идеалу—рисующему женщину вечерним огоньком в кругу семьи—привлекательность и силу пропаганды, для этого ему надо было по возможности расширить границы семейного круга, вознести свою героиню над узкой сферой мещанских отношений, чтобы сделать ее госпожей в широких условиях патриархального крупного производства. Ни в каких других условиях женщина не могла найти такой широкой арены для проявления своих физических и умственных сил, такой возможности стать добрым ангелом для многих, благословением для окружающих.

Нас, детей XX века, уже не удовлетворяет решение, при помощи которого Руссо хотел примирить права любви со святостью брака. Мы слишком долго проходили школу индивидуализма, слишком глубоко верим в право личности, слишком убеждены в праве каждого нарождающегося поколения создавать свои собственные нравственные нормы, жить своей собственной жизнью, для того, чтобы мы могли удовлетвориться подобным компромиссом. Почему, спрашиваем мы, Юлия не отдала на всю жизнь свою руку и свою верность человеку, которого она любила, подарив ему свою девственность? Должна ли была она считать себя связанной по отношению к другому только потому, что отец обещал ее этому другому? Имеет ли право отец располагать таким образом личностью своей дочери? А если это так, то где же тогда право личности? Правильно ли, только в угоду отцовским предрассудкам, нарушать верность человеку, который остается верным и продолжает любить? Требуется ли этого добродетель? Не вправе ли и не обязано ли молодое поколение разрывать моральные узы, которыми предыдущее поколение хочет навсегда сковать жизнь, как только оно ощутит эти узы, как предрассудок? Может ли развитие жизни осуществляться другим образом?

Так говорим мы, ныне живущие. И мы отвергаем дуализм любви и брака, которым Руссо удовлетворялся, которого он не умел победить. Мы верим в другой идеал отношений между полами. Мы не желаем сначала удовлетворения любви страстью, а потом брака, основанного на хладнокровном обсуждении, благоразумии, сознании долга и рассудительности. Нет, мы хотим соединить в одно любовь и долг, хотим для одной и той же личности пыла и нежности, восторга и любовного упоения, переходящих постепенно в просветленную, более разумную привязанность, в глубокую интимность и спокойное уважение. Это, и только это, мы считаем идеалом.

Так говорим мы, и этого хотим мы, переросшие "решение" "Новой Элоизы". И таким нашим стремлением мы обязаны, наряду с другими влияниями и силами, ставшими частью нашего "я", также силе и влиянию Руссо.

⁴⁷ "Contes moraux de Mairmontel", цитир. в "La femme au XVIII siecle", стр.239.

* * *

В "Новой Элоизе" женщина выступает, как спутница мужа, его верная помощница, готовая на все жертвы мать и разумная воспитательница, добрый гений семейного круга. В "Эмиле" мы узнаем, как она сама должна быть воспитана для того, чтобы стать всем этим.

Руссо был анти-феминист. Воззрение, что основой свободы личности женщины должно быть социально-экономическое освобождение ее, было вне его умственного горизонта. Он не представлял себе освобождение иначе, как через любовь. Он не видел для женщины сферы деятельности вне семьи. "Такую сферу деятельности создали лишь революция в области техники и вытеснение женщины, как производительной силы, из семьи, вызванное развитием крупной промышленности. Форма общества, отвечавшая идеалу Руссо: полу-мещанская и мелко-крестьянская и полу-патриархальная, оставляла места для деятельности женщины в общине; ее круг деятельности лежал в тесных пределах семьи, там было поле, которое она должна была возделывать, чтобы подготовить прекрасную жатву любви, гармонии и довольства. Во времена Руссо женщины господствующих классов совершенно отстранились от исполнения домашних обязанностей, чтобы, поскольку они не отдавались всецело развлечениям и легкомысленным наслаждениям, принять участие в умственной жизни своего времени.

Они посещали университетские лекции, занимались живописью, писали романы, мемуары и трагедии и интересовались наукой и политикой. Среди них было много одаренных, все были претенциозны, тщеславны и честолюбивы; они искали развлечения, т.-е. средства наполнить пустоту души, или суетной славы. Такие женщины стояли пред умственным взором Руссо, когда он высказывал суждение, что "ученая женщина есть бич для своего мужа". Остроумный синий чулок и блещущая красноречием салонная дама была ему глубоко ненавистны, представлялись ему чем-то в роде чудовища.

Воспитание женщины, думал Руссо, должно быть направлено на то, чтобы сохранить естественную робость и застенчивость, которые утратили эти эмансипированные женщины. Девушке незачем много учиться, на ее возлюбленном и муже лежит задача будить ее дремлющие способности и вводить ее—поскольку это подобает для женщины—в сферу умственной жизни. Но одно ей должно быть внушено с ранней юности: умение повиноваться, покоряться, терпеть, не оказывать сопротивления. "Женщина рождена для того, чтобы уступать мужу и сносить его несправедливость". И так как она никогда не может вполне принадлежать себе, никогда не может быть независима, то воспитание должно научить ее выносить принуждение безропотно и без внутреннего протеста.

Но покорность женщины Руссо не представлял себе, как рабское подчинение. Хотя муж должен господствовать над женой, но жена может направлять мужа, если обладает гибкостью и тактом и умеет использовать свою слабость, как орудие. "Ее приказания—ласки, ее угрозы—слезы". В тесно ограниченном кругу семейной жизни для женщины, взамен свободы и господства, которыми она пожертвовала,

открывается другая область, где она с улыбкой превосходства будет сохранять свое достоинство и с спокойной уверенностью распространять влияние, тем более надежное, чем менее она будет стремиться к власти.

Постоянное общение мужчин и женщин, ставшее обычаем в салонах, Руссо осуждал из нравственных соображений. Естественная скромность женщины, охранявшая ее честность, утрачивалась в таком общении. Чтобы сохранить это величайшее сокровище и самую ценную силу своего пола, женщине подобает вести замкнутую, полную мирных забот жизнь. Руссо восхвалял* обычай старого мира изолировать женщин в отдельной части дома и отдалять их от общественной жизни и общения с чужими мужчинами. Обычай, постоянно приводящий в соприкосновение оба пола в повседневной жизни, он называет выдумкой варваров и приводит английский народ, как образец того, как оба пола, живя каждый своей жизнью, углубляют и развивают свойственные им особенности. В этом заключаются добрые нравы, а не в легкомысленном взаимном подражании, вошедшем в обычай среди тщеславных глупцов и салонных дамочек господствующих классов Франции, где для мужчин вошло в моду заниматься рукоделиями, а для женщин диллетантствовать в геометрии и анатомии.

Таков был взгляд Руссо на взаимные отношения полов и назначение женщины. И в его взгляде, конечно, заключалась доля истины, выходящей далеко за пределы временных условий. Мы хотя и не можем предсказать, будет ли существовать на земле, покуда существует род человеческий, идеал, который женщина ищет в мужчине, т.-е. мужество и идеал, который мужчина ищет в женщине, т.-е. материнская кротость. Но мы знаем, что не можем себе представить общества, в котором женщина не будет искать и любить в мужчине мужество, а мужчина в женщине кротость.

Но часть истины, которую Руссо считал вечной и неизменной, была ограничена пределами его времени, была плодом его мещанского сознания, которое не переживет нашего времени. Он считал кротость и слабость женщины нераздельно связанными, считал их глубочайшими свойствами ее натуры, и в этом он ошибался. Он не понимал, что слабость, прибегающая для достижения своей цели к слезам и мольбам, принижает женщину, как личность, и порождает в ней рабские пороки: хитрость и неправдивость. И он не знал (и не мог знать), что материнская кротость останется, слабость же, с ее принижющим действием на характер, исчезнет, когда экономическая зависимость женщины от мужчины будет устранена тем, что для нее откроется новое поле деятельности на службе обществу.

Со времени Рабле во Франции много писалось о воспитании, особенно в XVIII столетии. Вдумчивые умы и добрые патриоты с опасением замечали, что "нет более людей", и размышляли над лучшими способами их воспитать. Руссо поучался у многих из своих предшественников, конечно, у Рабле, у Фенелона, Роллена и Флери, но больше всего у англичанина Локка. Порода крепких, бодрых, сильных, прямых английских сквайров, которую Локк стремился вырастить своей

системой воспитания, была сродни Жан-Жаковскому идеалу человека. Но только его идеал был более поэтический, более философский и широкий, менее национально-ограниченный.

Руссо, как и Локк, своими предложениями выступал против обычной системы воспитания мальчиков и девочек аристократических классов. Целью этой системы было воспитание мужчин и женщин большого света, способных блистать в салонах, этих главных фокусах жизни общественных паразитов того времени бездельников с утонченными вкусами, галантных господчиков, умевших нравиться дамам своими хорошо подвешенными языками и вылощенными манерами, блестящих дамочек, владевших искусством пленять этих франтиков и забавляться вместе с ними. Господчиков и дамочек давало это воспитание, но не мужчин и женщин, не людей.

Чтобы подготовить детей для их роли в обществе, надо было рано начинать их муштровку и дрессировку. Непосредственность, естественная живость, резвость, необузданная веселость встречали осуждение; прыгать и бегать детям воспрещалось; чем скорее и лучше бедные создания приучались обезьянничать со взрослых, тем более успешными считались результаты воспитания Настоящей семейной жизни не существовало больше в высших классах, дети едва знали своих родителей; с самого рождения их поручали заботам чужих людей: сначала кормилицы, потом домашних учителей и гувернанток. Иногда детей, раздетых, искусно причесанных, напудренных, раздушенных, мальчиков с привязанной с боку крохотной шпагой, девочек с неизбежным веером в руке, приводили на несколько минут к матери, во время ее утреннего туалета, но и тогда они были рады как можно скорее удалиться, потому что им все-таки было не по себе в будуаре светской дамы.

Такова была действительность, в которой Руссо насаждал систему "естественного воспитания". Не все, что он говорил, было ново и неожиданно, но новой и неожиданной была манера, с какой он высказывал свои мысли, полная страстной убедительности, ясной зрелости, какой не было ни в одной из его предыдущих книг. Ребенок, говорил он, не человек в миниатюре; это самобытное существо, которое надо изучать внимательно и любовно, чтобы дать ему то, что ему нужно: дай ребенку, что надлежит ребенку; дай ему,—и это первое, что ему нужно,—дай ему мать, которая его вскормит, окружит его любовью и уходом, дай ему отца, который будет его воспитывать и направлять. Любовь отца и матери, забота отца и матери—вот что более всего необходимо ребенку, дай их ему. Не втискивай его подвижного тела в тесную и неудобную одежду, не сковывай его непосредственной живости искусственными формами вежливости, не приучай его повторять слова и фразы, которых он не понимает. Все, что выходит из рук природы, хорошо, но все это портится и калечится человеком. Предоставь природе формировать юное существо, обороняй его только от вредных влияний. Не изнеживай ребенка, не охраняй его боязливо от ветра и непогоды, но закаляй его воздухом и водой, развивай в нем силу сопротивления и

научи его переносить жару и холод, голод и жажду. Пусть он с семи до двенадцати лет резвится, и прыгает, и играет вволю, как молодое животное: пусть он наслаждается всей полнотою счастья, для которого он созрел; не думай постоянно о его будущем, кто знает, достигнет ли он взрослого возраста? Не мучь его изучением латыни, не вдалбливай ему абстрактных формул, не забивай ему головы мертвым балластом цифр и фактов, пусть телесный опыт будет его учителем. Сделай тело гибким и сильным, развивай его внешние чувства, играя, без принуждения,—таким путем ты сделаешь его ум способным впоследствии воспринять многое. "Чтобы научиться мыслить, мы должны упражнять наши члены, наши внешние чувства, все наши органы, ибо они суть орудия нашего интеллекта, и чтобы наилучше использовать его, надо, чтобы тело, в котором он развивается, было сильно и здорово."

Руссо—как поступают и должны поступать все революционные мыслители, все, наполняющие сосуд жизни новым содержанием,—развил свой взгляд на воспитание до самых крайних его выводов. Только таким путем он мог ясно и резко осветить контраст между своей системой воспитания и старыми обычаями и воззрениями. Критика называла это одним из его "преувеличений". Она не понимала, что при провозглашении нового учения преувеличение необходимо для того, чтобы одним толчком направить на новые пути заржавевшие в старых формах мышления человеческие умы. Обычному изнеживанию ребенка он, чтобы произвести впечатление, должен был противопоставить свою, почти спартанскую, систему закаливания, обычному, механическому упражнению памяти—свою систему исключительного развития ала и внешних чувств. Эти и подобные "преувеличения", "то-есть, его смелые приемы, его решительность и отвага, уделали Руссо пионером в области воспитания.

Человека, говорит Руссо в начале "Эмиля", можно воспитывать или для него самого или для других, воспитать его человеком или гражданином. Под человеком он понимает здесь самостоятельного индивидуума, под гражданином—товарища, члена общества. Гражданин можно получить только путем общественного воспитания, как это делалось в республиках древности⁴⁸; но такое воспитание немыслимо при абсолютизме, оно возможно только в свободных государствах. Общественное воспитание в наше время дает не граждан, а только буржуа.

Из этого видно, что Руссо отнюдь не полагал, что индивидуалистический характер и индивидуалистическая цель его собственной теории воспитания наиболее желательны сами по себе, он просто считал их лучшими в данных общественных условиях. Социальные инстинкты и дух общности были в нем развиты чрезвычайно сильно, это были, может быть, наиболее ярко выраженные черты его первоначальной сущности; его индивидуалистические наклонности

⁴⁸ План общественного воспитания, имеющего целью развивать в гражданах дух общности, Руссо изложил в своей статье о системе управления Польшей.

развились уже под влиянием общественных условий. Высший идеал воспитания он видел в подготовке ребенка к правам и обязанностям гражданина в демократическом государстве, в воспитании товарищей, сознающих себя не отдельными личностями а частями политически-социального целого, и всегда готовых пожертвовать собой для целого. Рядом с этим идеалом индивидуалистическое воспитание казалось Руссо лишь скудным суррогатом. Но там, где не существует такого демократического общества, как, напр., во Франции, там, по его мнению, воспитанию не оставалось ничего больше, как выращивать или "буржуа"— под ними он подразумевал общественных паразитов, людей, живущих чужим трудом — или внеобщественных индивидуумов, то-есть людей, стоящих вне нравов, образа жизни и предрассудков господствующих классов. Как в "Общественном договоре" он берет исходной точкой абстрактное государство, так и в "Эмиле" он исходит из абстрактного человека, чтобы в этой абстракции воплотить свои революционные идеалы в противовес классовому человеку и классовому воспитанию. Эмиля надо воспитать личностью, чувствующей себя всюду на месте, независимо от своего времени и окружающей обстановки, и умеющей стойко и непоколебимо переносить все превратности жизни. В активном смысле он должен быть в состоянии сам зарабатывать средства к существованию всюду, куда его ни забросит судьба; в этом именно заключается его независимость от людей. В пассивном смысле он должен быть способен переносить всякое бедствие, которое ему будет причинено руками ли людей или рукой природы; в этом заключается его независимость от обстоятельств.

В изучении ремесла Руссо видел верное средство для каждого человека поставить свое существование на независимое основание. У человека, знающего ремесло, пусть он и не принадлежит к тем крупным пройдохам, делающим дела и обогащающимся таким путем, во всяком случае есть уверенность, что он и в своем низком социальном положении всегда сумеет заработать средства к существованию, оставаясь честным. "Войди в первую попавшуюся мастерскую, специальность которой ты изучил: — Хозяин, я ищу работы. — Садись, товарищ, и работай. — Раньше, чем настанет час обеда, ты заработаешь свой обед; если ты будешь прилежен и умерен, то не пройдет и недели, как у тебя будет достаточно, чтобы прожить следующую неделю. Ты проживешь это время в свободе, здоровьи, правде, труде и честности".

Ясно: Руссо хотя и воображает, что делает своего воспитанника подготовленным к жизни "во всех странах земли, куда его ни забросит судьба", но в действительности он готовит его для общества с мелким производством и мелкобуржуазными отношениями мастеров и подмастерьев; притом для такого общества, в котором социальная сила подмастерья настолько велика, что он может заставить мастера дать ему за один рабочий день плату, на которую он может прожить два дня; для общества, в котором нет безработицы, нет экономических кризисов, нет крупной промышленности, общества, клонившегося уже к закату в то время, когда Руссо писал.

Как на побудительную причину к введению в план воспитания изучения ремесла, Руссо указывает на крупные общественные перемены, приближение которых все чувствовали. Как знать, не придется ли подростящему поколению пережить переворот в существующих условиях, который лишит землевладельцев их привилегий, богачей их доходов? что тогда станет с тем, кто не умеет работать? Человек, изучивший в детстве ремесло, во всяком случае гарантирован от нужды.

Руссо предвидел общественную катастрофу, заставившую многих сыновей избалованных аристократов искать на чужбине скудного заработка переводами, уроками или ремеслом. Но он совершенно не предвидел, что его абстрактный идеальный человек, всюду пригодный, умеющий найтись при всяких обстоятельствах, воплотится со временем в весьма мало идеальном, но изумительно энергичном, практичном и изобретательном национальном типе современного капиталистического общества, не имеющего себе подобного, в типе гражданина Соединенных Штатов Северной Америки. Его абстракция того ловкого, всюду пригодного человека, бессознательно для него самого, заключала в себе значительный крупно-буржуазный элемент.

Это активная цель воспитания. Что касается его пассивной цели, подчинения природной и общественной необходимости, то в этом мы чувствуем преклонение автора перед стоической философией, мы видим много испытавшего человека, узнавшего на самом себе, что терпеливая покорность является часто лучшим лекарством от физических и душевных страданий, что "искусство бездействия, когда мы не знаем, как действовать, может быть высшей мудростью". Искусство жизни, которому мудрец жизни хочет научить своего ученика, заключается в умеренности, в умении побеждать свои страсти и чувства. "Природа запрещает нам простирает наши стремления за пределы наших сил. Разум запрещает нам желать того, чего мы не можем получить; совесть запрещает нам не противостоять искушению". Только тот, кто управляет своими страстями, умеряет свои желания, воспринимает, как свободу, необходимость повиноваться закону и подчиняться силам природы, кто чувствует себя хорошо среди людей, потому что они его братья, и хорошо в одиночестве, потому что там он находит самого себя, только тот живет поистине независимо. Этот философский элемент сейчас же находит отклик в Эмиле; он чувствует себя настолько свободным от всяких мирских уз, настолько равнодушным к соблазнам положения, состояния, почета и уважения, настолько гражданином не своего отечества, а мира, что учителю приходится предостерегать его против преувеличения. Человек, учит он его, имеет обязанности по отношению к своему отечеству; поэтому он должен любить его больше других стран и жить в нем. Призванный к выполнению общественных должностей, он обязан повиноваться, как ему ни тяжело, может быть, отказываться от своей свободной, уединенной жизни. — Так в конце "Эмиля" в "абстрактном человеке" опять-таки выплывает гражданин, член политического общества.

Цель воспитания, следовательно, создать человека, стоящего выше

жизни и вместе с тем в самой жизни. Выше жизни, потому что Он свободен от побуждений, определяющих действия других людей: тщеславия, честолюбия и корыстолюбия; в жизни, потому что сознание долга и сочувствие побуждают его жить среди ближних и служить им.

Каким же образом достигается эта цель?

По мнению Руссо—руководительством ребенка, постоянно считающимся с его меняющимися потребностями и развивающимися способностями. Он делит весь ход развития, с рождения до взрослого возраста, на четыре фазы или периода, из которых каждый требует различных методов со стороны воспитателя. До седьмого года жизни ребенок всецело принадлежит матери; с этого возраста до тринадцати лет его единственными учителями должны быть наблюдение и чувственный опыт; в крайнем случае он в это время научается читать, писать и считать. Это период развития тела. Положения и обстоятельства, намеренно созданные воспитателем, небольшие театральные пьесы, в которых ребенок, сам этого не зная, исполняет роль (при чем же тут природа и отрицание всякого положительного вмешательства?), лучше самых подробных объяснений и доказательств уяснят ему некоторые отвлеченные понятия, например, понятие о собственности,

Никаких наград, ничего, поощряющего честолюбие и тщеславие, никаких наказаний, кроме таких, которые являются последствиями собственных поступков ребенка и воспринимаются им, как таковые.

С тринадцати лет воспитание входит в новую фазу, утилитарную. Ум ребенка теперь достаточно развит, так что он в своих действиях может руководствоваться честным личным интересом. Во всем, что Эмиль делает и чему учится, ему внушается, что это служит к его собственному благу, ибо это он может понять; таким образом ему прививаются добродетели, относящиеся к его собственному "я", прилежание, умеренность, терпение, самообладание. Этот период предназначается для знакомства с практической жизнью и естество ведением. Руссо высказывается против занятий, так называемыми, "гуманитарными" предметами, изучения древних языков и литературы; такое изучение развивает только страсть к риторике. Естественные науки, товароведение, экономия — вот чему мальчик должен учиться, чтобы стать "пригодным человеком". Ясно, что общее направление воспитания, при всей некоторой необычности его методов, в высокой степени буржуазно практическое. "Абстрактный идеальный человек" оказывается, чем дальше, тем больше, хорошо осведомленным мещанином современно буржуазного общества. В этот период жизни ребенок должен также изучить до совершенства какое-нибудь ремесло.

Когда ученик достигает пятнадцатилетнего возраста, наступает пора ввести в воспитание новый принцип: сочувствие. До сих пор ребенок в своем наивном эгоизме любил только себя; воспитание не может апеллировать к его чувству, у него еще нет альтруистических склонностей. Лишь с пробуждением сексуальных чувств в молодом человеке начинают бродить благородные силы сочувствия и фантазии, тогда только он перестает жить исключительно внешними чувствами и

умом. Тогда наступает пора воздействовать на его альтруистические и социальные склонности и направить пробуждающиеся в нем силы половой любви на путь любви к человечеству. Теперь ему пора изучать и литературу и вознестись на крыльях возвышенных чувств и символов поэтов и философов к творцу всей красоты, добра и истины — к богу. На восемнадцатом году жизни Эмиль впервые узнает, что у него есть душа и что эта душа бессмертна. Он сам нашел—в своем чувстве и своем разуме—нравственные принципы своих действий. Теперь он познает закон необходимости в моральной области, как раньше познал его в природе; он его воспринимает, как волю и закон всеблагого, всемогущего Творца, которого он славит и которому поклоняется.

Взгляд, что дети лишены чувства и фантазии, кажется странным у человека, который, как Руссо, из собственного опыта знал, что они и тем и другим обладают в высокой степени. Но он самого себя считал исключением, совершенно особым существом среди смертных к этому удивительному взгляду, находившемуся в противоречии со всем, чему его могло научить наблюдение действительности, его привела индивидуалистическая тенденция его собственного мышления, индивидуалистические предположения. В развитии рода, полагал он, индивидуальная жизнь предшествовала социальной: первобытный человек жил и работал один, независимо от других. Так и в развитии индивидуума эгоистические и эгоцентрические инстинкты были первоначальными инстинктами, предшествовавшими всем другим; социальные склонности развиваются гораздо позже, под влиянием сексуальных чувств.

Мы знаем, что Руссо ошибался как в одном, так и в другом. Мы знаем, что первобытный человек был социальным существом и что в совместной жизни с себе подобными человек обрел свою человечность. Мы знаем также, что социальные инстинкты развиваются в ребенке одновременно с эгоцентрическими и что зародыши сексуальных инстинктов существуют у детей уже в очень раннем возрасте. Я раз это так, то воспитатель может, не пробуждая тщеславия, воздействовать и на другие силы и способности ребенка, а не только на его разумный эгоизм и его себялюбие. В ребенке тлеет искра социальных склонностей, любви к ближнему, энтузиазма к благу человечества, сочувствия, чувства справедливости и способности жертвовать собою для товарищей. Воспитатель может раздуть эту искру в мощное пламя; усиливая в ребенке его социальные склонности, он может оказать значительное влияние на направление желаний ребенка, на содержание его сознания. Не с пятнадцатого года жизни, а с самого начала воспитатель должен воздействовать на социальные склонности ребенка. Хотя при этом почти неизбежно выступают на сцену честолюбие и соперничество, но честолюбие, стремящееся отличиться на службе товарищам, есть благородное честолюбие, и соперничество, имеющее своим предметом любовь к другим, есть красивое соперничество.

Руссо недооценил социальную природу человека, что было понятно в обществе, в котором индивидуализм все усиливался. Не будь этого

обстоятельства, этой недооценки, ему бы не пришло в голову изолировать своего идеального воспитанника от всякого общения с детьми—это доказывает, насколько он был слеп в отношении воспитательного влияния такого общения,—он бы и не стремился основывать воспитание до шестнадцатилетнего возраста исключительно на развитии физических свойств ребенка и его разумного эгоизма⁴⁹.

Великие социалисты-утописты более позднего периода, главным образом Фурье и Оуэн, первые восприняли в себя и развили новые ценные воззрения Руссо на воспитание, Фурье только теоретически, Оуэн и на практике. Но их социалистическое мышление охранило их от опасности смещения великого принципа освобождения личности ребенка с индивидуалистическими антисоциальными тенденциями, как это роковым образом случилось с мещанским утопистом Руссо.

* * *

Было вполне последовательно, что Руссо, отрицая в ребенке чувство, аффективные наклонности, выключил его и из морального мира. Ибо основой этого мира, морального отношения "я" к "не я", он считал исключительно чувство. "В чувствительном сердце любовь к добродетели есть прирожденный дар"—это было для него аксиомой. Все в нем восставало против воззрения Сократа, что добродетель есть познание. Никто упорнее его не стремился к самопознанию, никто больше его не наблюдал, изучал, анализировал себя, не копался в самом себе более беспощадной и безжалостной рукой; но ему ни на одну минуту не приходило в голову видеть в этом самоизучении путь к добродетели. Для него это был путь к собственной апологии и собственному апофеозу, путь к самооправданию, самолюбванию, самопочитанию и самообожанию. Добродетель, напротив, вытекала из неотразимых и непосредственных склонностей, из порывов горячего чувства и нежности, из потребности оказывать людям добро, делать их счастливыми, сливаться с ними сердцем. И потому, что эти чувства были так живы в его собственном сердце, он считал себя самого лучшим из людей. Когда он подмечал эти чувства в других людях, он тянулся к ним сердцем; когда он уносился на крыльях мечты в цветущие сферы фантазии, такие люди представлялись его воображению подобными драгоценным сосудам, до краев наполненным чувством. В их взглядах и словах, в их жестах, их молчаливом рукопожатии, в их горячих поцелуях и смахиваемых украдкой слезах проявлялся неугасаемый внутренний пыл их сердец.

Дрожа от счастья, он наслаждался среди творений своей фантазии и с отвращением возвращался к холодной, пустынной, сухой и жесткой действительности и к живущим в ней существам.

В "Новой Элоизе", произведении, в котором он высказался свободнее всего—гораздо свободнее, чем "Исповеди", где задние мысли о самооправдании и самовосхвалении направляли поток его воспоминаний по определенному руслу,—он с большой теплотой и задушевностью

изобразил все проявления и отношения в области чувств. Здесь мы находим мягкое, ровное расположение друг к другу Юлии и ее мужа, словно мягким покровом, сотканным из доверия, уважения и привязанности, прикрывающее трезвую и пошлую действительность. Здесь перед нами родительская любовь—как трогательна сцена, когда отец Юлии, этот дворянин до мозга костей, молчаливыми ласками просит прощения у своей дочери, с которой он, в припадке гнева, обошелся грубо и жестко. Тут и детская любовь, искренняя привязанность Юлии к ее старым родителям, ее готовность к самоотречению для того, чтобы сделать закат их жизни мирным и безмятежным. Тут и любовь, которая олицетворяется в дружбе: во-первых, между женщинами; как тесно привязаны друг к другу Клэр и Юлия, эти неразлучные подруги;—затем между мужчинами; хватило ли бы у Сен-Прё силы оторваться от возлюбленной, если бы он не находил поддержки и утешения в нежности Эдуарда Бомстона;—и наконец, между мужем и женой; Клэр и Сен Прё наслаждаются дружбой, которая дает большие радости, но и заключает в себе больше опасностей, чем какая либо другая дружба, потому что это есть чувство, стоящее на грани других миров, жизненный плод, полный самой чарующей нежности, но и острых неудовлетворенных желаний... В "Новой Элоизе" Руссо воздвиг памятник сердечным чувствам человека в тихой, ограниченной сфере буржуазной семейной жизни; он извлек сокровища чистых, радостных чувств, скрытых до тех пор в тени той замкнутой сферы, и озарил их светом красоты.

Буржуазная мораль подобна двуликому Янусу, у которого одно лицо кроткое и задушевное, другое—строгое и жесткое. Первое лица обращено в сторону семейных и частных отношений, второе в сторону производственных отношений и общественной жизни. Здесь господство противоречий и столкновение интересов; здесь жизнь человека протекает в конкуренции и неумолимом соперничестве с другими людьми, здесь цепенеет мягкость и умирает сострадание; здесь человек холоден, как лед, и тверд, как сталь, ко всему, что не касается его личного блага. В пределах этой сферы мораль является, главным образом, деловой моралью, регулирующей отношения между личностью и обществом, как отношения между вещами; честность, прилежание, бережливость, точность, умеренность—таковы главные добродетели⁵⁰, необходимые свойства в обществе товарного производства. В этой сфере долг и склонность часто сталкиваются между собой, сердце не может само найти путь к добродетели, чувство часто приходится подавлять; следовать импульсам часто опасно, прислушиваться к голосу человечности безумно. Там холодный рассудок и строгая совесть царят над трепещущими глубинами чувства. Там царит—Кант; это он ясно и принципиально формулировал основы буржуазной морали в сфере производства.

В другой области, в сфере не добывания, а потребления, не труда, а

⁴⁹ Конечно, он не может совершенно уничтожить себялюбивые наклонности, развиваемые общественными условиями.

⁵⁰ Это относится, главным образом, к мелко-буржуазному, а не к крупно-капиталистическому обществу.

отдыха, лица озарены более мягким светом; голоса звучат нежнее, глаза блестят мягче. Здесь сконцентрировались все аффективные склонности человека; изгнанные из области труда и общественных взаимоотношений, они укрылись здесь. Здесь человек отдыхает, черты лица его утрачивают напряжение, сердце его раскрывается. Здесь можно прислушиваться к чувству и следовать голосу сердца; здесь расцветают цветы привязанности, нежности и задушевности, цветы, растить которые есть добродетель и мудрость, растаптывать—глупость и грех. В этой области царят любовь, задушевность, непосредственные движения души и кротость, здесь царит мораль "Новой Элоизы".

Правда, в "Новой Элоизе" Руссо рисует и отношения в условиях производства в тех же красках человечности. Но область труда, в которую он нас вводит, это мирная сфера патриархальных отношений и производства для собственных нужд. Там не господствуют законы товарного производства, там не царит безумный дух корысти; хозяева не взирают на своих слуг тем же холодным взглядом, как на инструменты, которыми они орудуют, и материал, который они обрабатывают; они смотрят на них кротким, дружеским взглядом, полным человеческого сочувствия. Они чувствуют по отношению к этим низко стоящим, невежественным, работающим на них друзьям нечто вроде отцовской и материнской ответственности. Здесь, в условиях деревенского производства для собственного потребления, отношения между господами и слугами приближаются к идеалу, достигаемому социальным воспитанием; здесь нет причиняющей боль жесткости, здесь царит дух человечности.

Эти патриархальные отношения между господами и слугами Руссо считал столь же "естественными" и так же мало наносящими ущерб человеческому достоинству и правам человека, как и отношения между мастером и подмастерьем. Стремление к равенству в нем зародилось лишь с той минуты, когда он увидел, что дворянин презирает простого горожанина, как существо низшего рода. Его классовое сознание в оскорбленном гнев возмутилось против такого презрения и побудило его провозгласить равенство всех людей. Это чувство он воплотил в Сен-Пре, бедном интеллигенте плебейского происхождения, робком и чувствительном, как он сам, и, как он же, влюбленном в женщину благородного происхождения. Свои взгляды о ничтожности неравенства рождения он, однако, вложил в уста английскому лорду Эдуарду Бомстону, принося этим самым дань поклонения стране, представлявшейся революционным французским мыслителям в сиянии утренней зари буржуазной свободы.

Критики и биографы Руссо упрекают его в сбивчивости мысли, изменчивости и непостоянстве, в том, что его страстность мешала ему точно уяснить себе собственные мысли, что кипевшую и бурлившую в нем жажду жизни он никогда не умел сконцентрировать в определенной воле. Это все, может быть, и так; совершенно верно, что он был полон противоречий. Они говорят, что только в одном он был непоколебим—в своей самоуверенности, и что вера в неисчерпаемую силу, в величие и

благость его собственного "я" была твердой почвой под его ногами. Может быть, и это верно; он и в этом был современным человеком; эта растерзанность, это шатание между недостаточной и преувеличенной верой в себя входят в существо современной личности. Но неверно то, что только это одно было в нем непоколебимо. Если бы это было так, он не мог бы стать тем источником, из которого многие поколения черпали, рядом с повышенным сознанием и углублением своего "я", также и мужество, энтузиазм, силу воли и жажду действия, стремление работать не только над собственным усовершенствованием, но и над усовершенствованием мира. В нем была еще и другая непоколебимая вера: вера в жизненный идеал. Перед его умственным взором носились основные контуры жизненного здания, в котором человечество жило бы счастливо, если бы следовало его учению и слушалось его сове та. Этот идеальный мир, в противовес миру действительности, он постоянно носил в себе; и всякое стремление его, как оно ни бывало подчас бурно, и каждое из его воззрений, как они ни выражались иногда бессвязно, были органической частью этого могучего здания. Оно выросло в душе его под напором его бурных чувств, которые были так сильны и страстны потому, что это были классовые чувства, ощущения, зарождавшиеся и вибрировавшие в миллионах других человеческих сердец. Оно выросло в нем из формирующегося буржуазного сознания, корни которого заходили далеко назад, к временам гордых, полных достоинства граждан средневековых городов, тех старых гнезд, где медленно назревали новая свобода, новая жизненная воля и новое отношение к жизни. Своды этого здания простирались вперед, к скрытому от взоров будущему титанической борьбы,—борьбы, которая должна была принести мещанству победу, гражданскую свободу и равенство, но дала ему не ту свободу, о которой оно мечтало, а глубокое разочарование, потому что мещанство в том мире, который оно помогало строить, оказалось ущемленным между высшим и низшим классом, между классом крупных капиталистов и пролетариатом.

Жан-Жак очень хорошо знал, что крупный буржуа враг мещанского мира его мечты, как и землевладелец, и абсолютный монарх. Поэтому он ненавидел этого крупного буржуа, как он ненавидел тиранов.

* * *

Мы рассмотрели фундамент, на котором он строил свое идеальное жизненное здание; в заключение вызовем перед нашим умственным взором главные линии этого здания.

Земной шар усеян бесчисленным множеством маленьких, независимых общин, свободно связанных в федерацию. Каждая община состоит из небольшого города или нескольких городов с прилегающей к ним земельной площадью. На этой внегородской площади живет огромное большинство населения, находящее средства к существованию в сельском хозяйстве и ремеслах. Каждая из этих общин экономически самостоятельна, независима от других; возможно большим ограничением торговли и денежного оборота правительство препятствует развитию производительных сил. Оно стремится к возможно большему сохранению

старых форм производства и старых производственных отношений, "натурального хозяйства и мелких промыслов. Оно знает, что торговля и деньги являются для них угрозой. Не перемены, а неизменность есть цель стремлений этих людей, ибо в сердцах их мир.

В этих маленьких федеративных государствах царит демократия, управление через народ. Правительство — обычно из членов более видных родов—избирается всеми гражданами. Оно отдает отчет в своих действиях народному собранию. Нет ни дворянства, ни постоянного войска, ни бюрократии, ни касты священнослужителей, нет особой касты интеллигенции. Не все граждане пользуются одинаковым почетом и не все одинаково состоятельны, но эти различия весьма незначительны: как только является опасность слишком-большого увеличения их, правительство вмешивается и восстанавливает равновесие. Интеллектуальные контрасты не больше социальных: как нет деления граждан на капиталистов и пролетариев, так и нет деления на ремесленников и умственных работников. Все участвуют в производстве, все пользуются культурными сокровищами человечества и все принимают участие в управлении.

Нравы просты, но не спартански-строги. Нет роскоши и расточительности, но есть все в изобилии, что делает жизнь приятной. Спокойное довольство и дух братства наполняют сердца этих людей; дни их протекают мирно и равномерно в спокойной работе и радостном отдыхе. Сердца их с благодарностью устремляются к Творцу мира, к источнику жизни; не в храмах они поклоняются ему; они не нуждаются ни в человеческих, ни в божественных посредниках между собою и Высшим Существом; их религия не требует пустых обрядов; в уединении природы они славят бога и служат ему исполнением нравственного закона, который он заложил в их сердца.

В ограниченной сфере домашней жизни пышно распускается нежный цветок человеческого счастья. Любовь пускает ростки и почки между молодыми людьми и девушками, между родителями и детьми, между братьями и сестрами, между родственниками и друзьями. Старость почитают за те сокровища мудрости и опыта, которыми она владеет. Возвращающегося в свой тихий дом мужчину встречает светлая улыбка: кроткое, милое лицо его жены склоняется над цветущим малюткой. Весело и свободно бегают кругом крепкие, пышущие здоровьем дети, в необузданной беззаботной резвости наслаждающиеся своей юностью.

Народ, вся масса граждан, живет трудолюбиво и ежедневной работой зарабатывает свой хлеб, не изнураясь в рабском труде. Заработанный трудом хлеб съедается с радостью. Когда земля пробуждается после зимнего сна, обещая новые блага, когда майское солнце сияет над полями, когда жатва свозится в овины или из виноградных гроздьев выжимается душистое вино, деревенское население радуется и устраивает веселые празднества. В городах жизненная энергия, радость жизни находят себе исход во всевозможных состязаниях людей, наиболее искусных в стрельбе, борьбе, гребле и плавании. На разукрашенных цветами площадях собираются под

открытым небом свободные люди, чтобы насладиться полнотой своей радости. Ни изнеженность, ни корысть, ни принуждение не унижают и не отравляют их празднества, когда они собираются за общей трапезой. Грудь расширяется и биение сердца ускоряется при мысли о республике—воплощении всеобщего единства, в котором отдельная личность исчезает, чтобы вновь возродиться, освобожденной от узости жизненных условий, претворенной в часть большого общего целого.

Таким представлялся Руссо в его мечтах идеал прекрасной жизни.

Его мечта была революционная и поэтическая утопия мещанского индивидуализма. У нас, пролетарских революционеров настоящего времени, иная, более возвышенная мечта: мечта о единстве всех людей, вытекающем из природы труда в социалистическом обществе и из господства мужчин и женщин свободного человечества над силами природы и общества. Перед нами раскрываются более широкие горизонты, и мы нетерпеливо простираем к ним руки... Но пусть наши сердца и умы и устремлены в иную сторону, чем его сердце и ум, мы все же в состоянии чувствовать очарование той смутно-блещущей, сказочно мирной сферы, которую он показал людям,—наши сердца откликаются на его страстное стремление, потому что эта сказочная сфера есть идеализация действительности, из которой и мы вышли и которая еще жива в нашей плоти и наших мыслях: мелко-буржуазного мира. И потому еще нас восхищает эта мечта, хотя мы и чувствуем ее узкую ограниченность, что с тех пор, как вместе с первобытным коммунизмом исчезли с лица земли мир и свобода, всякое общество и всякое изображение общества, носящее еще в себе его след, его отблеск, представляется человеческому сердцу заманчивым раем утраченного детства.

* * *

Руссо был поэтом-утопистом мещанского индивидуализма; но это определение не исчерпывает его сущности. Его знания, его личный опыт и его фантазия устремляли его мысль и чувство за пределы определенного периода в развитии человечества, хотя он сердцем и принадлежал к этому периоду и был связан с ним чувством, связывающим ребенка с матерью. Он носил в душе образ государства города древности, еще сохранившего некоторые предания племенного строя; он носил в душе воспоминание о беззаботном существовании и радостном гостеприимстве времен натурального хозяйства, следы которого еще сохранились в горах Швейцарии. Он видел дальше энциклопедистов, которые были полны восхищения перед нарождающимся капитализмом и презирали и отвергали всякую другую форму общества, кроме буржуазной.

Он был и в гораздо большей степени, чем они, человеком инстинктивной жизни. Позади его мещанского сознания — определявшего в главных чертах его воззрения на государство, собственность и семью — из его подсознания, из самой глубины его существа подымался дикий, хаотический мир буйных стремлений, мрачный, бесформенный и могучий. В человеке живут никогда не умирающие первобытные инстинкты—стремление сбросить с себя все оковы общественной жизни и

наслаждаться блаженством неограниченной свободы—голоса давно исчезнувшего прошлого, вновь поднимающиеся в крови. Тогда он начинает мечтать об естественном государстве и возвращении к природе. Такие голоса слышал и он, великий мечтатель; в нем были инстинкты бродяжничества, стремление к вольной жизни дикаря, страстное желание разрушить самим же человеком сооруженную плотину, окружающую его со всех сторон и отделяющую его от матери-природы: общественную среду. Страстное желание слиться со вселенной, прижаться лицом к лицу земли, ощущать всем своим телом течение ее вод, дуновение ее ветров, быть частью природы. Голос этих инстинктов, составлявших основной фон, таившихся в глубочайших извилинах, в первоначальных слоях его сознания, сливался с голосом его общественных стремлений и придавал его громовым словам своеобразное, дикое очарование невыразимой тоски и внеобщественной неизведанности.

IV. ПОСЛЕДНЯЯ БОРЬБА

Приехав в Иверден, Руссо поспешил известить маршала о своем благополучном прибытии; он написал также Конти и Терезе. Он предоставил Терезе полную свободу последовать за ним в изгнание или оставаться в Монморанси. "Реши сана, как поступить,—писал он в заключение своего письма,—и следуй исключительно собственному желанию, потому что, как мне ни будет тяжело отделить свою жизнь от твоей, после того, как мы столько времени прожили вместе, я могу это сделать, хотя и с сожалением, но без ущерба. Кроме того, твое пребывание здесь встречает препятствия, на которые я, однако, не буду обращать внимания, если ты пожелаешь приехать. Обсуди этот вопрос сама, милое дитя, и подумай, сможешь ли ты перенести мое уединенное существование. Если ты приедешь, я попытаюсь сделать его для тебя как можно более приятным, и я приму все возможные меры к тому, чтобы ты могла правильно выполнять свои религиозные обязанности. Но если ты предпочитаешь оставаться на месте, то сделай это без всяких угрызений совести, а я всегда буду делать все, что в моих силах, чтобы обеспечить тебе хорошую и удобную жизнь".

Это было любезное и благоразумное письмо. Один из новейших биографов Руссо, Э.Фаге, усмотрел из него, что Руссо охотно расстался бы с Терезой. Я читаю из него нечто совершенно другое. Тереза не хотела и слышать о том, чтобы оставаться в Монморанси.

Через несколько дней после его прибытия в Иверден получилось известие, что Женевское правительство присудило "Эмилю" и "Общественный договор" к публичному сожжению и предписало арестовать автора, если он осмелится появиться в пределах Женевского округа. Вскоре последовали и другие приговоры. В высказанном в "Эмиле" сомнении в существовании чудес и откровения как светские, так и духовные власти почувствовали угрозу себе. То, что Руссо оставил в неприкосновенности божество на небесном троне, не спасло его; он оскорбил авторитет церкви, и как церковь, так и государство,

почувствовавшее и себя задетым в лице церкви, обрушились на него всю силой своей власти. То обстоятельство, что он, вопреки обычаю своего времени, выпускал свои сочинения под собственным именем, облегчало преследование автора. Архиепископ парижский, монсиньор Бомон, в пастырском послании осудил его "Эмиля", как безбожную книгу; папа проклял ее в булле, Сорбонна определенно предостерегала против нее; Соединенные Нидерланды осудили автора и его произведение, по примеру родственной кальвинистской республики. "Общественный договор" был воспрещен только в Женеве: за академической формой его не так легко было разобрать его революционное содержание.

Скоро Руссо дали знать, что и бернский сенат собираете" его осудить; он решил покинуть Иверден раньше еще, чем сенат примет решение. Родственница его друга, у которого он жил, предложила ему квартиру в деревне Мотье, расположенной неподалеку от Ивердена, по другую сторону горы, в княжестве Нейенбургском, т.-е. на прусской территории. Дом был меблирован и находился в полном порядке; он мог сейчас же поселиться в нем. Руссо принял это предложение; 10 июля, месяц спустя после его бегства из Монморанси, он прибыл в Мотье. Там к нему скоро присоединилась Тереза; встреча вызвала у обоих слезы искренней радости.

Мотье, известное в настоящее время богатыми асфальтными залежами, расположено в горной, пустынной долине Юры, замкнутой между поросшими лесом горами и тянущейся с севера к югу. Долина довольно широка, около получасу пути, но мрачные еловые леса, покрывающие с обеих сторон крутые склоны, придают ей угрюмый вид. Вследствие положения ее в направлении с севера к югу солнце в зимние месяцы лишь на короткое время заглядывает в нее из-за гор. Самая долина лишена растительности; даже по берегам маленького горного ручья, Рейсы, нет деревьев. Климат суров, зима тянется долго; с октября выпадает снег и лежит до мая, и в долине, и кругом на горах. По внешности домов видно, что они устроены так, чтобы противостоять бурям и непогодам сурового горного климата; это тяжелые, неуклюжие каменные строения; жилое помещение, коровник и овин—все под одной крышей, несколько маленьких окон и дверей замыкают дом от неприветливого внешнего мира. За исключением главной улицы, дома разбросаны беспорядочно среди немощенных дорог.

Даже и теперь, когда электричество, которое введено в Мотье, как почти в каждой швейцарской деревушке, несколько смягчает мрачное впечатление, производимое по вечерам тяжелыми массами домов и пустынными грязными дорогами, и сползающая с гор в долину, дребезжащая и скрипящая железная дорога вызывает представление о связи и сношениях с внешним миром, чужестранца, вступающего в деревню в дождливый сумеречный час, охватывает невольный трепет, и сердце его сжимается при мысли о необходимости жить всегда в угрюмом, не столько величественном, сколько пустынном одиночестве этой негостеприимной долины, вдали от смеющейся, радостной природы, и в течение долгой зимы тщетно ловить луч солнца.

Руссо ощущал и физически, и морально гнет этой обстановки; он, так любивший солнце и тепло, больше всего страдал в течение бесконечной зимы. Несмотря на это, он полюбил эту местность и природа ее доставила ему не один миг наслаждения. Обстановка была романтическая, а каждый романтический пейзаж пленял и восхищал его. Его домик стоял на углу главной улицы и широкой проезжей дороги, из него открывался вид на водопад, низвергавшийся с гор. В верхнем этаже дома была деревянная галерея, крытый балкон, на котором он грелся на солнце или в дурную погоду ходил взад и вперед. Часто он сидел, по деревенскому обычаю, на скамье перед домом и плел кружева, как деревенские женщины; он любил, чтобы руки его были заняты во время разговора. Зимой болезнь большей частью привязывала его к дому; так было и в Монморанси в последние годы. Зато летом он вознаграждал себя за это вынужденное сиденье дома; он тогда много гулял с обнаженной головой, уходил далеко в горы, то один, то в сопровождении других. Во время этих странствований он наслаждался всем своим существом, тогда он был весел и любезен. Его спутники изумлялись, что этот нелюдимый мизантроп, каким его все считали, может быть так весел и разговорчив. У самой деревушки долина разветвлялась; эти уходящие вдаль боковые долины были чрезвычайно живописны; вся местность была богата романтическими уголками. По долинам журча струились серебристые ручьи; с гор спадали шумные водопады; вершины елей, казавшиеся из глубины долины крохотными, черными точками, шумели и бросали прохладные тени, а откуда-то, из скрытой глубины, из хаоса диких, поросших мохом скал, хранивших прохладу и свежесть и в самые жаркие летние дни, выбивался протекавший по главной долине горный ручей, изобилующая форелями Рейса.

Прогулки в красивой местности были всегда любимым отдыхом Руссо; формы, краски, звуки и ароматы доставляли дивное наслаждение всем его чувствам. Теперь, когда он стал старше и внимательнее, его уже не удовлетворяли одни приятные ощущения, он все больше наблюдал о дельные предметы в природе, тщательно рассматривал их и сравнивал. Издали он видел плохо, но вблизи очень хорошо, и растения и травы, растущие у ног его, в высокой степени привлекали его внимание. Теперь, когда умолк могучий внутренний голос, возвышенный энтузиазм, живший в нем в течение двенадцати лет и подымавший его дух, он ощущал какую-то подавленность, внутреннюю пустоту. Отчасти это чувство могло быть результатом умственного утомления: за этот долгий период непрерывного напряжения мысли он поставил себе громадные задачи, к этому присоединились боль и разочарование, которые он испытал. Все, что он делал, он делал для того, чтобы принести человечеству спасение, указать ему путь к счастью и добродетели. И в награду он был изгнан, как совратитель народа и безбожник; его осуждали не только абсолютистские правительства и католическая церковь, но и его родной город, к которому он всегда был привязан сыновней любовью, который он восхвалял и ставил в образец другим государствам. Это уязвляло его и причиняло ему большее страдание,

нежели что-либо изо всего пережитого за всю его жизнь. Этот удар оказался для него слишком тяжелым; все лучшее, все наиболее прекрасное в нем начало с этого времени увядать и засыхать. Отсюда эта пустота в душе его. "Мощные движения души во мне умерли,— писал он в одном письме,—я живу еще только ощущениями". И все-таки в нем еще сохранились силы любви, слабый пыл, страсти; он дарил ее некоторым людям, но он нуждался в большем, ему нужно было нечто более общее, что бы могло дать пищу жившим в нем силам и наполнить его уединение.

Это он нашел в ботанике, в лучении и собирании растений, чем он и занимался, с некоторыми перерывами, со времени своего пребывания в Мотье и до самой смерти.

С тем же энтузиазмом, с каким он мальчиком набрасывался на всякое новое увлечение, на новую отрасль науки, он теперь накинулся на ботанику. В занятиях ботаникой он забывал свое горе, свои разочарования, свое одиночество, происки своих врагов: он забыл свое недоверие; жизнь он ощущал, как нежное прикосновение; он наслаждался, был счастлив. Всеми спокойными, ясными настроениями, всем счастьем, всей полнотой жизни, какие выпали ему на долю на долгом, одиноком и печальном закате его жизни—одиноком и печальном как по вине людей, так и по вине его собственного расстроенного воображения — всем этим он обязан, главным образом, занятиям ботаникой. Ботаника возместила ему все, что он утратил, в смысле внутренних, как и внешних переживаний, она отвлекала его мысли от печальных размышлений о собственной участи и успокаивала его потрясенную душу. Он часто чувствовал, что в ней единственные узы, еще связывавшие его с жизнью, ибо это было единственное, что еще вызывало в нем теплый интерес.

Его долгое, терпеливое изучение растительного мира не осталось бесплодным для науки. В его время наука о растениях находилась в чрезвычайно запутанном состоянии, вследствие полной неопределенности номенклатуры; ботаника еще не была в большом почете, по крайней мере во Франции. Интересовались почти исключительно учением о травах, действительными или предполагаемыми целебными свойствами растений, и очень мало их формами, строением и жизнью. Руссо был одним из первых, интересовавшихся не продуктами, которые получались из растений, а самой жизнью их. Эту жизнь он хотел познать и исследовать. Когда в уме его впервые встала догадка об органах размножения растений, им овладел восторг и воодушевление. Он понимал, что хорошая, ясная классификация есть столь же необходимое вспомогательное средство для изучения растений, как и оптические инструменты: отсюда его восхищение Линнеем, который во Франции в те времена ограниченного профессионального шовинизма встречал уничтожающую критику. Его демократические наклонности толкнули его на попытку популяризировать ботанику, которой тогда еще занимались исключительно специалисты. Он убеждал ученых—конечно, безуспешно—заменить в руководствах греческие и латинские технические названия французскими и писать

языком, понятным для широкой публики, как он сам делал в своем "Письме об элементах ботаники". Он побуждал любителей готовить гербарии с цветными рисунками, какие он сам изготовлял.

Руссо, пробудивший в своих современниках интерес к чудесам природы, к сельской жизни, к поэзии гор, был и одним из первых естествоиспытателей, давших любителям ключ к пониманию организма природы путем наблюдения и исследования и считавших изучение природы делом всех, а не только специалистов. Таким образом он и в этой области оказался пионером, предтечей на путях современного мирозерцания.

* * *

Из Мотье Руссо написал Фридриху II, прося разрешения поселиться в княжестве Нейенбургском; он обратился также к Нейенбургскому губернатору, шотландцу, лорду Кейту, которого в Швейцарии обыкновенно называли его титулом, милордом-маршалом, и просил его покровительства. Фридрих приказал лорду Кейту по возможности пойти навстречу изгнаннику; он распорядился также предложить ему ежегодную субсидию. Руссо отказался от субсидии, согласно своему принципу жить независимо, то-есть, не быть связанным ничьими милостями. Насколько мало понимания встречал этот его принцип, видно из того, что Малерб, с которым Руссо продолжал переписываться, попросив Руссо изготовить для него гербарий, с величайшей нерешительностью коснулся вопроса о гонораре, боясь оскорбить автора. Руссо ответил просто, что он, к сожалению, недостаточно богат, чтобы делать работу для Малерба даром. Он считал само собою разумеющимся и нисколько не унижительным принимать деньги за сделанную работу, будь это переписка нот или собирание растений.

Лорд Кейт пригласил Руссо, в ответ на его письмо, посетить его на его даче в Коломбье, у Нейенбургского озера. Руссо принял приглашение. Оба чудака, живший уединенно, упрямый, молчаливый старый дворянин и его гость, сразу почувствовали симпатию друг к другу. "Мы понимали и симпатизировали друг другу", писал Руссо позднее. У них было много общего: сильное стремление к независимости, любовь к уединению, отвращение к внешним церемониям, презрение к людям; но насколько Руссо был раздражителен и страстен, настолько шотландец был хладнокровен и замкнут. Швейцарцы не особенно любили лорда Кейта; их несколько необузданные, вольные натуры—жителей Нейенбурга обыкновенно называли гасконцами Швейцарии—отталкивались его сухостью и упрямством. Руссо за этой нелюбезной внешностью угадывал благородный, честный характер и горячее сердце. Он горячо привязался к старику и полюбил его, как отца. Эта привязанность, совершенно лишённая всякого побочного чувства недоверия или досады, была, может быть, самая чистая и гармоничная во всей его жизни. От него он все принимал охотно, не испытывая при этом никакого чувства угнетения; чувство благодарности по отношению к нему было ему легко и приятно; когда лорд Кейт предложил ему небольшую ежегодную ренту для Терезы, он принял ее с искренней

радостью. В Англии, в самую тяжелую пору его жизни, привязанность к лорду Кейту была несколько омрачена его болезненными идеями, но не ослаблена. В ответ на свои попытки примирить его с окружающей обстановкой лорд Кейт получал от Руссо, который считал его своим благодетелем, письма, полные грустных жалоб и недоверия. Когда усталый и нуждающийся в покое старик, не могший больше переносить этих писем, написал Руссо, что всегда был бы рад иметь о нем известия, но просит его больше ему не писать, Руссо ответил ему трогательной жалобой: "Ваша доброта единственное утешение моей жизни; неужели Вы хотите лишить меня и этого единственного утешения?"

Лорд Кейт был один из немногих людей, любивших Руссо за его крупные достоинства, за бескорыстные и героические черты его натуры, не будучи слепым к его недостаткам, щадившим его слабости, не лстя ему. Г-же де-Буффлер, с которой он был в переписке по поводу участия их общего друга, он писал, когда Руссо отклонил предложенную ему Фридрихом II субсидию: "Жан-Жак несомненно слишком упорен в мелких и ничтожных вопросах, но он столь же упорен и в положительную сторону, в честности и бескорыстии, что более чем достаточно перевешивает его мелкое упрямство и делает его лишь более достойным любви и уважения". Лорд Кейт охотно поселил бы своего друга навсегда на своей даче в Коломбье, где климат был мягче, чем в Мотье, и где он сам жил только летом. Но Руссо не соглашался на это. Он, однако, часто посещал лорда Кейта; они тогда вдвоем предавались мечтам об основании маленькой республики на одной из земель лорда Кейта в Шотландии. Там должны были жить они оба и Давид Юм, знаменитый философ и историк, соотечественник старого лорда; каждый должен был пользоваться полной свободой устраивать свою жизнь по своему усмотрению и по степени возможности нести свою долю расходов по общему хозяйству. Жан-Жак охотно отдавался этой мечте о длительной совместной жизни с людьми, которых он любил. Сколько раз уже он строил такие планы: сначала о жизни с г-жей де-Варан, потом с испанцем Альтуна, позднее с г-жей д'Удето и Сен-Ламбером. Теперь повторилась та же история; и если он и верил в свою мечту только вполтину, а милорд-маршал собственно и совсем в нее не верил (он говорил, что они строят воздушные замки), все же эта мечта давала ему счастье. Дни, прожитые в Коломбье, сохранились в памяти Руссо, как последнее воспоминание о безмятежном счастье. К сожалению, они слишком скоро перешли в область воспоминаний: у милорда-маршала начались неприятности с швейцарцами, и он покинул Нейенбург через год после того, как Руссо поселился в Мотье; он уехал сначала в Шотландию, а позднее Фридрих и призвал его в Потсдам. Руссо никогда больше его не видал.

В Мотье Руссо скоро почувствовал себя, как дома, хотя население Мотье в общем было ему несимпатично: он находил этих людей требовательными и тщеславными, преувеличенно и жеманно церемонными, и это надоедало ему и раздражало его. Все же он заключил дружбу с некоторыми молодыми девушками и молодыми

женщинами, жившими по соседству, и обещал подарить свои кружева той из них, которая сама выкормит своего первого ребенка. Наиболее интимные отношения у него установились с одним очень богатым американцем, дю-Пейру, тоже занимавшимся ботаникой; он мало говорил, не делал комплиментов, много читал и обо всем имел самостоятельное суждение, и Руссо долгое время чувствовал к нему сильное влечение. В течение многих лет они сохраняли дружеские отношения, дю-Пейру часто навещал его по возвращении его из Англии; позднее Руссо сам не понимал, что собственно он видел в этом человеке.

Он приобрел еще и другие знакомства; было изумительно, насколько в нем еще сохранилась душевная гибкость после всех щелчков, которые он получал в жизни; он совершенно не зачерствел душой; это был истинный художник, всегда искавший в мужчинах и женщинах идеального добра и идеальной красоты и всегда воспламенявшийся любовью и энтузиазмом, когда ему казалось, что он их находил. Население деревни любило его; его приезд в Мотье сначала привел в движение деревенские языки; но любезность его скоро победила предубеждение против "философа", богохульные книги которого подвергались сожжению в стольких странах. Сидя у дверей своего домика и плетя кружева, он совершенно не казался опасным; к тому же он был очень услужлив и всегда готов помочь всякому. Правда, крестьяне находили в нем всякого рода странности, так, напр., его манеру одеваться (Руссо в Мотье одевался в армянский костюм, потому что этот костюм, как он говорил, был ему удобнее в виду его болезни и связанным с нею лечением); но пользовавшийся всеобщим уважением деревенский пастор Монмоллен сам не поддерживал разве сношений с этим странным, возбудившим столько толков чужестранцем? Не посещал разве этот чужестранец правильно церкви? не просил ли он сам быть допущенным к причастию, и не удовлетворил ли пастор его просьбу? Значит, он ни в каком случае не мог быть богоотступником. Крестьяне горной деревушки были чрезвычайно набожны, но они доверяли своему пастору, который в разгоревшемся в то время между швейцарскими теологами неистовом споре по вопросу о вечном осуждении души и сердцем защищал взгляды правоверных. Таким образом Руссо, по крайней мере, на месте своего жительства имел покой. Но не много надо было, чтобы возбудить против него религиозный фанатизм отсталого деревенского населения.

С допущением к причастию дело обстояло следующим образом: просьба Руссо, конечно, поставила пастора в затруднительное положение. Прямо отказать ему было неудобно после того, как он добровольно объявил, что признает догматы церкви; может быть, он был раскаявшийся грешник; в таком случае какая честь для пастора иметь такого знаменитого и прославленного человека членом своей общины! С другой стороны, "Исповедание веры савоярского викария" имело, собственно, мало общего с протестантизмом: можно ли было допустить к причастию автора его?.. Это была трудная задача для пастора Монмоллена... Позже он утверждал, будто Руссо ему говорил, что приехал

в Мотье, чтобы здесь провести остаток дней своих в мире и покое, и что он дал ему письменное обещание больше ничего не писать. На этом основании Монмоллен его и допустил к причастию, думая, что при таких условиях нет причин бояться новых скандалов. Руссо, с своей стороны, объяснял, что он никогда не считал себя связанным обещанием. Хотя он и говорил пастору, что больше не будет писать, но, как он случайно в это же время выразился в письме к милорду-маршалу, это было обещание, данное самому себе, а не другим, это было намерение, а не обязательство; и менее всего он рассчитывал, что его станут рассматривать, как поставленное ему условие. Поэтому, написав в Мотье еще две вещи в свою защиту: "Письмо к монсеньору Бомон" и "Письма с горы", он совершенно не считал это нарушением слова. Его противники, говорил он, принудили его дважды сделать исключение из намеченной самому себе линии поведения. Вполне понятно, что он так говорил, но не менее понятно и то, что Монмоллен, которому и без того пришлось выслушать от своих коллег неприятные вещи по поводу допущения к причастию автора "Исповедания веры", был об этом другого мнения и почувствовал себя оскорбленным, когда появление "Писем с горы" вызвало волнение во всем протестантском мире.

Не вес выставленных против него монсеньором Бомон аргументов побудил Руссо ответить на его циркулярное послание, а чувства глубокого уважения и преклонения, которые его противник внушал ему своими личными качествами. Церковь, конечно, видела для себя большую опасность в предложенной Руссо системе воспитания: что ребенка не следует воспитывать с ранних лет в подчинении церковным установлениям, а надо учить его самостоятельно думать. В страстной филиппике архиепископ осуждал "дух неверия, который в то же время есть дух независимости и возмущения"; "Эмиль" в такой же степени заслуживает проклятия церкви, как и осуждения законов.

Ответ Руссо был полон достоинства, самообладания и в то же время и внутренней трогательности. Каким чисто-человеческим волнением и честным возмущением звучали его слова по сравнению с риторической анафемой епископа. И насколько отличался его тон от обычной полемики против католицизма, от полной враждебности, язвительности и личных оскорблений манеры Вольтера. И сочинение Руссо представляло остроумную, блестящую полемику; его ирония была так тонка, что Гримм должен был сознаться: "я не узнаю гражданина Женева"; но каждое слово дышало всепроникающей силой убеждения, глубокой верой в правильность собственных воззрений. И в то же время чувствовалась и вера в серьезность и искренность противника, вера, которая у Вольтера совершенно отсутствовала.

В "Ответе монсеньору Бомон" было мало новых мыслей. Это было и естественно, Руссо же заявил сам, что свои взгляды на отношение человека к богу и отношения людей между собою он в главных чертах

уже высказал⁵¹. В этом сочинении, как и в последующем, в "Письмах с горы", он хотя и возвращался к некоторым пунктам, чтобы лучше осветить их или изложить, подробнее, но главные линии своего жизне- и мирозерцания он обрисовал в произведениях великих годов. В "Письме к монсеньору Бомон" важно прежде всего его изложение универсальной религии, в которой он хотел соединить евреев, христиан и магометан с сохранением особых форм их верований. "Ибо каждое верование, предписанное законами и содержащее сущность религии, хорошо". Его представления о равноценности различных монотеистских религий, о сущности религии, как веры в Творца и Отца и в божественное начало в человеке, о долге терпимости и взаимного уважения вполне совпадают с идеями других революционно-буржуазных мыслителей его времени; иногда кажется, словно говорит Натан Лессинга. Вызванная товарным производством, все возрастающая нивелировка всех народов, отодвигавшая назад все национальные и исторические различия, должна была породить идею всеобщей мировой религии, в которой бы растворились все отдельные религии. Мечта Руссо об универсальной религии контрастировала с его политическими воззрениями, ставившими в основу государственной формы именно особенности каждого народа. Как мещанин, он слишком много значения придавал национальным особенностям, слишком видел в них ядро и мозг каждого народа, чтобы мечтать о политическом мировом гражданстве. Поэтому он свою мечту о мировом гражданстве ограничивал областью религии.

На осуждение женевого совета Руссо долгое время молчал. Он ожидал, что его сограждане обратятся к правительству и будут настаивать на пересмотре приговора. Он ждал целый год, но общего протеста, на который он надеялся, не последовало. Только его родственники и некоторые друзья обратились к властям с прошениями. Инициатива исходила от горячего приверженца Руссо, Мульту, молодого пастора, которому Руссо, после некоторых колебаний, разрешил взять в свои руки его защиту; но защита эта должна была вестись "без гнева, без насмешки, прежде всего, без похвал, с мягкостью и достоинством, с силой и мудростью, словом, так, как подобает скорее другу справедливости, чем другу преследуемого". Глубоко оскорбленный оказанной ему несправедливостью—которой он вначале никак не мог постичь—и задетый инертностью и равнодушием своих сограждан, он, в конце концов, обратился к последнему средству протеста, которое было в его распоряжении: 12 мая 1753 года он написал бургомистрам Женевы, что навсегда отказывается от права гражданства в городе.

"Эмиль" был осужден "малым советом" раньше, чем хотя бы один экземпляр книги появился в торговле. Для обоснования осуждения пришлось удовольствоваться приговором парижского суда. Уже одно это

⁵¹ "Милостивый государь,—гласил в период его пребывания в Мотье его ответ человеку, спросившему его, почему он больше не хочет писать,—я сказал все, что знал, и может быть, и то, чего не знал. Одно несомненно: что я не знаю больше того, что сказал, если бы я стал еще писать, я бы только повторялся, и поэтому мне лучше молчать".

обстоятельство служит доказательством незакономерности приговора. По закону Руссо следовало вызвать на суд и подвергнуть допросу, следовало дать ему случай заявить, он ли автор инкриминируемой книги, возможность защищаться или отречься от своих заблуждений. Но оказалось, что класс патрициев, державший бразды правления в "свободной Женевской республике", так же боялся свободной критики церковных установлений, как и правящий класс в абсолютистско-феодальной Франции; книгу осудили, не читая ее, а автора, не выслушав его. Конечно, в этом сказалась рука французского правительства.

Поступок Руссо обратил на себя всеобщее внимание. Как это часто бывает, резкое и энергичное выступление одной выдающейся среди других личности послужило толчком, который пробудил в массе сознания долго сносимых обид. Мещанство вдруг вспомнило все превращения власти, в которых был повинен "малый совет", и борьба за отмену вынесенного против Руссо несправедливого приговора стала борьбой за восстановление первоначальных прав граждан. Как читатель вспомнит, это было, главным образом, право подачи правительству петиций, которые должны были затем рассматриваться в общих собраниях. С течением времени в "малом совете" все больше входило в обычай класть такие петиции под сукно. Это так называемое "отрицательное право" составляло крупный спорный вопрос в борьбе между аристократией и демократией. На прошение, поданное летом 1763 года группой граждан "малому совету" по делу Руссо, было сначала отвечено туманными, ничего не говорящими объяснениями; но граждане не успокаивались, и прошения их становились все настойчивее. Правительство стало давать все более грубые ответы, так что граждане, наконец, увидели себя вынужденными поставить на очередь вопрос: "намеревается ли "малый совет" отвергать всякое прошение, не предлагая его на рассмотрение общего собрания граждан, то-есть, фактически отменить право петиций". Этим самым дело Руссо выросло в жгучий спорный вопрос внутренней политики Женевы; имя Руссо стало знаменем, под которым собирались классы и группы, требовавшие восстановления старых демократических прав. Это были: небольшая фракция высшей буржуазии, многочисленный средний класс населения и народные массы; кроме того, часть интеллигенции и, прежде всего, затронутые новыми идеями терпимости и склонявшиеся в сторону либерального протестантизма молодые пасторы. Против Руссо выступили консервативные власти: "малый совет", представленный членами аристократических фамилий, и большая часть "большого совета двухсот", т.-е. высшая буржуазия и большинство пасторов.

С первого момента осуждения наиболее пылкие демократы среди женеvских друзей Руссо стали настаивать на том, чтобы он не уклонялся от суда, а явился в Женеву и там выжидал хода событий. Цель их заключалась в том, чтобы он или послужил делу демократии в роли мученика, или стал бы во главе граждан в роли вождя.

Руссо упорно отнекивался; сначала он даже отказывался каким бы то ни было образом вмешаться в конфликт, который фактически только

благодаря ему получил остроту. Он в этом поступал согласно своему убеждению, что высшее благо жизни не свобода, а мир, и что самая свобода не стоит того, чтобы из-за нее проливалась кровь. Это убеждение, конечно, было связано с его крайним нерасположением к действию, находившимся в весьма странном противоречии со смелостью его умозрительных выводов. Вдобавок, он чувствовал отвращение к гражданским раздорам и даже когда-то поклялся никогда не вмешиваться в подобные вещи. Однако обстоятельства вовлекли его в борьбу против его воли и его склонностей.

Как со стороны "петиционеров", так и со стороны их противников появилось уже несколько политических памфлетов, когда в борьбу вмешался обер-прокурор Троншен, брат уже упомянутого врача. В полемической статье "Письма из деревни" он ловко указал на опасность, которую сочинения, подобные "Эмилю" и "Общественному договору", представляют для протестантской церкви и для формы правления Женевы. Он пытался доказать, что Руссо был справедливо осужден и что "малый совет" имеет право бросать в корзину любое прошение. Эта статья нанесла большой ущерб делу демократов. В их рядах был только один человек, способный уничтожить автора "Писем из деревни" силой своей аргументации, своими познаниями и своим талантом. Это был Руссо. Его единомышленники чувствовали это, хотя и сами делали все, что могли. Они набросали ответ Троншену и попросили Руссо обсудить его вместе с ними; Руссо согласился, и летом 1764 года он встретился с демократическими вождями на тайном совещании в Тононе, на другом берегу Женевского озера, для обсуждения плана ответа, который ему не особенно нравился. Он им не сказал, однако, что сам уже втихомолку приготовил ответ. Совершенно неожиданно как для друзей, так и для врагов к концу года появились "Письма с горы"; тайна была сохранена до последней минуты.

"Письма с горы" являются полемическим шедевром Руссо; это в то же время сочинение, в котором он направляет свои удары не столько против правительственного произвола, гнета духовенства и нетерпимости вообще, сколько против определенной церкви—кальвинистской и определенного правительства—аристократического правительства Женевы. В двух письмах он опровергает утверждения Троншена, касающиеся опасности "Эмиля" и "Общественного договора"; с этой целью он дает подробный анализ обоих произведений. В трех письмах он доказывает незаконность своего осуждения и при помощи нескольких примеров, заимствованных из женевского законодательства, указывает путь, который собственно предписывается законом. Два следующих письма представляют, главным образом, критическое исследование чудес и веры в чудеса, в двух других он рассматривает состояние женевской республики и политический вопрос дня, "отрицательное право". Это рассмотрение послужило Руссо поводом к блестящему историческому исследованию: в нем он показал, как городская аристократия, не меняя формы правления, лишила с течением времени граждан их старых прав и завладела всецело государственной властью.

В "Письмах с горы" было достаточно горячего материала, чтобы зажечь пожар по всей Женеве. Руссо объявил себя приверженцем истинного протестантизма; он обвинил протестантское духовенство в том, что оно своей узостью, нетерпимостью и формализмом изменило истинным принципам реформированной религии. Принцип этой религии, по его мнению, заключался ни в чем ином, как в возможно большей свободе критики и исследования. "Когда реформаторы отреклись от римской церкви... их спросили, на основании какого авторитета они отказываются от старой веры; они ответили: на основании собственного авторитета, авторитета своего разума... Единственное, что их связывало между собою, было то, что каждый признавал другого полномочным судьей над собою... Свободное толкование писания дает каждому не только право верить по собственному разумению, но и право сомневаться в том, что кажется ему сомнительным, и находить непонятным то, чего он не понимает". Так Руссо поставил свободу индивидуума в духовных вопросах выше авторитета церкви и решений синода. Эта современно-индивидуалистическая точка зрения, конечно, должна была или побиться победы путем долгой борьбы в недрах самой церкви против церковной власти, или повести к выходу из церкви; правоверные пасторы объявили ее гнусной ересью.

Не менее горячо Руссо нападал в "Письмах с горы" и на политическую власть. Он обвинял членов "малого совета" в деспотизме; он упрекал их в том, что они незаконным образом соединяли в своих руках функции законодательные и исполнительные и никому не давали отчета в своих действиях. Он резко выступил против аристократической партии. "Все,—писал он,—что производится путем подкупов и интриг, делается преимущественно в интересах правящих лиц, да иначе оно и не может быть. Хитрость, предрассудки, эгоизм, страх, надежда, тщеславие, видимость порядка и дисциплины, все это ловкие люди, пользующиеся властью и владеющие искусством обманывать народ, обращают в свою пользу. Если дело идет о том, чтобы пустить в ход ловкость против ловкости, связи против связей, насколько в маленьком городе выгоднее положение первых родов, которые для достижения господства всегда вступают в союз с себе подобными, с друзьями, со своими фаворитами и креатурами и соединяются с советом, чтобы разбить простых граждан, выступающих против них". Этой властолюбивой и себялюбивой аристократии, опирающейся на чернь, он противопоставил средний класс, широкие слои населения, "выступающие против правителей, на защиту законности". "Во все времена эти слои являлись промежуточным звеном между богатыми и бедными, между стоящими во главе государства и народными массами. Этот класс, состоящий из людей, приблизительно равных по размерам состояния, по положению и образованию, не стоит ни настолько высоко, чтобы предъявлять притязания, ни настолько низко, чтобы ему нечего было терять. Крупный, общий интерес этих людей требует исполнения законов, уважения к властям, сохранения конституции и спокойствия государства. Это самая здоровая часть республики, единственная, о

которой с уверенностью можно сказать, что она в своем поведении руководится только интересами общего блага. Поэтому она в своих общих выступлениях всегда проявляет приличие, умеренность, почтительную твердость и непоколебимость людей, отдающих себе отчет в своих правах и следующих долгу". Эти широкие слои граждан он призывал к борьбе против нахальной и тиранической аристократии за сохранение своих старых прав. "Но вы, граждане небольшого государства, не сделаете и шагу, не почувствовав всей тяжести ваших цепей. Родственники, друзья, шпионы ваших господ будут господствовать над вами более их самих. Вы не осмелитесь ни защищать ваши права, ни требовать того, что вам надлежит, из боязни нажать себе врагов... Вы будете чувствовать одновременно и политическое, и гражданское рабство, вы едва осмелитесь свободно дышать". Тем, которые видели опасность для государства, опасность распущенности и анархии в случае частого созыва общего собрания граждан, Руссо напоминал, что решения общих собраний во все времена были исполнены мудрости и смелости и никогда не грешили опрометчивостью и трусостью. "Там иногда раздавались клятвы умереть за отечество, но я предлагаю вам указать хотя бы один случай, когда они легкомысленно раздражали соседние государства или ползали перед ними... Этого, по моему мнению, нельзя сказать о решениях "малого совета".

Никогда еще у Руссо не проявлялись так сильно упорная гордость мещанина и непреклонная воля удержать приобретенные права и противиться несправедливому угнетению. Никогда "он не удалялся настолько от своей мечты и от теории и не пускался так далеко в область реальной жизни. Никогда он не настаивал так страстно и воодушевленно на определенных совместных действиях.

Но те самые люди, которые неустанно убеждали его стать во главе борющихся, испугались теперь смелости его выступления. "Письма с горы" вызвали бурю в Женеве и за пределами ее. Правящий класс со своими прихвостнями, а также вся пасторская клика встали против Руссо, как один человек. Книга подверглась публичному сожжению в Париже (одновременно—о, ирония судьбы!—с философским словарем Вольтера), потом в Гааге и в Женеве. Самые пламенные почитатели Руссо и самые верные друзья его поколебались, Мульту, ученик, писавший ему когда-то: "Дорогой учитель, я хочу попытаться пойти по стопам Иисуса Христа и по Вашим", теперь изливался в горестных восклицаниях: "Ваша книга—это плач героя, но какое действие она окажет? Бог знает, придется ли вам за нее заплатить слезами, или отечество воздвигнет вам алтари"? Г-жа де-ла Тур писала письма, полные сомнений и озабоченности. Аббат де Мабли, один из старейших литературных друзей Руссо, в некоторых отношениях сходящийся с ним во взглядах, хотя и бывший гораздо радикальнее его в экономических вопросах — в нем были несомненные социалистические наклонности — выразился в частном письме так грубо-отрицательно и оскорбительно об авторе "Писем" ("в конце концов, он все-таки своего рода шут. Что он, Герострат, сжигающий храм в Эфесе? Или Гракх?"), что Руссо, качая головой, сказал: "Не может быть, чтобы это письмо написал

Мабли!" и решительно отказался поверить в его авторство. И так дела шли дальше; весь мир был против него.

Почему же на него нападали со всех сторон? Почему его друзья приходили в такое смущение и стыдились его? Откуда это всеобщее негодование, этот гнев у людей, так восхищавшихся страстными тирадами его второго "Рассуждения"? — Потому что он в "Письмах с горы" проповедовал классовую борьбу, не абстрактно и теоретически, как в "Общественном договоре", а реально и конкретно, борьбу малых против великих мира сего. И поэтому эти великие видели в нем опасного человека.

Для человека с острым и блестящим умом, с мелкой и низкой душой, пожелтевшего и высохшего от зависти, для Вольтера это было удобным случаем излить на него потоки ненависти и зависти, желанным поводом, низко и предательски обрушиться на него.

Нельзя сказать с достоверностью, принимал ли Вольтер уже и раньше участие в официальном и официозном походе против Руссо. Доказательств этому нет, и сам он впоследствии клятвенно отрицал это, что, конечно, ничего не доказывает. Точно так же ничего не доказывает и тот факт, что Вольтер дал понять преследуемому и отовсюду изгоняемому Руссо, что его встретят с открытыми объятиями, если он пожелает искать прибежища в Фернее. Ибо, во-первых, ему очень нравилось играть роль "покровителя угнетенных", а затем, какой сладостной мезью было бы для него, если бы Руссо явился в Ферней в роли просителя, вынужденного искать у него покровительства. Может быть, для Вольтера было разочарованием и новой причиной неприязни к Руссо, когда последний предпочел искать убежища на землях короля прусского, а не в поместье Фернейского патриарха. Но главной причиной его ненависти была все-таки все растущая знаменитость Руссо. Вольтера снесла зависть к великому сопернику.

"Новая Элоиза" и "Эмиль" вознесли Руссо на степень звезды первой величины, сиявшей так же ярко, как и звезда Вольтера, но более мягким и теплым светом. Вольтер был признанным вождем и важнейшим пропагандистом в стане буржуазно-революционной интеллигенции в ее борьбе против церкви, против ее власти и ее догматов, а также и против того, что называлось "злоупотреблениями" абсолютизма и феодализма. Он был помощником и покровителем всех пострадавших от религиозного фанатизма. Но этим и ограничивались пределы его влияния: никому не пришло бы и в голову искать у него совета и помощи в личных, частных делах.

Руссо был столь же прославленный писатель, как и Вольтер, но и еще нечто иное, нечто большее: он был апостол нового жизне- и мирозерцания. Провозглашенные им идеалы затрагивали почти все жизненные отношения. Таким образом его влияние простиралось на все сферы: оно сказывалось в сфере политической и религиозной жизни, в сфере труда и семьи. К нему обращались со своими сомнениями и нуждами все беспокойные и ищущие души, какими так изобилует всякое переходное время; он стал светским духовником, жизненным образцом

для многих.

Конечно, окружавшая Руссо атмосфера таинственного и необыкновенного еще усиливала интерес публики к великому писателю. Все в нем обращало на себя внимание и вызывало удивление; то, что он предпочитал бедность зависимому положению, что он упорно отвергал все, к чему стремились все другие: деньги, покровительство и почет, положение в обществе и светские развлечения; то, что он пренебрежительно относился к литературе, которой посвятил свою жизнь и которой был обязан своей славой, что он вел замкнутую жизнь в уединенной горной долине, бродя одиноко среди пустынной природы, что он так странно одевался, что он в письменных сношениях пренебрегал общепринятыми формами. И в довершение всего, с тех пор, как он стал жертвой жестоких, несправедливых преследований, его окружал мученический венец, которому больше всего и завидовал живший комфортабельно в своем роскошном княжеском дворце Вольтер. Ореолу мученичества Руссо был обязан не только поклонением, но обожанием со стороны, главным образом, женщин и юношей, вообще всех чувствительных натур. Половина Европы была у ног Вольтера, но тысячи людей хранили в сердцах своих образ Руссо, как нежно почитаемого святого.

Со всех сторон его осаждали письмами; если ему случалось отлучаться на пару дней, то гряда накопившихся за время его отсутствия писем становилась так велика, что он едва справлялся с нею, а большие почтовые расходы были ему весьма неприятны. Уже самое чтение писем было для него мучением, еще большим мучением отвечать на них. Многие писали ему только из потребности высказать ему свое восхищение перед его сочинениями, считая это восхищение столь же важным, как и самые сочинения. Иногда он отвечал каким-нибудь неприятным выпадом, иногда едкой насмешкой, что было, должно быть, не особенно приятно его нескромным корреспондентам. Другие рассуждали в письмах о религии; большинство просило у него советов во всякого рода личных делах. Какой-то принц хотел воспитать своего еще неродившегося ребенка по принципам "Эмиля" и надоедал Руссо всеми деталями устройства комнаты родильницы. Какой-то юноша хотел отделиться от своей матери и отказаться от титула и имущества, чтобы жить ремесленным трудом. Непонятая женщина искала у Руссо душевной опоры. Руссо в своих советах всегда призывал к умеренности, пытался удерживать людей от крайних действий, от всякого резкого разрыва с существующими условиями. Он советовал каждому держаться своей религии и своих условий жизни, вести простую и чистую жизнь и делать по возможности больше добра; он все снова и снова пояснял, что нельзя и не следует буквально следовать плану воспитания "Эмиля"; он этим планом хотел только наметить общее направление, какого должно держаться воспитание.

В многочисленных его письмах и советах нет и намека на пылкий фанатизм основателя секты, желающего навязать своим ученикам определенные формы жизни и определенный образ мыслей. Напротив,

ничто не пугало его так, как экзальтированное воодушевление, необдуманно стремящееся претворить его идеи в дела. Такое его отношение определялось больше всего жизненной мудростью знающего свет, много испытавшего и много страдавшего человека; но к этому надо прибавить еще и социальный консерватизм боязливого мещанина и страх прирожденного мечтателя перед непоправимостью действия.

Кроме писем, Мотье осаждалось и посетителями. В течение летних месяцев Руссо ни одного дня не был гарантирован от нападения; "они являются уже не по двое и трое, как в Монморанси, а целыми ватагами в семь и восемь человек", жаловался он. В отдаленной деревне не легко было избавиться от непрошенных гостей, им надо было найти приют, и они часто оставались по нескольку дней. И что это были за люди! В самых редких случаях это были родственные по духу почитатели, люди со вкусом и образованием, но большей частью являлись к нему просто любопытные, едва знакомые с его сочинениями, но желавшие посмотреть на странного зверя, так много заставившего о себе говорить. Эти посещения так раздражали Руссо, что он, чтобы избавиться от них, летом возможно больше времени проводил в горах.

Но обратимся к Вольтеру. В одном из своих "Писем с горы" Руссо вывел и Вольтера в роли защитника терпимости и очень забавно потешался над старым насмешником, подражая его насмешливой манере аргументации. Вольтер, подымавший насмех все и всех, конечно, не мог стерпеть насмешек над своей собственной личностью, и менее всего со стороны Руссо. Вскоре после появления "Писем с горы" он дал исход своей зависти и жажде мести в анонимном пасквиле, одном из самых, грязных произведений, когда-либо продиктованных литературной завистью и уязвленным тщеславием. В этом памфлете, носящем заглавие "Чувство граждан", мы читаем: "Не ученый ли это, выступающий против ученых? Нет, это сочинитель оперы и двух провалившихся комедий. Не добродетельный ли это человек, введенный в заблуждение ложным усердием? Нет, это человек, еще носящий на своем теле роковые следы своего распутства, человек, в костюме ярмарочного коммивояжера, таскающий за собою из деревни в деревню несчастную женщину, смерть матери которой лежит на его совести и детей которой он подкинул к дверям приюта, отвергнув предложение сострадательной души, желавшей взять на себя заботу о них, и тем погрешив против всех естественных чувств, как он погрешил и против чести и религии... Обратимся к тому, что особенно близко нашему сердцу, к нашему городу, в котором он собирается зажечь мятеж, потому что ему пришлось иметь дело с правосудием... Не желает ли он, чтобы мы вцепились друг другу в горло, потому что в Париже и Женеве подверглась сожжению скверная книга?.. Не желает ли он ниспровергнуть нашу конституцию, изображая ее в искаженном виде, как он пытается ниспровергнуть христианство, последователем которого он осмеливается объявлять себя? Пусть будет с него достаточно предостережения, что город, в который он хочет внести волнение и беспокойство, с отвращением отрекается от него. Если он думал, что мы схватимся за оружие в защиту его романа "Эмиль", то он

может занести эту мысль в число своих чудачеств и глупостей. Пусть ему внушат, что можно отнестись милостиво к богохульствующему автору, но что низкого подстрекателя наказывают смертью".

Представьте себе Вольтера, этого защитника религии и нравственности, подстрекающего власти к вынесению позорного смертного приговора человеку, всего только высказавшему свое мнение, Вольтера, этого семидесятилетнего прославленного и обожаемого корифея литературы, унижающегося до мелкой низости подобного памфлета! Вполне понятно, что Руссо, несмотря на свое болезненное недоверие ко всему, что исходило от Вольтера, ни одной минуты не мог считать его автором этих грязных намеков, клеветы, извращений и трусливых науськиваний. Он приписывал их другому, пастору Верну, с которым он раньше был очень дружен; и в этом его нельзя было разубедить, сколько тот ни уверял его в своей невинности.

Пасквиль Вольтера, брошюра в семь или восемь страниц, получил широкое распространение, между прочим, и среди населения Мотье. Подобные бессмысленные обвинения, как то, что Руссо был повинен в смерти матери Терезы (отдаленный отголосок старой болтовни Дидро), или упрек в том, что он отверг своих детей (самое уязвимое место в его жизни), были как раз приспособлены к тому, чтобы произвести впечатление на ограниченные крестьянские умы. Наряду с его свободным сожительством с Терезой, ставшим тем временем известным, они, конечно, служили превосходным средством, чтобы представить этого пропагандиста гражданской честности и семейственности лицемерным злодеем и каким-то чудовищным выродком. Человек, нападающий на церковные установления, отрицающий веру в чудеса и откровение, ведущий безнравственную жизнь и отвергающий своих детей, живущий в свободной связи со своей домоправительницей, должен был казаться правоверным обитателям деревушки воплощением дьявола. В деревне поваяло враждебным духом, становившимся в течение 1765 года все заметнее: Тереза, к которой деревенские женщины вначале относились дружелюбно, теперь встречала со всех сторон насмешки и брань. Руссо сам во время своих прогулок, вместо прежних дружеских приветствий, слышал только оскорбления, проклятия и угрозы, что его подстрелят. Рассказывали про него, что он на своих ботанических экскурсиях собирает зловредные травы, чтобы травить людей и зверей; говорили, что он не признает души у женщин; его называли антихристом. На г-жу де-Верделен, посетившую его в Мотье, враждебное настроение жителей произвело такое сильное впечатление, что она стала заклинать Руссо бежать в Англию и попросила Давида Юма найти ему там прибежище.

Конечно, пасквиль Вольтера был не единственной причиной враждебности населения, не мало этому содействовал и шум, поднятый пасторами. После появления "Писем с горы" Руссо почувствовал власть протестантской организации. "Достопочтенный класс", т.-е. собрание Нейенбургских пасторов, обратился к совету княжества с просьбой издать постановление о преследовании "Писем" и их автора и приказал пастору деревни Мотье вызвать Руссо в церковный совет с целью

исключения его из церкви. Монмоллен, добродушный, любезный и пользовавшийся всеобщей симпатией, но слабый и легко поддающийся влиянию человек, попытался уладить дело мирным образом; он попросил Руссо, во избежание скандала, добровольно не являться к причастию в ближайший праздник Пасхи. Руссо решительно отклонил это предложение; он считал себя добрым протестантом, следовательно, имел полное право явиться к причастию. К этому присоединилось его упрямство; его воля, такая слабая, когда дело шло об активных действиях, была безгранично сильна в пассивном сопротивлении, никакие земные силы не могли его побудить к уступке, когда он не хотел. А уступка в данном случае казалась ему трусостью; он хотел ясного и определенного решения: или совершенного исключения или допущения на основании права. Владелец Мотье тоже попытался побудить его дать объяснение, которое бы успокоило "достопочтенный класс". Напрасно, Руссо не желал давать никаких объяснений, кроме одного: "он желает и впредь своими чувствами и поступками свидетельствовать о том счастье, какое дает ему принадлежность к церковной общине". После такого объявления, конечно, оставалось только предоставить дело его естественному течению.

Руссо был вызван в церковный совет, состоявший из шести крестьян. Он заранее составил свою защитительную речь и выучил ее наизусть; но в назначенный день от волнения все позабыл. Он послал в церковный совет свое письменное объяснение, в котором, между прочим, объявлял, что одному богу надлежит судить о его верованиях. Голоса разделились поровну: присутствовавшему владельцу имени удалось добиться, чтобы дело было передано светским властям. Нейенбургские власти получили свыше приказание противодействовать настояниям пасторов; кроме того в совете княжества заседали и некоторые друзья Руссо; совет не признал его дело подсудным церковному совету и разрешил новое издание "Писем с горы". Перед суровым приказом Фридриха II пасторы смирились, "достопочтенному классу" пришлось ограничиться протестом против нарушения князем прав церкви и "предоставить Руссо его заблуждениям".

Руссо победил, но какою ценой! Деспотизм, к тому же еще деспотизм иностранного властителя, принял его под свою защиту против законной демократии церковной организации, к которой он принадлежал добровольно; право сильного, которое он не признавал за право, поддержало его против воли народа, которая, как он некогда писал, не может ошибаться. Его индивидуализм, его стремление к свободе, его непоколебимая преданность тому, что он раз признал за истину, его гордая непреклонность, лучшая черта его природы, привели его к конфликту с демократическим принципом, которому он поклонялся всю жизнь. Это был трагический конфликт, ибо он был неизбежен и вызван не без его вины.

С тех пор, как "Письма с горы" подняли против него эту бурю, он словно потерял почву под ногами. Он весь был непостоянство и колебание, как свидетельствуют относящиеся к тому времени письма его. Он ни в каком случае не хотел больше отвечать и хотел продолжать

полемику; он хотел уехать и хотел остаться; близость Женева беспокоила и давила его; он искал в окрестностях другого места жительства, но не находил ничего подходящего; он подумывал о том, чтобы переселиться в Венецию; "я не прочь поискать в Италии более мягкой инквизиции и более мягкого климата"—шутка, которую он повторял всем своим друзьям; — он думал об Англии, о Потсдаме, о Корсике, куда его почитатели приглашали его, чтобы набросать проект конституции для острова. Иногда он подшучивал над сожжением всех его книг. "Во всем этом сжигании столько нелепого и глупого, что для того, чтобы возмущаться этим, надо быть еще большим ребенком, чем те, кто это делает". Иногда он признавался, что чувствует себя глубоко потрясенным и несчастным. "Моя нравственная жизнь кончилась,—писал он в феврале,— "лучшая часть моего "я" умерла; люди больше не могут мне причинить зла, и я смотрю на всех этих варварских магистратских чиновников только еще, как на червей, "вторым поставляет удовольствие точить мой труп". Но затем в нем снова пробивалась его мужественность, старая, глубоко коренящаяся сила его существа, его боевая натура. "Вы, милостивый государь,—писал он в марте,—свидетель моего миролюбия и радости, с какой я сложил оружие. Но если меня заставят опять за него ухватиться, я возьмусь за него, ибо я не хочу дать себя победить, это мое непоколебимое решение".

Так душа его колебалась из стороны в сторону; его мучила изматывающая нервы неуверенность, являющаяся уделом человека, сдавленного обстоятельствами, из которых он не видит выхода. В конце концов он решил, вопреки всем советам, остаться в Мотье, пока буря не уляжется; при всем своем бессилии и своей подавленности, он должен был противостоять, он не мог поступить иначе, уступить было для него совершенно невозможно.

Монмоллен, которого натравливали на Руссо из Женева, выступил теперь против него решительно и в выпущенной брошюре обвинил его в нарушении обещания, на основании которого он допустил его к святому причащению; Руссо ответил длинным, предназначенным для общего сведения, письмом к своему другу дю-Пейру. Последовало еще несколько брошюр; с обеих сторон было пущено в ход много личного; вся местность пришла в волнение. Первого сентября пастор объявил с кафедры, что он покинет общину, если власти не переменят своего образа действий; в своей проповеди он очень резко выступил против Руссо. Это довело разгоряченные умы до точки кипения. Неделию спустя после этой проповеди—был как раз храмовой праздник—ночью дом Руссо бомбардировали камнями; один камень, пробив стекла галлерей, попал к нему в спальню; вызвали владельца поместья, и у двери был поставлен караул для охраны дома.

На следующий день Руссо покинул Мотье: исход борьбы был решен, пасторы победили при помощи темной и невежественной толпы. Да и совершенно нельзя было ожидать, чтобы дух свободомыслия мог противостоять церковной демагогии среди отсталого сельского населения.

Совершенно не думая о том, что бернский сенат три года тому назад воспретил ему въезд в пределы городской области, Руссо из Мотье отправился на остров Сен-Пьер на Бильском озере, принадлежавший тогда (да и теперь еще) бернскому госпиталю. Однажды, на одной из своих экскурсий, он посетил этот остров, который по своей пышной растительности и царившему на нем миру показался ему земным раем. Его сердце так устало, устало от борьбы и от людей. Он жаждал покоя, больше он ничего не хотел.

С тех пор, как дом его в Мотье подвергся бомбардировке камнями, он никогда больше не желал ничего, кроме мира и забвения; никогда больше он не подымал голоса за идеалы права и свободы; любовь к товарищам, потребность жить и умереть за благо человечества никогда больше не загорались в его груди ярким пламенем. Его сердце никогда больше не обращалось к людям: народная ненависть, которую ему пришлось испытать на себе, порвала эту связь.

Он лелеял мечты, и они разрушились; он боролся, и во всем потерпел неудачу. Он один среди неверующих провозглашал веру в бога, и его изгнали, как богоотступника. Он ставил выше всего законность и призывал к миру; теперь его называли бунтовщиком, подстрекавшим народ к гражданской войне. Он восхвалял свой родной город, как прибежище справедливости, он ставил в образец другим государствам его установления и славил разум и мудрость отцов города; теперь эти установления обратились против него, отцы города осудили его несправедливо, а город, к которому он никогда не приближался без сердцебиения, покрыл его позором. Всю свою жизнь он был другом бедных, простых и униженных, им он отдавал всю нежность своего сердца; он дрожал от гнева при виде обид, наносимых им; как никто другой, он с едкой остротой бросал обвинения в лицо угнетающим их сильным мира сего; теперь эти малые камнями прогнали его из своей среды, как бешеную собаку. Что ему еще делать на земле? Жить дальше казалось ему бесцельным.

Пятнадцать лет еще он прожил после этого удара; природа и милые сердцу воспоминания еще были для него источником радости; душа его еще была восприимчива ко многим чувствам и многим впечатлениям, и давать им выражение на бумаге доставляло ему радость; он написал еще два мастерских произведения, "Исповедь" и "Грезы". Но нравственная его сила была навсегда сломлена. Высокие идеи, восхищавшие его, державшие в крайнем напряжении все силы его существа, улетучились; его мысли и чувства были еще только заняты им самим; он углубился в мрачные размышления о несправедливости, жертвой которой он стал, он, невинный, желавший только добра,—он копался в своих мрачных мыслях, пока они, выросши до чудовищных размеров, не заполнили все уголки его сознания; безвольный, потерявший мужество и надежду, бессильный, он отдался в руки врага, уже давно подстерегавшего его в темных глубинах его существа,— сверлящей мозг, подтачивающей тело и душу меланхолии. Но раньше, чем наступили годы помрачения рассудка и бесцельного блуждания, в душу его еще раз запал мягкий луч счастья:

это было пребывание на Сен-Пьер, этом очаровательном острове на очаровательном озере. словно огромная зеленая черепаха, остров подымается из воды; вершина холма покрыта высоким, густым лиственным лесом, состоящим из дубов, буков, каштановых и ореховых деревьев и перемешанным с исполинскими елями и вечно зеленым кустарником; по склонам его тянутся кверху фруктовые сады, а внизу, по побережью, расстилаются пышные луга. Весной сотни деревьев покрываются нежными цветами, а из травы выглядывают бесчисленные белые и желтые звездочки; осенью среди ветвей горят на солнце зрелые, золотисто-красные плоды. Воздух напоен ароматом цветов и острым запахом еловой смолы, наполнен чириканьем птиц и жужжанием бесчисленных насекомых. Все дышит красотой и райским изобилием, все дает наслаждение внешним чувствам и душе.

На острове только один дом; он расположен у подошвы фруктовых садов, среди лугов, у входа в тянущуюся до песчаного берега аллею гигантских тополей, густо обвитых плющом. В этом доме живет управляющий со своей семьей, и теперь еще, как тогда, почти полтора года тому назад, когда Руссо, побежденный, усталый борец, поселился там. Чувство безграничной усталости овладело им; душа его, казалось, забыла все и была счастлива в этом забвении; он не интересовался борьбой и раздорами, царившими в мире, не хотел о них знать. Книги и бумаги его, привезенные Терезой, лежали нераспакованные. С книжкой Линнея под мышкой он бродил по лесам и полям, наблюдал, сравнивал и разбирает растения; он как раз тогда начал изучать органы оплодотворения растений и приходил в восторг от этого чуда. Иногда он брал лодку и, лежа на дне ее, часами качался в ней по волнам, без единой мысли в голове, погруженный в смутные, счастливые грезы; или греб, двигаясь вдоль берега, и купался в прозрачной воде. Иногда он присоединялся к управляющему, совершавшему свой обход по полям и пашням, или помогал в фруктовом саду собирать осенние плоды. По вечерам он отыскивал на берегу уединенное местечко и просиживал там, мечтая, пока ночь не спускалась на землю; прибой волн и журчанье воды убаюкивали его, наполняя все его существо чувством сладостного покоя; он испытывал блаженство жизни, протекающей в полном бездействии, без мыслей и желаний, без опасений и надежд. Впоследствии, когда он возвращался памятью к этим дням, ему казалось, что никогда во всей своей жизни он не испытывал такого совершенного, такого невозмутимого счастья. Время теряло свою реальность, минуты незаметно сливались с минутами без всякого другого содержания, кроме простого ощущения бытия; в этом душа его находила блаженство, казалось, она довлела сама себе, как божество.

Два месяца длилось это блаженство, потом люди разбили хрупкие стены этой нирваны, в которую укрылась душа его.

Он думал, что бернское правительство молчаливо мирится с его пребыванием на острове Сен-Пьер, что оно решило оставить его в покое; он казался себе таким безвредным, до такой степени далеким от всех теологических и политических споров и раздоров. Может быть, думал он,

его враги рады тому, что он выбрал убежищем забытый остров; может быть, они хотят навсегда удержать его там в пленении. Он надеялся на это так горячо, как никогда ни на что не надеялся. У него было одно желание: до самой смерти прожить в этой благоухающей Аркадии, в этом уединении, полном цветов и шопота деревьев.

И вдруг получился приказ сената в двадцать четыре часа покинуть область города Берна; снова он изгонялся, благородный, смертельно-раненый олень!

Куда? Он направился в Страсбург, рассчитывая оттуда поехать в Потсдам, но в конце концов испугался путешествия; он чувствовал себя разбитым и обессиленным, "хотя и был рад", как он писал по прибытии в Страсбург, "очутиться снова среди людей, а не среди диких зверей, как в Швейцарии". Он встретил сердечный прием; в честь его поставили "Деревенского пророка". Но он не мог оставаться в Страсбурге. Его друзья, и больше всего г-жа де Буффлер и г-жа де-Верделен, горячо уговаривали его поехать в Англию, бывшую тогда вместе с Пруссией прибежищем для свободомыслящих людей. Лорд Кейт отсоветовал ему приезжать в Берлин; этот совет был для него решающим. Он порешил выселиться в Англию и обратился к Юму, который уже не раз предлагал ему свою помощь. Его друзья доставили ему охранное письмо для проезда через Францию. 16-го декабря он прибыл в Париж, где оставался месяц; для большей безопасности он поселился в Темпле, квартале, пользовавшемся правом неприкосновенности и принадлежавшем принцу Конти. Он мало показывался публично, но принимал много посетителей; с раннего утра и до позднего вечера он ни одной минуты не был один; он находил это ужасным. "Никогда я так не страдал", писал он. Получив предостережение от правительства, Юм ускорил приготовления к путешествию. 17-го января 1766 г. они отправились, в сопровождении третьего спутника, через Кале в Лондон. Он думал, что его странствования окончатся этим; но случилось иначе. В течение четырех лет, до возвращения в Париж, он бродил с места на место, нигде не находя покоя, все снова и снова гонимый, уже не декретами правительства или камнями крестьян, а болезненным страхом и мучительными навязчивыми идеями, вызванными в его бедном, больном мозгу потрясениями последних лет.

Для Вольтера и Монтескье, несмотря на все несходство их натур, сходящихся с Руссо в том, что и они являлись выразителями стремлений буржуазных классов второй половины XVIII столетия к новому порядку вещей в области политической, социальной и религиозной, для них пребывание в Англии было во всех отношениях плодотворным. Оно углубило их философские и расширило их политические взгляды, укрепило их энергию и оживило их боевой пыл. На Руссо же его полторагодичное пребывание в Англии сказалось только тем, что значительно усилило его нервную и душевную болезнь. Но и как различны были, обстоятельства, при которых они посетили Англию Монтескье и Вольтер во время своего посещения этой страны обладали еще в достаточной степени молодостью и приспособляемостью, чтобы воспринять в себя элементы чужой

культуры, и вместе с тем были достаточно зрелы, чтобы отдать себе ясный отчет, в чем эта культура отличалась от культуры их родной страны. Оба они питали величайший интерес ко всем проявлениям общественной и умственной жизни в стране, во многих отношениях олицетворявшей их политические и социальные идеалы. Оба они знали язык, и хотели его знать, основательно, чтобы войти в возможно более тесное общение с открывавшимся перед ними новым миром, чтобы воспринять в себя дух, идеи, установления и нравы этого мира. У обоих жизнь еще долгое время двигалась по восходящей линии.

Жизнь Руссо в то время, когда он нашел прибежище в Англии, напротив, вступила в период заката. Его энтузиазм к общественной жизни угас, его мужество было сломлено; в нем не было больше никаких желаний, кроме жажды покоя. Он раньше несколько раз пытался изучить английский язык, но с весьма слабым успехом. Во время пребывания в Англии он, повидимому, не давал себе ни малейшего труда овладеть языком; по прошествии нескольких месяцев еще он говорил, что знает только несколько слов. Таким образом он был как бы совершенно изолирован и не способен к какому бы то ни было умственному общению с людьми, среди которых жил. Я то обстоятельство, что эта изолированность была не добровольной, а вынужденной, должно было вызывать в нем чувство покинутости.

Но это было еще не худшее. Не быть в состоянии объяснить неприятно и тягостно; но ничего не понимать из того, что другие говорят, это для человека, склонного к подозрительности, хуже всего, что только может быть; ему постоянно кажется, что о нем говорят дурно или что над ним насмеются; он не может иначе, он не доверяет никому и ничему. Руссо, в уме которого подозрительность выросла до необычайных размеров, раздражался до бешенства тем, что не понимал, что вокруг него говорили; им овладела безумная идея, что весь английский народ конспирирует против него.

Незнание языка, конечно, делало его в значительной степени зависимым от Юма, который не только являлся его проводником и защитником, но фактически был единственным связующим звеном между ним и внешним миром. Чувство досады на эту зависимость, по всей вероятности, и без того скоро омрачило бы их отношения; отдалиться до такой степени во власть другого человека было противно натуре Руссо. Во всяком случае эти отношения требовали много такта и снисходительности со стороны Юма. Но Юм не обладал тактом; это видно из того, с каким удовольствием он наставлял и опекал Руссо в присутствии посторонних. Он и Руссо совершенно не подходили друг к другу. Крайняя нечувствительность и флегматичность самодовольного шотландского философа должны были действовать отталкивающим образом на раздражительного и чрезмерно чувствительного поэта; с другой стороны, невоздержные вспышки Руссо должны были быть мало симпатичны Юму, они казались ему ребяческими. Насколько они были чужды друг другу, видно, между прочим, из одного факта, который Руссо после разрыва с Юмом производил впечатление прочих "доказательств"

от "предательства": когда Руссо однажды, в минуту сильного душевного волнения, со слезами бросился на шею Юму, тот в виде единственного ответа несколько раз успокоивающе похлопал его по плечу, повторяя: "Но, дорогой сэр, дорогой сэр!" Скептическому шотландцу подобная сцена была, по всей вероятности, в высшей степени неприятна.

Это несходство натур приносило с собой много такого, что должно было возбудить в Руссо, принимая во внимание его характер, недоверие к Юму.

Еще в бытность Руссо в Париже в тамошних салонах циркулировало письмо, которое якобы написал ему Фридрих, король прусский. Король предлагал знаменитому писателю прибежище в своей стране и кончал письмо следующим образом: "...Если Вы пожелаете, я Вам окажу добро; но если Вы будете упорствовать в отказе от моей помощи, то Вы не можете ожидать, что я стану об этом сообщать кому-либо. Если Вы продолжаете ломать себе голову над тем, как навлечь на себя новые несчастья, то я предоставляю Вам выбор: я король, я могу это Вам устроить совершенно так, как Вам это желательно, и, чего Ваши враги, конечно, не сделают, я перестану Вас преследовать, если Вы больше не ищите славы в преследованиях".

Это письмо нельзя назвать иначе, как неприличной и неуместной шуткой. Если даже допустить, что Руссо был более тщеславен и славолюбив, чем он сам полагал, то все же намек на то, что он просто для собственного удовольствия заставлял себя преследовать чуть что не по всей Европе и подвергался изгнанию то из Франции, то из Швейцарии, рисует автора письма мелочным человеком, исполненным зависти к славе Руссо и не способным видеть его величия и трагичности его судьбы. Этим автором был Гораций Вальполь, бывший тогда в большой моде в парижских салонах; на одном обеде, придя в игривое настроение, он сообщая с другими литераторами сочинил это "потешное" письмо. Руссо увидел это письмо только в Англии. Даже нормальный человек в условиях, в каких находился Руссо, возмущился бы этой бессердечной насмешкой, насколько сильнее она должна была подействовать на чрезмерно возбужденного неврастеника, приходившего в крайнее раздражение по всякому ничтожному поводу. Он считал автором письма д'Аламбера, к которому относился с большим подозрением из-за его интимности с Вольтером, и был убежден, что и Юм приложил к нему руку. Это предположение не совсем было лишено основания; несомненно, что Юм знал об этом письме, и весьма вероятно, что он принимал участие в шутке⁵². Если это действительно так, то со стороны Юма, выражаясь мягко, было весьма некрасиво насмеяться за спиной Руссо над его несчастными обстоятельствами, между тем как в лицо ему он выказывал только восхищение, симпатию и расположение.

Было еще и многое другое, что должно было вызывать подозрения Руссо. Главным своим преследователем и врагом, наряду с прежними друзьями Гриммом, Дидро и г-жей д'Эпине, с которыми он порвал

⁵² Это предполагает и Фаге.

отношения, он считал, конечно, Вольтера и его окружающих. По игре случая у Юма в Лондоне гостил сын доктора Троншена, который, как врач г-жи д'Эпине и Вольтера и как брат обер-прокурора, автора "Писем из деревни", был у Руссо в особом подозрении. Когда Руссо узнал об этом— он тогда был уже не в Лондоне—для него больше не подлежало сомнению, что Юм держит руку его врагов.

Юм сначала устроил Руссо в Чизвике, деревне в окрестностях Лондона; это было против желания Руссо, не желавшего такой близости от столицы. Там к нему присоединилась и Тереза, переехавшая через Ламанш в сопровождении английского писателя Босвелля. Но Руссо хотел быть дальше от города и людей, хотел полного уединения. Ему представлялся выбор между различными местами. После некоторых колебаний он решил принять предложение некоего Девенпорта, приятеля Юма, предоставившего в его распоряжение небольшой замок в Дербишире. Там он мог чувствовать себя совершенно свободным: семья Девенпорта проводила там только несколько недель в году.

В марте Руссо и Тереза поселились на своей новой квартире. Имение лежало в великолепной местности, на склоне холма. Дом был устроен комфортабельно, как все дома в английских поместьях, и произвел на Руссо приятное впечатление. Прогулки в окрестных лесах, лугах и парках были красивы и разнообразны. Он приходил в восхищение от английского пейзажа, представлявшегося ему одним громадным парком, и от устройства имения; он ненавидел вылизанные чопорные сады в стиле Ленотра, ему нравился английский стиль, в гораздо большей степени оставлявший природу нетронутой.

Здесь было уединение, к которому он так стремился; по близости находилась только деревушка Вуттон; ближайший город лежал на расстоянии нескольких часов езды.

Все время года, которое Девенпорт проводил в городе, Руссо и Тереза приходили в соприкосновение только с деревенским пастором и одним, жившим неподалеку, господином, понимавшим по-французски. Один только раз их посетил какой-то землевладелец, имение которого находилось по соседству; Руссо был с ним чрезвычайно вежлив и любезен, как и всегда по отношению к новым, да и к старым знакомым, куда они не вызывали в нем никаких подозрений. С молодой герцогиней Портландской, очень интересовавшейся ботаникой, он совершал длинные прогулки, во время которых они исследовали пышно произрастающие в сырой почве мхи и папоротники.

Но такие посещения были очень редки, большую часть времени Руссо и Тереза были одни. Климат был суровый; весна начиналась поздно, лето кончалось рано, и в течение долгой, темной, одинокой зимы им овладел враг, уже давно его подстерегавший: безумие омрачило его рассудок.

Условия домашней жизни его были весьма неудовлетворительны. Вполне понятно, что выдрессированные английские слуги смотрели на Руссо и Терезу, как на странную пару, и насмехались над ними. Что Тереза не могла с ними ужиться, тоже понятно. Она не привыкла иметь

слуг; она всегда сама все делала в своем хозяйстве; зависеть от чужих слуг, с которыми ей приходилось объясняться жестами, было для нее невыносимо. Руссо писал ей наиболее употребительные, чаще всего встречающиеся в хозяйстве слова; но это не много помогало. Скоро начались ссоры между Терезой и слугами. Должно быть, Тереза сама подавала к ним повод, ее собственные нервы подвергались во всех отношениях большому испытанию, так как состояние Руссо сильно ухудшилось. Понятно, что бедная женщина чувствовала себя страшно одинокой, у нее было только одно желание: "ради бога, прочь отсюда, обратно во Францию"⁵³.

Руссо отправлялся в Вуттон с твердым намерением забыть свет и его борьбой и неприятностями и искать покоя и внутреннего мира. Но одного желания не всегда достаточно, чтобы найти покой и мир, и менее всего, когда нервная система сильно потрясена. У Руссо его врожденная чрезмерная чувствительность и недостаток самообладания значительно ухудшились под влиянием неразумного воспитания, полученного в детстве, и беспорядочной жизни его юношеских лет. Жизнь в Париже, в раздражавшей его несимпатичной обстановке, сильно расшатала ему нервы. Затем последовали годы чрезмерного умственного напряжения и почти непрерывных физических страданий. Обидное поведение г-жи д'Эпине и других его старых друзей, потрясшее нервы бегство после выхода в свет "Эмиля", постоянное возбуждение во время последней борьбы в Мотье, катастрофа, положившая конец его пребыванию там, — все это содействовало окончательному нарушению его душевного равновесия.

К этому присоединилось теперь пребывание в чужой стране, в чуждой обстановке, среди людей, которых он не понимал. В его уединение проникали слухи об упомянутом выше, непонятном для него поведении Юма; он приводил их в связь с некоторыми вещами, уже раньше возбуждавшими его недоверие: какой-нибудь испытующий взгляд, несколько произнесенных во сне слов, ряд мелочей, которые только в больном мозгу могут найти почву. Он знал, что английская пресса, сердечно приветствовавшая его сначала, теперь позволяла себе от времени до времени насмешливые замечания над странностями знаменитого гостя. В одной биографической заметке его назвали сыном музыканта; он увидел в этом оскорбление и вышел из себя. Было ясно: его враги воспользовались Юмом, как орудием, чтобы завлечь его в Англию из Франции, Юм был ложный друг, предатель; он натравливал общественное мнение Англии против него.

Письма из Швейцарии тоже поддерживали в нем представление, что он окружен врагами. Вожаки женевской демократии вели с ним

⁵³ Забавно, что большинство биографов Руссо ставят Терезе в большую вину, что она не могла мириться с жизнью в этих уединенных замках—сначала в Англии, потом во Франции—с нервно-больным мужем и толпою слуг, с которыми она не могла справиться, и что она стремилась прочь оттуда. Ведь надо же помнить, что она тоже была человек, имевший свои собственные склонности и привычки! Эта жизнь была ей глубоко противна.

правильную переписку, и то, что они ему сообщали, повергало его в сильное возбуждение. Вольтер продолжал подкапываться под него; он опубликовал новый памфлет, содержащий самые грязные клеветы против Руссо. Все это было Руссо не по плечу; он чувствовал, что погружается в пропасть умственного помрачения; он делал отчаянные попытки восстановить спокойствие духа и подавить в себе подтачивающие мозг мысли о злобе людской. Он попробовал совершенно изолироваться от внешнего мира; он решил больше не читать ни газет, ни писем. Письменные сношения с Юмом он прекратил без всяких объяснений вскоре после своего переезда в Вуттон; он сделал это ради собственного спокойствия. Но слишком болезненно было в нем чувство, что человек, выдававший себя за его друга и благодетеля, обманывал и предавал его, для того, чтобы он мог об этом молчать; чувствуя себя безгранично несчастным и покинутым, он ощущал потребность делиться своим горем. Всем своим друзьям—дю-Пейру, д'Ивернуа, Малербу, г-же де-Буффлер, г-же де-Верделен, милорду-маршалу, Гюи, своему голландскому издателю — он писал более или менее длинные письма с жалобами на Юма, что он вступил в заговор с его самыми заклятыми врагами и заманил его в Англию, чтобы здесь подвергнуть его унижениям, отрезать его от всяких сношений с внешним миром и дать ему погибнуть в горе и страданиях. Он рассказывал им о поведении Юма в деле с письмом Вальполя; о том, что молодой Троншен живет у Юма; о том, что Юм, против его желания, только чтобы унижить его, рассказывал другим, что английский король предлагал нуждающемуся писателю субсидию; что Юм побудил Рамзея написать с Руссо портрет, на котором он изображен угрюмым, мрачным циклопом, в то время, как Юм на своем портрете сияет, как ангел; что Юм, на пути из Парижа в Кале, воскликнул во сне: "я держу в своих руках Жан-Жака Руссо!"; что Юм кидал на него и на Терезу "долгие, пронизывающие взгляды", заставлявшие его содрогаться, и т.д. Он отправлял эти письма разными окольными путями, через третьих лиц, и давал своим друзьям конспиративные адреса, потому что был твердо убежден, что вся его корреспонденция перехватывается и все письма его читаются. Между Лондоном и Вуттоном "раскинуты сети", которые могут быть обойдены только путем величайшей осторожности; он придумывал для своей корреспонденции шифр и обозначал имена своих друзей только начальными буквами. Юм, узнавший об этом от других, неоднократно требовал от Руссо объяснения. Руссо сначала отказывался; в конце концов он изложил все свои жалобы в форменном обвинительном акте и предложил Юму оправдаться, если он чувствует себя невиновным. Юм, которому это письмо не могло не открыть глаза на душевное состояние Руссо, проявил при этом, выражаясь мягко, мало благородства. Он втянул в это дело своих парижских знакомых, и вся литературная клика, находившаяся в боевых отношениях с Руссо, вмешалась в эту историю. Чтобы положить конец толкам, шедшим вокруг всего этого, Юм, наконец, опубликовал письмо Руссо вместе со своим оправданием под заглавием: "Краткое изложение моей ссоры с господином Руссо". Появилось еще несколько

брошюр: Вальполя, Босвелля, г-жи де ла Тур и т.д. Некоторые были за Руссо, большинство против него. Клика Гольбаха злобно смеялась: "они предупреждали Юма; они ведь знали, что Руссо изверг неблагодарности". Общие друзья, главным образом, г-жа де-Буффлер, пытались успокоить спорящих и убедить их, что ни один из них ни вполне прав, ни вполне неправ. Это, конечно, ни к чему не повело; у Руссо нельзя было выбить из головы его навязчивых идей, а Юм был сам слишком возбужден—говорят, что в этом случае он в первый раз пришел в ярость,—чтобы отнестись снисходительно к человеку, который так его разочаровал. Руссо с этих пор окружил себя молчанием и весь ушел в себя. Он принялся за выполнение плана, который давно лелеял: он стал писать свою "Исповедь". Мемуары в то время писал всякий, это было в моде; но он задумал нечто совершенно другое, еще никогда не испробованное; мысль, что он втихомолку предпринимает нечто единственное в своем роде, наполняла его тайной гордостью. Он хотел написать историю своей души, историю ее ощущений и затаеннейших движений; он хотел исследовать темные глубины полусознательной душевной жизни, глубины, в которые еще никто не отваживался проникнуть, и вывести на свет все, что найдет там. Чтобы познать глубины своего существа, было необходимо возможно больше наблюдать себя. Это доставляло ему радость. Г-же де-Буффлер, писавшей ему в начале его пребывания в Вуттоне, что она боится дурных последствий, которые могут иметь для него изолированность и ничегонеделание, он ответил: "Вы ошибаетесь; я никогда не скучаю менее и никогда не бываю менее праздным, чем тогда, когда я один. Кроме ботаники, у меня есть еще одно занятие, которое меня очень занимает и которому я с каждым днем отдаюсь все с большим удовольствием. Здесь есть у меня один знакомый, которого я хочу узнать ближе. Общение с ним удержит меня от желания какого либо другого общения. Я достаточно его уважаю, чтобы не бояться интимности, на которую он меня вызывает, и так как он претерпел от людей столько же, сколько и я, мы будем утешать друг друга в позоре, который был на нас навлечен и которого друг мой—я читаю это в его сердце—не заслужил".

Зимой 1766—1767 г. Руссо решил покинуть Вуттон; он носился с мыслью взять квартиру в Лондоне; может быть, он надеялся, что там его врагам не так легко будет перехватывать его корреспонденцию; может быть, его побуждала к этому и Тереза, чтобы уйти от ненавистного ей пребывания в имении. Отношения между нею и слугами стали невозможными, и эти вечные передряги, конечно, действовали и на настроение Руссо. В конце апреля он написал Девенпорту, что очень благодарен ему за его великодушное гостеприимство, но что честь запрещает ему долгие оставаться под его кровлей. 1-го мая он незаметно покинул Вуттон; у него не было денег при себе, и в гостиницах он расплачивался частями серебряного столового сервиза. Тереза сопровождала его. Он намеревался отправиться в Довер, но заблудился и попал в Шпальдинг в Линкольншире. Это блуждание по стране, где его никто не понимал, должно быть, было причиной того, что он

почувствовал себя еще более несчастным и покинутым, и он снова написал Девенпорту, прося разрешения вернуться в Вуттон. Но когда Девенпорт приказал его разыскать в Шпальдинге, его уже там не было. Тревога прогнала его оттуда, он вообразил, что англичане хотят его арестовать и что только вторжение французов может его освободить; он пришел в полное расстройство. Когда он, наконец, после долгих скитаний, достиг все-таки Довера, он послал письмо канцлеру с просьбой разрешить ему беспрепятственно уехать, обещая ничего не говорить о Юме и не продолжать своих мемуаров. С вершины холма он обратился к народу с речью. В тот же вечер он сел с Терезой на пароход, отправлявшийся в Кале.

Очутившись на французской почве, он немного пришел в себя; позднее он признался, что во время переезда по Англии находился в состоянии безумия.

В последнее время своего пребывания в Англии он несколько раз получал письма от маркиза Мирабо, отца знаменитого оратора революционной эпохи. Маркиз в свое время был известным писателем по экономическим вопросам, его гуманные взгляды доставили ему прозвище "друга человечества". Как почитатель Руссо, он просил его выбрать своим местожительством один из многочисленных замков или какую-нибудь ферму, которые у него были разбросаны по всей Франции. Руссо все не давал окончательного ответа. Теперь он написал маркизу из Кале, что хотя и намеревается основаться в Венеции, но очень хотел бы познакомиться с "другом человечества". Мирабо явился и тайно — в виду того, что приговор парижского суда еще был в силе — перевез Жан-Жака в свое имение в Флери, близ Медона. Там властный и настойчивый Мирабо навязал своему гостю свои экономические сочинения и старался обратить его в учение физиократов. Руссо ответил, что он попробует читать его книги, но что отвлеченное мышление всегда было для него чрезвычайно утомительно, а теперь тем более. Этот ответ, повидимому, несколько охладил интерес маркиза к Руссо; как бы то ни было, когда принц Конти предложил Руссо поселиться в его замке в Три, близ Жизора (между Парижем и Руаном), Мирабо отнесся одобрительно к этому плану, указывая Руссо, что там он будет в большей безопасности, чем в непосредственной близости от Парижа.

Печальный опыт, вначале в "Эрмитаже", потом в Вуттоне, ничему не научил Руссо. Как ни хороши были намерения принца Конти, но пребыванию в Три опять суждено было кончиться неблагоприятно. Ни Жан-Жак, ни Тереза не подходили для жизни в замке, где их окружала толпа слуг, среди которых им было не по себе; слуги с своей стороны считали Руссо форменным чудачком, а в Терезе видели женщину из их же сословия, от которой они не желали принимать приказаний.

Прошло немного времени, как Руссо снова начал жаловаться в своих письмах. В июне он поселился в замке, а в августе уже писал Мирабо, что обращение, которому он подвергается со всех сторон, невыносимо. Слуги в высшей степени наглы; несмотря на распоряжение принца, чтобы огородные продукты предоставлялись в пользование Руссо, ему не

подавали ни овощей, ни фруктов к столу. Он попросил г-жу де-Люксембург, с которой уже давно прекратил всякие письменные сношения, посодействовать тому, чтобы принц разрешил ему покинуть замок. Он воображал, что садовник, слуги, соседи, деревенский пастор, что все они подкуплены Юмом и день и ночь подстерегают случая погубить его, что они нарочно запирают все выходы, когда он хочет выйти, и т.д. Уединение, полное отсутствие развлечений и занятий—он ни с кем не встречался, почти ничего не читал и только немного ботанизировал и изредка работал над своей "Исповедью",—действовали на него и здесь так же неблагоприятно, как и в Вуттоне. Как раз эта странная тишина и пустота вокруг него усиливали его меланхолию; он мучился, стараясь придумать, чего собственно его враги хотели от него и куда тянулись нити той невидимой сети, которую они плели против него. Снова, как в Вуттоне, им овладела боязнь подвергнуться оскорблениям со стороны крестьян; ужас ночного нападения в Мотье нанес ему удар, от которого он никогда уже не мог оправиться. Открытое преследование, по всей вероятности, успокоило бы его; оно стало для него болезненной потребностью; чем больше его оставляли в покое, тем больше усиливалось его беспокойство. По временам он как будто отдавал себе отчет в своем состоянии; верно дю-Пейру, посетившему его сначала в Медоне, потом в Три, он писал: "Мне неясно, что больше нуждается в лечении, мое тело или мой ум".

Между тем во всем, что не касалось непосредственно его личности, ум его оставался совершенно нормальным. Родственные ему по духу женеvцы—в Женеве внутренняя борьба все продолжалась, и Вольтер не переставал ругать его и издеваться над ним, — не раз обращались к нему за советами во время его пребывания в Три. Споры тогда достигли кульминационного пункта; гражданская война или вмешательство соседних государств казались неминуемыми. Ответы Руссо отличались умеренностью и носили ясный отпечаток социального консерватизма, проявляющегося обыкновенно с приближением старости. Он советовал им вступить к компромиссу и отказаться от некоторых своих требований в пользу общего блага. Он одинаково решительно высказывался против точки зрения "необузданной демократии" общего собрания, как и против точки зрения "крайних аристократов" "малого совета".

В Три он пробыл год. Одиночество, к которому он раньше так стремился, все больше тяготило его с тех пор, как он его нашел. Он писал одному из своих друзей, что не может больше выносить такой жизни; его преследуют печальные воспоминания, и он жаждет хоть какого-нибудь развлечения и музыки. В июне 1768 года он неожиданно уехал. Принцу он написал туманное письмо, в котором благодарил его и объяснял, что отношение к нему слуг заставляет его покинуть замок. По его убедительной просьбе все было для него приготовлено в Париже, он должен был вернуться туда и жить в Темпле. Ла-Рош, старый верный камердинер герцогини Люксембургской, уже отправился к нему навстречу, чтобы привезти его в Париж. Но им снова овладел страх; может быть, он думал, что его хотят заманить в Париж, чтобы отдать его

в руки врагов. Он направился в южную Францию—на этот раз один; Тереза оставалась пока в Три, так как отношения между ними были тогда не особенно хороши,—может быть, воспоминания юности влекли его в Шамбери. Он остановился на некоторое время в Лионе; оттуда он написал дю-Пейру, которому отдал еще раньше на хранение свои бумаги, и просил его прислать ему план продолжения "Эмиля", начатого в Монморанси. То обстоятельство, что он захотел приняться за другую работу, кроме "Исповеди", доказывает, как сильна в нем была потребность уйти от самого себя. Он возобновил старые знакомства и приобрел новые; он много занимался ботаникой, между прочим, с г-жей де-Делессер, которую он знал прежде в Ивердене; у нее была интеллигентная, любознательная дочка, и в качестве руководящей нити для матери, желавшей посвятить свою дочь в чудеса природы, он написал для нее несколько "Писем о ботанике", представляющих прекрасное популярное руководство для изучения этой науки.

В Шамбери он снова повидал своего старого друга Конье и посетил могилу г-жи де-Варан. Но во время его странствования с ним случилось в Гренобле происшествие, которое снова пробудило в нем с удвоенной силой его старую манию преследования. Какой-то субъект, по имени Тевнен (как потом оказалось, бывший каторжник), стал утверждать, что семь лет тому назад одолжил Руссо некоторую сумму денег, которой он ему не вернул. Руссо, конечно, привел этот случай в связь с широко разветвленным заговором, жертвой которого он себя считал; по его просьбе власти занялись этим делом; утверждение того субъекта оказалось ложью. Но Руссо не удовлетворился этим; он хотел, чтобы власти, воспользовавшись этим случаем, напали на след заговора, послушным орудием которого был старый мошенник; то, что они этого не сделали, только усилило в нем болезненную уверенность в существовании всеобщего заговора против него. Он так был уверен, что по дороге в Шамбери подвергнется нападению и будет убит, что написал Терезе прощальное письмо, полное советов, как ей действовать после его смерти. Пробродив некоторое время по Дофине без цели и без плана, он, наконец, поселился в небольшой гостинице в Бургоене, маленьком городке между Лионом и Шамбери, и прожил там около года. Через некоторое время после того, как Тереза снова присоединилась здесь к нему, совершилась церемония, которую он называл своей женитьбой: он заявил в присутствии свидетелей, что берет Терезу себе в жены. С этих пор он ее называл только "своей женой" или "г-жей Рену", именем, которое он принял в Три.

В Бургоене, лежавшем в болотистой местности, они, от сырости ли или от питьевой воды, оба заболели. Руссо, глубоко несчастный, жаловался, что не имеет крова над головой; он хотел уехать на Минорку или на Кипр, его охватило тоже вдруг желание вернуться в Вуттон, он попросил министра выдать ему паспорт, получил его, но, конечно, не уехал. Все снова и снова возвращалась к нему мысль, что враги его стесняют его свободу движений, и он строил планы, чтобы уйти от них; но как только обнаруживалось, что его намерения не встречают никаких

препятствий, он покидал их и направлял свои болезненные причуды на какую-нибудь новую цель. Через год он переселился из Бургоена в Монкен, соседнюю деревню, расположенную на высоком холме, и устроился опять на предоставленной владельцем в его распоряжение даче. Через некоторое время повторилась старая история: Тереза начала жаловаться, что домоправитель и его жена грубо обращаются с нею и оскорбляют ее.

Сохранилось письмо Руссо к Терезе из эпохи его пребывания в Монкене, написанное во время экскурсии. Он предпринял эту экскурсию, чтобы дать и себе, и ей возможность разобраться в их взаимных отношениях, ставших в последнее время чрезвычайно натянутыми. Он жалуется, что чувство Терезы к нему охладело и что от ее прежней привязанности ничего не осталось. Он допускает, что его дурное настроение так же затрудняет для нее их совместную жизнь, как для него ее холодное равнодушие; поэтому он ей предлагает разойтись на время, пока не уляжется их взаимное раздражение. "Я предоставляю тебе полную свободу выбрать себе место жительства и переменить его, когда тебе вздумается... Ты ни в чем не будешь чувствовать недостатка, я буду о тебе заботиться больше, чем о самом себе, и как только мы почувствуем в сердцах наших, как тесно мы связаны друг с другом, и ощутим действительную потребность вновь соединить наши жизни, мы это сделаем, чтобы впредь жить в мире и дать друг другу счастье до самой могилы. Я только предлагаю разлуку, которая может быть уроком для нас обоих".

Все письмо—одно из немногих, в которых Руссо употребляет интимное обращение на "ты"—письмо, полное кротких упреков, полное внимательности, терпения и желания, чтобы восстановились между ними прежние отношения, говорит об его неизменной привязанности к Терезе и о его полном доверии к ней. Несмотря на размолвки, которые иногда вызывали отчуждение между ними, в душе его—это ясно видно из письма—нет и следа недоверия к ней; он никогда ни на одну минуту не представлял себе ее мысленно в том злостном заколдованном кругу, в который втягивались почти все его старые друзья один за другим; для этого он слишком сильно чувствовал, что составляет с нею одно, чувствовал ее, как часть самого себя.

Это было, конечно, возможно только благодаря тому, что Тереза никогда не противоречила его болезненным идеям, а всегда была заодно с ним; биографы делают ей упрек из этого, они обвиняют ее в том, что она поддерживала в Руссо его болезненные фантазии.

Но что бы представляла его жизнь, если бы она постоянно противодействовала этим идеям? Конечно, он бы и ее стал подозревать в участии в заговоре, он бы перестал доверять единственному человеку, к которому еще чувствовал доверие; у него бы не оставалось ни одного человеческого существа, с которым бы он мог делиться своими горестями, он чувствовал бы себя окончательно одиноким. Выдержал ли бы он это? Что стало бы с ним? Нет, Тереза была права, что была с ним заодно; возможность высказываться была для него единственным

облегчением его страданий. Благодаря ей он никогда не был лишен хоть этого облегчения.

* * *

В Монкене Руссо закончил свою "Исповедь", над которой он с перерывами работал в течение пяти лет. Его желание вернуться в Париж все росло, и он написал по этому поводу принцу де-Конти. Принц не советовал ему приезжать в Париж, говоря, что он не будет там в безопасности. Но Руссо не мог противостоять своему внутреннему влечению. В 1770 году он приехал в Париж и был совершенно так же рад, очутившись в нем, как был рад четырнадцать лет тому назад, покидая его. Состав судебной палаты, осудившей его в 1762 году, был теперь иной; Шуазель уже не был министром; кроме того, в этом году произошло бракосочетание дофина с Марией Антуанеттой, и правительство по этому случаю воздерживалось от политических преследований; Руссо мог показываться всюду, его не трогали.

Он прожил еще 8 лет в Париже, в мансарде в rue Platriere, которая впоследствии была названа его именем. Он снова принялся за свое старое занятие переписывания нот; эта работа нравилась ему, она успокаивала его. На свою небольшую ренту⁵⁵, да добавочный заработок от переписки нот он мог жить с Терезой хотя скромно, но без особенной нужды и не прибегая к посторонней помощи. Бернард де Сен-Пьер, часто бывавший у него в эти последние годы его жизни, следующим образом описывает впечатление своего первого посещения Руссо:

"В июне 1772 года один из моих друзей предложил мне пойти с ним к Жан-Жаку Руссо. Он привел меня к дому на rue Platriere, находившемуся приблизительно против почтамта, и мы поднялись на четвертый этаж. На наш стук дверь отворила нам г-жа Руссо. Она сказала: "Войдите, господа, мой муж дома". Мы прошли через очень маленькую переднюю, где в большом порядке была расставлена кухонная утварь, в комнату, в которой Руссо, в длинном сюртуке и белой шапочке, занимался переписыванием нот. Он поднялся, улыбаясь, предложил нам стулья и снова уселся за свою работу, принимая в то же время участие в разговоре. Он был среднего роста и худощав. Одно плечо казалось выше другого, но в общем он был хорошо сложен. У него был темный цвет лица, слабый румянец на щеках, красивый рот, очень хорошо сформированный нос, выпуклый, высокий лоб и огненные глаза. Складки, идущие от ноздрей к углам рта и характеризующие выражение лица, у него выражали большую чувствительность и даже что-то болезненное. Все страсти попеременно отражались на его лице, смотря по тому, какие темы разговора волновали его душу. В спокойные минуты лицо его сохраняло следы всех этих волнений, и в то же время в нем было что-то чрезвычайно любезное, тонкое, трогательное, внушавшее сострадание и уважение.

Возле него стоял спинет, на котором он от времени до времени

наигрывал мелодии. Вся меблировка комнаты состояла из двух кроватей, покрытых бумажными покрывалами в белую и голубую полоску под стать обоям, комода, стола и нескольких стульев. На стене висели план леса и парка в Монморанси, где он жил, и гравюрный портрет короля английского, его прежнего благодетеля. Жена его сидела за шитьем белья; в привешенной к потолку клетке распевала канарейка; к открытому окну, выходящему на улицу, подлетали воробьи, подбирая рассыпанные на подоконнике крошки, а на окне соседней комнаты виднелись горшки и ящики с полевыми цветами. На всем этом скромном хозяйстве лежал отпечаток опрятности, мира и простоты, радующий сердце".

Так он проводил дни своей старости в обстановке, сходной с той, в какой протекало его детство, когда тетка напевала ему старые, простые мелодии, о которых он вспоминает в своей "Исповеди". Такая жизнь вполне отвечала его желаниям; в своем предпоследнем произведении, в "Диалогах", он сам поздравляет себя с тем обстоятельством, "что он в старости вернулся приблизительно к тем же жизненным условиям, в каких родился, не испытав в своей жизни ни большого падения, ни особенного возвышения".

Жизнь его была распределена точно и равномерно. Утренними часами он пользовался для переписки нот и сушки, сортировки и наклеивания растений. Он делал это очень аккуратно и с величайшей тщательностью; приготовленные таким образом листы он вставлял в рамки и дарил тем или другим из своих знакомых. Он стал снова заниматься и музыкой и сочинил в эти годы множество небольших песенок на данные тексты; он назвал этот сборник "Песни утешения в горестях моей жизни". После обеда он отправлялся в какое-нибудь кафе, где читал газеты и играл в шахматы, или делал большие прогулки в окрестностях Парижа; он до конца оставался страстным любителем прогулок пешком. Всю весну он ежедневно уходил за два часа от города, чтобы послушать соловья. Величайшим наслаждением для него было наблюдать закат солнца с Мон-Валериен. Здоровье его было теперь в хорошем состоянии, его болезнь с годами исчезла. Со всеми своими старыми друзьями, главным образом, с женщинами, он прекратил сношения; он поддерживал только несколько новых знакомств с некоторыми литераторами и с простыми людьми, жившими по соседству с ним. От него все еще исходило какое-то невыразимое очарование, благодаря его кротости, простоте, любезности и простодушию. Он попрежнему оставался ребенком. Но от времени до времени в нем снова подымалось его болезненное недоверие, и когда что-либо возбуждало его подозрительность, он в припадке гнева отталкивал от себя людей, которых притягивала к нему его слава и увлекала его любезность. Его безумные идеи и мучительные страхи воздвигали стену между ним и всем миром.

Мысль о врагах и преследователях, всегда незримо подстерегающих его, не давала ему покоя. Он воображал, что не может сказать слова, сделать шагу, задумать намерения, чтобы они не узнали об этом. С виду

⁵⁵ Руссо сам определяет свой ежегодный доход цифрой в 1100 франков; некоторые биографы определяют его в 1800 франков.

он вел свободную жизнь среди людей, но в действительности был отрезан от всех, был более одинок в громадном Париже, чем в чаще леса или в глубине пещеры. Он не знал ни о чем, что происходило вокруг него; отягченный незримыми цепями, окруженный непроницаемым мраком, он был заживо погребен среди живых людей. Куда он ни являлся, люди бежали от него, как от прокаженного, или испуганно отступали, глядя на него во все глаза. Приметы его были даны всем носильщикам, таможенным чиновникам, полицейским, водоношам, шпионам, парикмахерам, слугам, разносчикам газет и книготорговцам Парижа; если он спрашивал книгу или что-нибудь в этом роде, то во всем Париже не находилось требуемой вещи; чистильщики сапог отказывали ему в услугах, перевозчики не хотели его перевозить. Могущественные заговорщики, конспирировавшие против него с министром Шуазелем во главе со времен "Эрмитажа", втягивали в свой дьявольский союз все большие группы людей: видных личностей, литераторов, врачей, женщин из большого света, как и всех, занимающих какую-нибудь общественную должность и имеющих влияние на общественное мнение. Только ночью, когда враги его спали, ослабевала их бдительность; только тогда он мог свободно говорить, без риска быть подслушанным.

Таково было его душевное состояние, и так он его описывает в "Диалогах", этом волнующем памятнике не только его болезненных идей и умственного помрачения, но и его кротости и правдивости.

Вернувшись в Париж, он еще питал надежду разрушить козни своих врагов. Его "Исповедь", казалось ему, ясно свидетельствует о его невинности и доброте его души. Это сочинение должно было выйти только после его смерти, потому что он хотел остаться верным своему намерению ничего больше не издавать. Но ничто не мешало ему прочесть несколько избранным историю своей жизни и своей души; им должно было стать ясно из нее, что он за человек и что за люди его враги; они должны были ему помочь изобличить зачинщиков заговора. Зимой 1771—1772 года он в первый раз читал свою "Исповедь" в замкнутом кругу аристократов и литераторов. О ней заговорили. Выписки из нее получили распространение и вызвали большое возбуждение. Но почувствовал ли кто-либо из его слушателей новую красоту этого сочинения, заключавшуюся в том, что в нем внешний и внутренний жизненный опыт получил более правдивое и верное выражение, чем в каком либо другом литературном произведении, потому что здесь было схвачено и запечатлено то, что еще никогда до сих пор не было схвачено и запечатлено; бегло вспыхивающее и мгновенно исчезающее в беспокойном потоке сознания ощущение? Это мало вероятно. Больше всего обратили на себя внимание нападки на известных и влиятельных личностей. Г-жа д'Эпине обратилась к полиции, чтобы предотвратить еще больший скандал; власти дали понять Руссо, что он должен прекратить свои чтения, и он сейчас же покорился. Но он не хотел отказываться от намерения разоблачить своих врагов: дело шло о его чести, о его репутации у позднейших поколений; поэтому борьба в данном случае казалась ему его священным долгом. Он сделал еще одну попытку, на

этот раз иным путем. В "Диалоге", состоявшем из нескольких сот страниц, он вывел себя самого, как Руссо, в беседе с французом. Тему их разговора составляет Жан-Жак, которого француз, как большинство его соотечественников, считает плутом и мошенником, хотя, или вернее, потому, что из его произведений знает только несколько отрывочных цитат. Руссо выступает в роли защитника Жан-Жака и обвинителя его врагов; в конце концов француз объявляет себя побежденным; они принимают решение сообща попытаться напасть на след заговора против невинно преследуемого Жан-Жака. В раздвоенности личности автора, выступающего и как Жан-Жак, и как Руссо, как страдающее и как защищающее "я", чувствуется галлюцинация безумия; полное отсутствие плана, многочисленные отклонения и повторения делают чрезвычайно утомительным чтение "Диалогов", несмотря на изумительную тонкость и глубину самоанализа, ставящую их на одинаковую высоту с "Исповедью." Но утешительно видеть, как даже в этом, свидетельствующем о безумии, творении лучшее в его натуре остается не тронутым: его вера в первоначальную доброту человеческого сердца. Он страдал без злобы; у него не было ненависти к тем тысячам людей, которых он представлял себе исполненными отвращения и презрения к нему. Он считал, что их соватила лишь дьявольская хитрость нескольких лиц, и был уверен, что они снова примут его в свою среду, как только убедятся, что их обманули; тогда снова заговорят в них их естественные чувства, и братство и сочувствие восторжествуют. Если бы он только мог найти хотя бы одного человека, который смотрел бы его глазами и думал его мыслями, который захотел бы ему помочь разорвать эту сеть лжи и обмана, сплетенную его врагами, он был бы спасен. Но как найти такого человека? Он работал над "Диалогами" несколько лет; ему было так противно углубляться во все то отвратительное и ужасное, что причинили ему люди, что он большей частью мог писать их не больше четверти часа в день. Когда работа была закончена, он решил предоставить ее на волю Провидения: бог сам укажет человека, предназначенного быть орудием его оправдания. Он взял свою рукопись и отправился с нею в собор Нотр-Дам, чтобы оставить ее на алтаре. Но решетка, окружающая алтарь, которая, как он думал, всегда открыта, была теперь заперта; у него закружилась голова; ему казалось, что само небесное правосудие против него. Весь этот день он в отчаянии бродил по улицам; лишь с наступлением ночи он вернулся домой в полном изнеможении и словно помешанный.

Но он еще не отказывался от своего плана; он хотел и должен был найти человека, который снимет позор с его имени, когда он умрет. Он составил манифест, в заголовке которого написал крупными буквами: "Каждому французу, еще любящему правду и справедливость". Стоя на углах улиц, он предлагал экземпляры этого манифеста всем прохожим, на лицах которых читал мягкие, человеческие чувства. Но все, жаловался он, отклоняли их, как только прочитывали заголовок, говоря, что это их не касается; он не находил того избранного, которого искал.

А между тем вокруг него жили тысячи людей, любивших и

почитавших его, воспринявших в себя его жизненную мудрость, людей, для которых его идеалы, его мысль и чувство были пищей их дней и светом их ночей. Энциклопедисты со своими приверженцами и некоторые влиятельные круги большого света были против него, но молодая, подрастающая Франция, т.-е. мыслящая, чувствующая и стремящаяся вперед Франция, громадная масса граждан и интеллигенции, а также многие из знатных лиц были за него. Вокруг имени его еще кипела борьба, но с каждым днем число его приверженцев росло, поток его славы подымался все выше.

Всюду, в Париже и вне Парижа, в провинции, подросло поколение мужчин и женщин, преклонявшихся перед новыми жизненными ценностями, руководившихся в своих действиях новыми принципами и одушевленных новой волей. В уединенной работе мысли, в строгих нравах, в нравственной домашней жизни, в любви к простоте, к добродетели и к природе они готовились к борьбе против ненавистного Руссо порядка вещей и за восхваленные им установления и нравы. Они блаженствовали в мечтах об его идеалах добродетели и бескорыстия; они много говорили о своих чувствительных сердцах; иногда они с блестящими глазами повторяли цитаты из "Общественного договора", что все люди рождены свободными, что-то только низкие, рабские души встречают слово "свобода" насмешкой и что народ, вся масса граждан, не может ошибаться. Они вели большей частью трудовую, простую жизнь; они презирали роскошь и суетные светские развлечения; они много размышляли о том, каково должно быть устройство государства, которое бы могло держать в узде сильных и помогать слабым; они были добры, сильны и честны, эти юные мужчины и женщины, полны бескорыстных стремлений и мужественной воли, как подобает людям, которых могучая волна общественного потока несет вверх. Они чувствовали, что переворот близок и наступает их время. По всей стране возрастало число таких мужчин и женщин в кругах крупной и мелкой буржуазии; ко времени смерти Руссо их было уже много. В Париже жила молодая девушка, прелестная, как ангел, умная и с возвышенной душой, гордость родителей; она в глубине души дала обет, подобно Юлии, посвятить свою жизнь добродетели, но также и любви, вести целомудренную жизнь и светить любимому человеку, как звезда, подымать его собственным сиянием и воодушевлять его к геройской добродетели. Ее звали Манон Флипон; в истории она известна под именем мадам Ролан. В Грасе, небольшом городке южной Франции, жил юноша, робкий и неповоротливый, но с железной волей; он полагал, что наступило время, когда добродетельные и праведные мещане должны положить конец ужасам тирании и заносчивости господ, что они должны захватить государство в свои руки, ибо этому учил их "Общественный договор". — И все они произносили имя "Жан-Жак" с благодарной любовью, с энтузиазмом и поклонением: это он открыл им их глубочайшие душевные движения, самые страстные желания их собственных сердец, бурные порывы и стремления их класса, бродившие и бурлившие в их дрожащих телах. Он обнаружил им их собственную могучую волю; он произнес

волшебное слово, от которого их общее стремление, в сиянии красоты, воспрянуло к жизни в образе общественного идеала.

Видения его мечты придавали их воле смелость, их убеждениям твердость и наполняли их сердца пылом и страстным желанием отдаться всецело этому идеалу, жертвовать собою, жить, бороться и умереть за него. Из его сочинений они черпали ясность мысли и силу воли; они были для них источником революционного сознания и революционного мужества. Счастлив поэт и мыслитель, достигнувший этого! Ведь для этого он и живет, это есть цель его жизни.

Но, увы! Руссо не видел, как прорастали семена его мыслей, он видел только порождения своего омраченного мозга. Он избегал людей, уклонялся от всякого соприкосновения с ними; они представлялись ему сконцентрировавшимся против него клубком ненависти. И новое поколение, подраставшее с его идеалами в сердце и с его именем на устах, казалось ему полным чудовищного предубеждения против него.

О, я знаю очень хорошо, что великие вожди человечества никогда не видят своей мечты осуществленной, во: всяком случае, не в том виде, как они ее себе представляли, даже и тогда, когда эта мечта, частью или целиком, есть научное провидение, т.-е. ясное интуитивное представление о действии общественных и умственных сил. Ее осуществления не видали ни средневековые борцы за городскую демократию, Квинси и Артевельде, ни великие реформаторы, Лютер и Кальвин, Мильтон и Кромвель, или великие утописты, Мор, Фурье и Оуэн, ни отцы современного рабочего движения, Маркс, Энгельс и Лассаль. И все же все эти мечты стали действительностью. Это произошло иначе, иными путями, в других формах, медленнее, чем ожидали те великие мечтатели человечества. Ибо никому не дано знать все силы, ни силы вселенной, ни человеческие силы; никто не знает, каковы будут результаты совокупного действия всех этих сил, если фантазия и наука, эти сияющие маяки, и освещают своим ясным светом далекий путь к цели человечества.

Но все они видели хоть часть своей мечты осуществленной, видели, как она становилась силой в сердцах многих людей, силой - в движении мира. И это мог бы видеть и Руссо, если бы мрак безумия не воздвиг стены между ним и миром. Сердце разрывается при мысли, что в то время, как семя его возрастало в тысячах сердец, на его долю выпало только отчаяние.

И все-таки—не было ли и в его безумии некоторой доли истины, хотя и искаженной чрезмерным преувеличением в ложь? Разве неправдой было то, что мир был против него, мир господствующих, мир сильных, угнетателей всех родов, живших трудом несчастного народа? И не должны ли они были быть против него за его мечту о равенстве, за его идеал общества, в котором все должны работать, в котором не должно быть богатых и не должно быть бедных, не должно быть господ и не должно быть слуг? Не должны ли они были вскоре встать, как один человек, и соединиться с господствующими классами других стран против попытки основать такое общество? Не должна ли была их вражда к

защитникам идеи такого общества быть непримиримой, их ненависть безграничной, не должно ли было их противодействие доходить до крайней степени озлобления; остановились ли бы они перед каким-нибудь средством, чтобы уничтожить своих врагов? Не являлось ли его безумие, бывшее одновременно и манией преследования, и манией величия, символическим выражением той дикой, бесконечной, злобной ненависти господствующих классов к восставшим угнетенным классам, ненависти эксплуататоров против стремления к равноправию, господ против требования свободы со стороны слуг? А надежда, которая продолжала в нем жить, эта уверенность его большого мозга, что после его смерти явится человек, который очистит его имя от всякого пятна и оправдает его сочинения,—не есть ли это воплощение будущих поколений, буржуазного общества, которое очистит его память от насмешки, от позора и клеветы и превознесет его, как одного из своих великих пророков?...

Некоторое утешение мы находим в мысли, что Руссо не умер в отчаянии. Борьба со своим безумием, победить его он не мог, потому что безумие это было болезнью; но бороться, чтобы подняться над своим страданием, это он мог всеми еще сохранившимися в нем не надломленными силами. И это ему в значительной степени удалось. До конца он тяжело страдал от чувства одиночества, но, и страдая и борясь, он нашел тихий внутренний мир в сознании, что вся ненависть людская не может его лишить лучшего в нем, самой сущности его "я", уверенности, что он всегда хотел и искал добра. В течение двадцати пяти лет он боролся, чтобы научить свое сердце без боли и без злобы переносить позор, презрение, враждебность людей. Наконец, это бедное, чрезмерно чувствительное сердце научилось этому и нашло покой в самом себе. И тогда вернулись к нему прекрасные, радостные грезы, которые он любил больше всего.

Его последняя книжка, "Грезы", сияет чистым светом просветленной грусти. Он снова перебирает в памяти свои врожденные наклонности и свой внутренний опыт; он греется в лучах воспоминаний о радостных часах своей жизни; он размышляет о сущности истины и об утешении, которое заключается в примирении с необходимостью. Он обрел мудрость, которая есть принадлежность старости: он отошел от мира, для него перестали существовать здоровье и болезнь, жизнь и смерть, богатство и нужда, позор и слава. Освободившись от всего мирского, он не знает желаний, в душе его покой и мир, он счастлив. В сердце его еще сияют мягким светом чувства, умирающие лишь с самой жизнью, любовь к своему "я" и любовь к человечеству, но свет их тускнеет и меркнет, как меркнут звезды при свете занимающегося утра.

На "Грезах одинокого путника" лежит тот бледно-золотистый отблеск, который придает такое пленительно-тихое, меланхолически-мягкое очарование прозрачной ясности поздних осенних дней. "Грезы"—это его последний привет жизни после его, полного грусти, примирения с ней. Счастлив поэт, который, подобно Руссо, после столь многочисленных тяжелых и болезненных испытаний, может уйти из

жизни без злобы, с мягкой грустью в душе!

* * *

Жан-Жак стал старше и слабее, также и Тереза. Его глаза отказывались ему служить для переписывания нот, а она не была больше в состоянии заботиться о хозяйстве.

Им грозила бедность. Он составил нечто в роде прошения, в котором просил, чтобы кто-нибудь принял его к себе, обещая с своей стороны отдать за это все, что у него было. Со всех сторон стали поступать предложения помощи; молодой маркиз де Жирарден предоставил в его распоряжение дом в своем имении Эрменонвиль в долине Монморанси. 22 мая 1778 года Руссо переехал с Терезой на новую квартиру. По странной прихоти судьбы он, всю свою жизнь противившийся всякой зависимости, должен был умереть под чужой кровлей.

Через неделю после того, как Руссо переехал в Эрменонвиль, умер Вольтер. У Руссо было предчувствие, что он скоро последует за своим старым врагом; ему казалось, словно жизни их связаны каким-то таинственным образом. Он снова стал заниматься понемногу ботаникой и начал преподавать эту науку сыну своего хозяина. Но тут на него снова напали прежние страхи; ему казалось, что его держат в заключении, и он стал придумывать способы убежать. Приехавшему к нему из Парижа молодому человеку он дал письмо с просьбой приискать ему место в одном из парижских госпиталей. В Эрменонвиле он снова встретился со своим старым другом и учеником Мульту, с которым не видался тринадцать лет. Среди прочих посетителей, сумевших его там разыскать, был один робкий юноша в потрепанном платье и с неуверенным голосом, но с глазами, в которых горел огонь невыразимого благоговения. Его звали Максимилиан Робеспьер.

2 июля, после утренней прогулки, Руссо почувствовал себя нехорошо. Тереза, услышавшая его стоны, прибежала и нашла его лежащим на полу; она помогла ему подняться, но он снова упал и при этом поранил себе лоб; это дало повод к толкам, будто он покончил с собой самоубийством. Он взял ее руки в свои и молча пожал их; в 11 часов утра он умер. Де-Жирарден распорядился похоронить его на островке, лежавшем среди большого пруда в парке; таково было желание самого Руссо, которое он незадолго до того высказал своему хозяину однажды, когда в честь его на этом самом островке был устроен музыкальный вечер. Над его могилой шелестели тополи.

Тринадцать лет спустя Революция торжественно перевезла его останки в Пантеон, чтобы поместить их рядом с останками его великого противника Вольтера.

* * *

Природа и общество сотворили его, как лист на древе вселенной. Природные и социальные жизненные условия, накопившийся через целый ряд поколений жизненный опыт предков, воздух, которым они дышали, материальная и умственная пища, которую они воспринимали, совершенная ими работа, их физические и нравственные свойства, особенности обществ, к которым они принадлежали, их отношения к другим

членам общества,—все эти и бесчисленные другие влияния были факторами, создавшими его, определившими природу маленького человеческого существа, всплывшего из глубин бесконечности в городе у темно-синего озера.

Домашняя обстановка, в которой протекало его детство, и общественная обстановка, замкнувшаяся вторым кругом вокруг первого, запечатлели глубокие, неизгладимые следы в мягком воске его первоначальной структуры. Действие этих впечатлений детства на сырой материал прирожденных наклонностей определило формирующийся характер нежного, чрезмерно чувствительного, мечтательного, бурного, чувственного, свободолюбивого и неустойчивого мальчика, вышедшего в одно весеннее утро в свет, чтобы подвергнуться оплодотворению жизни.

И жизнь заложила в него много семян. Пренебрежение со стороны сильных, готовность к помощи со стороны малых, помощь и совет человеку мыслящих и мудрых, гнет нужды, горечь зависимости, безудержная страсть к странствованиям, вкрадчивая нежность женщин, легкая любовь и робкая страсть, не дерзающая мечтать об обладании, красота гор и долин, очарование озер в венке холмов, прелесть лугов в лучах летнего утреннего солнца и мягкие, поросшие зеленью склоны Савойских гор, вызванные музыкой глубокие душевные движения, голоса мыслителей и поэтов, доносившиеся из тьмы времен или наполнявшие атмосферу его собственного времени—все, что он испытал, думал, делал, о чем мечтал, все это вместе сделало из него того человека, каким он был в те поэтические, полные приключений, странно раздвоенные и вместе с тем ведущие к одной цели годы его юношества.

Он находился под воздействием двух крупных сил; одна сила—могучий природный инстинкт, проявляющийся различно, в зависимости от среды, в которой он действует, и вместе с тем иногда устремляющийся за все установленные обществом границы и разбивающий все перегородки морали и условности: сексуальная любовь. Вторая сила была сила общественного порядка, проявляющаяся в желаниях, стремлениях, жажде деятельности и идеях, являющихся продуктом общественного движения, сила, побуждающая к обновлению всех жизненных отношений (производственных, классовых и семейных), как только время для этого созреет. Обе эти могучие силы питали силы его природы, проникали в них, сплавлялись с ними, с его мягкой чувственностью и его бурными страстями, с его задушевностью, его острым логическим мышлением и его даром претворять внешний и внутренний опыт в прекрасные мечты.

Когда совершился в нем этот процесс сплавки, наступило просветление, ему стало ясно, что он призван осудить окружавшие его формы жизни, провозгласить новое жизнезерцание, создать новый идеал жизни. Он не понимал значения своих действий; он был бессознательный революционер, бессознательный пророк громадного переустройства жизни, приближение которого делало атмосферу все более напряженной, наполняло ее все большей тревогой и тоской. Он не знал, куда его влечет; он не знал, куда он влечет других; он был

одновременно действием и причиной, он был одной из совершающих переворот сил среди других сил, между тем, как сам он, по странному заблуждению, думал, что общество неподвижно. Но он понимал закон общественного развития, он повиновался направленной на усовершенствование воле человечества, и этот закон проявлялся в нем—как он всегда проявляется в людях — нравственным долгом, внутренним велением. Он не знал, что этот голос в нем есть голос нарождающихся классов, что они призывают его быть их истолкователем, дать форму и образ их рвущимся к свету неясным стремлениям; но он слышал зов и следовал ему.

Но, следуя ему, он должен был бороться со своей собственной природой, со своими слабостями, а иногда и с требованиями своего сердца. Он должен был бороться со своей склонностью к покою, к мирному течению жизни, со своей робостью, своей наклонностью к созерцанию, своей мечтательной натурой и отвращением к систематическому мышлению. Он преодолел все препятствия. Он, человек с недисциплинированной натурой, дисциплинировал себя, принуждал себя к неустанному напряжению, заставлял себя перерабатывать, все снова и снова перерабатывать написанное, пока не находил наиболее ясного и верного выражения для своего чувства и своей мысли. Он, эта необузданная натура, обуздал свою величайшую страсть, страсть отдаваться мечтаньям. Воля его часто бывала слаба, но во всем, что касалось дела его жизни, он проявлял огромную силу. В нем были две силы, побеждавшие его слабость: пыл энтузиазма к своим идеалам—иначе говоря, любовь к человечеству—и добросовестность художника.

Он хотел о себе и о мире сказать, правду, ту правду, которую он познал. Он не щадил никакой земной власти, он не скрывал своей ненависти к богатым, своего отвращения к произволу, расточительности, похотливости и своего презрения к цивилизации; он выказывал гордое пренебрежение к преследованиям, гнавшим его по совету, как загнанного зверя, к издевательствам и насмешкам, от которых его сердце, это бедное, нелепое, так легко уязвимое сердце всякий раз сжималось болью. Он отвергал деньги и блага земные, чтобы оставаться самим собою, он отказывался от поддержки сильных, чтобы иметь возможность свободно высказывать то, что ему повелевал внутренний голос. Он часто чувствовал себя больным, усталым, часто колебался, терял мужество, но это он проводил с железной волей. И когда на склоне жизни он хотел высказать правду уже не о человеческих отношениях, а о самом себе, и тогда его рукой водила та же прекрасная любовь к истине, которая есть утренняя и вечерняя звезда всякого истинного художника. Не его вина была, что он тогда видел себя самого и отношение своего "я" к людям в чудовищном искажении, это было следствием болезни, но его заслугой было то, что он обрисовал себя таким, каким он себя видел, с той точностью и четкостью, на какие был способен.

Так его стремление к истине изливалось двумя потоками, имевшими один источник: жившее в нем сознание нарождающегося класса, все растущего движения тогдашней буржуазии. Выдвигающиеся классы

всегда исполнены той благородной любви к правде, они всегда имеют мужество смотреть действительности прямо в глаза, потому что считают ее своим другом; погибающие классы избегают правды, они трусливо обманывают себя и других, если не впадают в бесстыдный цинизм.

* * *

Семена, которые Руссо посеял, вззошли лишь после его смерти и дали самые разнообразные плоды. Он был усердный сеятель на нивах человечества.

Это было время, когда вопрос о переустройстве государства занимал умы и сердца, когда все интересы и все стремления были направлены на политические и правовые отношения.

Стены феодально-абсолютистского государства были подкопаны, но оно располагало еще значительными силами; чтобы свергнуть его, еще была необходима борьба на жизнь и смерть. Классы, "которые вели борьбу против старого порядка, интеллигенция, крупная, средняя и мелкая буржуазия, рабочие и крестьяне, были все воодушевлены одним общим интересом – сломить господство абсолютного королевства, дворянства и духовенства. Буржуазное государство, которое они хотели возвести на место старого порядка, представлялось им идеалом свободы и равенства; мужество ставить на карту свои личные интересы и рисковать самой жизнью, силу отражать нападения контр-революции и военных сил половины Европы они черпали из своего глубокого убеждения в справедливости и святости своего дела, из пламенной любви к отечеству, которое станет их отечеством, как только тиран будет свергнут и феодальная власть изгнана. От Руссо они узнали, как должно быть устроено это новое государство, их государство, согласно требованиям справедливости; у него они прочитали, что все, чего они хотели, было хорошо, справедливо, добродетельно и священо, он, дал выражение всему, что в них бродило, он окружил их великие общие интересы, их классовые интересы ореолом нравственной красоты. И потому они любили и почитали его больше, чем всех других революционных писателей, больше даже, чем Вольтера. У него они черпали силу, стойкость, жажду действия, радость жизни и готовность к смерти.

Противоречия в среде "третьего сословия", т.-е. буржуазных, не дворянских классов, стали выступать лишь во время революционной борьбы, по мере того, как эти различные классы, определяемые общим названием "третьего сословия", стали сознавать свои особые и часто противоположные интересы. Руссо жил и писал в то время, когда эти противоречия еще не получили развития. К этому надо прибавить, что у него, как результат его происхождения и течения его жизни, наблюдалась смесь крупно-буржуазных, мещанских и даже пролетарских наклонностей, хотя преобладающее направление его чувств, желаний и его мышления было безусловно мещанское. Оба эти обстоятельства являются причиной того, что его произведения не защищали специально интересов определенной группы "третьего сословия", не восхваляли их особых стремлений, а являлись защитой и восхвалением того, что было

обще всему третьему сословию. Поэтому же самому его сочинения так изобилуют противоречиями, туманными суждениями и в них так отражаются его колебания между более радикальными и консервативными стремлениями.

И именно это общее, до известной степени неопределенное, колеблющееся и противоречивое в нем имело следствием то, что каждая из партий и групп, державших в течение 1789–1794 годов более или менее продолжительное время власть в своих руках, начиная с защитников конституционного королевства в Национальном Собрании и кончая строгими республиканцами "горы", могла опираться на него и утверждать, что она именно осуществляет его учение и идет по его стопам. На него ссылались и те, которые хотели сохранить короля, и те, которые казнили его и провозгласили республику. На него ссылались, напирая особенно на преобладание чувства в содержании и в тоне его произведений, вожди жирондистов. Свою несколько театрально провозглашаемую любовь к добродетели, свой туманный идеализм, свой драпировавшийся в римскую тогу и выступавший с величественными жестами на сцене общественной жизни героический патриотизм они заимствовали у него. На него, поборника истинной демократии, ссылались якобинцы, считая, что он провозглашал демократической добродетелью недоверие ко всякому правительству, ибо всякое правительство стремится к умалению прав граждан. На него ссылалась крупная буржуазия, хотя и провозгласившая в 1791 г. суверенность народа, но подразделявшая граждан, в зависимости от их дохода, на активных и пассивных—подразделение, которое самого Руссо лишило бы права быть избранным. На него ссылались мещане партии горы, смелые революционеры 1793 года, соединявшие, вопреки ясно выраженному воззрению Руссо, законодательную и административную власти в одном органе, сделавшие террор—от которого пришла бы в ужас его миролюбивая натура—средством управления, стремившиеся, в резкую противоположность его федералистическим тенденциям, к сильной централизации и все-таки с полным основанием чувствовавшие, что они, более какой либо другой партии революционного времени, представляли кровь от его крови и плоть от его плоти. Ибо, действуя противно его предписаниям, они поступали так под давлением обстоятельств, которых он не мог предвидеть, под гнетом затруднений, когда перед лицом грозящей опасности вторжения внешних врагов и предательства внутреннего врага всякие средства должны были быть хороши, чтобы обессилить врага и покорить его. В миролюбии Руссо, в его отвращении ко всякому насилию, в его боязни резких перемен, в его восхвалении порядка и покоя в противовес беспорядку и волнениям сказывался образ мыслей мещанина нормального времени, когда революционные эксцессы еще казались сном, революционный хаос представлялся кошмаром, а сама революция столь же ужасной, сколь недействительной. Когда же это недействительное стало ощутимым и ужасное повседневным, боязливой осторожности, никогда не покидавшей Руссо, не было больше места; теперь она казалась недействительной, непостижимой. Однако,

если отбросить то, что осуществителям его идеалов ошибочно представлялось побочным и несущественным, то ведь и они стремились к тому же, что составляло сущность его намерений: к равенству и свободе людей. Поэтому они в его лице поклонялись своему великому предтече, задолго возвестившему их мысли и их стремления; и провозгласив "права человека", которые они считали вечными и неизменными, вытекающими из самой природы человека, и начертав их на вратах здания новой конституции 1793 года, они почти буквально заимствовали ход мыслей и выражения из знаменитого сочинения своего великого учителя, сочинения, бывшего их политическим евангелием.

В дни, когда революционное напряжение достигло своей высшей точки и власть в государстве находилась в руках наиболее революционной буржуазной группы, смелые мещане, управлявшие Францией, попытались осуществить мечту своего учителя в политической, социальной и религиозной области.

Робеспьер, этот лишенный поэтичности и сухой Руссо, которого волна революции привела к путям, внушавшим Руссо ужас, чувствовал себя призванным быть исполнителем его идей и осуществителем его планов. В политике он стремился к форме правления, которая бы наилучшим образом ограждала свободу граждан от покушений всякого рода, и к такому распределению функции между гражданами, которое бы делало их наиболее способными наблюдать за правительством и противостоять всякой попытке превышения его полномочий. В социальной области он—противник всяких коммунистических принципов—провозгласил обязанность государства стремиться к равенству граждан и бороться против роскоши, право больных, инвалидов и нуждающихся на помощь государства и право всех граждан на труд. В религиозной области он защищал свободу религии против наступательного воинственного материализма парижского городского совета и возвел торжественное поклонение "Высшему Существо" в республиканский институт. Образ мыслей добродетельного гражданина, свободолюбивого патриота он связывал с его верой в высшее существо и бессмертие души, и заставил национальный конвент торжественно присягнуть этой вере. Ибо, по его мнению, истинная гражданская добродетель, способная пожертвовать личным интересом для общественного, возможна только при наличии убеждения, что в будущей жизни человек найдет возмездие за все хорошие и дурные дела.

Когда героическая попытка основать общество свободных и равных граждан, ввести общественный порядок без господ и без рабов на основе капиталистического производства и частной собственности на продукты производства (следовательно, на основе экономического неравенства и экономической зависимости), когда эта попытка разбилась о свою внутреннюю несостоятельность и невозможность; когда герои, пытавшиеся осуществить это невозможное, погибли в трагически-грандиозной борьбе и наиболее благородные силы революции были исчерпаны, когда кучка крупных буржуа, искателей приключений и спекулянтов принялась пожирать плоды героизма, страданий,

невероятных лишений и жертв, невероятного напряжения целого народа,—тогда пришло к концу и влияние великого мыслителя и мечтателя, дух которого воодушевлял лучших борцов в этой борьбе. С виду и новые властелины поклонялись ему, но это была только видимость. После того, как сначала ссылались на него учредительное и законодательное собрания, жирондисты и монтаньяры, г-жа Ролан и Робеспьер, теперь стали делать то же сытые буржуа директории; они с удовольствием указывали на любовь Руссо к порядку и спокойствию, чтобы оправдать свою собственную любовь к порядку и спокойствию; они пытались вновь оживить угасающий энтузиазм народа общественными празднествами, как советовал Руссо, но патриотический энтузиазм и дух братства, которые должны были одушевлять эти празднества, совершенно отсутствовали на них. Имя Руссо было на их устах, но в сердцах их не было и следа его стремлений.

В те дни истощения и усталости был один человек, в душе которого сконцентрировались последние лучи революционной энергии. В его мозгу возникла новая мысль, что политическая свобода и равенство могут быть осуществлены только на основе экономического равенства и что это последнее может процветать лишь на почве общественного владения средствами производства. Имя этого человека было Гракх Бабеф; он скоро кончил жизнь на эшафоте. И он ссылался на Руссо, как и все другие. И он имел на это право, хотя Руссо и не смотрел никогда на коммунизм, как на нечто достижимое. Но Руссо больше всего любил равенство и свободу и больше всего ненавидел эксплуатацию и угнетение; а раз революция выдвинула учение, что частная собственность есть корень эксплуатации и рабства, праздности и нужды, то не были ли истинными сынами его духа те, которые стремились к уничтожению частной собственности? Его стремление к правде, его строгость в вопросах нравственности, его резко демократический образ мыслей привели его к крайним границам индивидуалистически-мещанских социальных идеалов. Дальше он не пошел; но для того, кто бы сделал хотя бы еще один шаг вперед, должно было засиять солнце социализма. Этот шаг сделал Бабеф.

* * *

В те полные смятения времена, когда политические идеалы Руссо жили в сердцах многих тысяч храбрых борцов, люди отворачивались от его художественных тенденций. Они стали равнодушны к той искренности и задушевности, которые Руссо вносил в изображение жизни; изображение человека во всей его естественности не интересовало их. В литературе и искусстве Франции времен революции господствовал псевдоклассицизм, внешне - возвышенная, искусственная, поверхностно-рассудочная, холодная риторика, лишенная естественного чувства, лишенная задушевности, лишенная страсти, риторика, которую Руссо ненавидел и против которой боролся. Это направление искусства было порождено быстро следовавшими одно за другим событиями внешней жизни, как и влиянием классиков.

Но с началом нового столетия наступил перелом. В своем

появившемся в 1800 году сочинении "О литературе" г-жа Сталь—на-ряду с Бернарденом де Сен-Пьер первая литературная ученица Руссо—отрешилась от классического направления и представила резкие эстетических наклонностей и взглядов своего учителя. Ее книгу можно назвать первым манифестом романтики, если взять это слово в самом общем и широком значении его. С того времени все художники слова стали черпать из открытых Жан-Жаком Руссо источников. Великий поток мировой литературы устремился по руслу, указанному ей Руссо.

Вскоре этот поток разделился, и не один раз, а много раз. То, что жило в Руссо в виде единого целого, расчленилось и устремилось по разным направлениям. Он был началом, родоначальником многих народов, источником, давшим жизнь многим течениям, как в области литературы, так и в области политики. Тоска поэта, страстнее волнение, глубокое и искреннее чувство природы, туманная вера в божество, мечтательный энтузиазм к идеалам гражданской свободы, преувеличенное чувство своего "я", психическое самоуглубление и самоанализ, прислушивание к мимолетным ощущениям, — все это жило в Руссо нераздельно. Развитие, как всегда, принесло с собою разделение, дифференцирование, специализирование. Из тех, которые пришли после него, некоторые предпочли героический пафос и пытались дать выражение туманным религиозным чувствам или неопределенным идеалам свободы. Другие прежде всего стремились изобразить ту тоску поэта, в которой одинокий индивидуум в буржуазном обществе возводит свое одиночество на пьедестал, или мрачную гордость, с какой он противопоставляет свое одинокое "я" могуществу всего мира. Третьи ставили во главу угла погружение одинокого индивидуума в природу, слияние с нею. Все эти стремления отражала романтика.

После того, как прошло первое упоение восторга, вызванное освобождением литературы от долго сковывавших ее цепей условности, и первое поколение романтиков вдоволь насладились изображением человека во всей его сущности, со всем, что в нем есть и дурного, греховного, безобразного, странного, с виду ничтожного, ужасающего и чудовищного, явились другие, более спокойные, внимательные, вдумчивые и рассудительные. Они полагали центр тяжести в точном наблюдении и правдивом изображении внешнего и внутреннего опыта; это были пахари, глубоко избороздившие пашню искусства, границы которой их предшественники раздвинули на многие мили. Они подслушивали самые нежные, еле слышные тона, раздававшиеся в глубинах этого микрокосма, телесно духовного человека. Это были натуралисты, импрессионисты и художники ощущения. И их искусство имело зачатки в Руссо.

Каждый из этих художников, как среди романтиков, так и среди более поздних, был создан иначе. Да иначе оно и не могло быть, ибо им всем было обще одно крупное свойство: они стремились к индивидуальному выражению самого индивидуального ощущения и противопоставляли индивидуум, как замкнутое в себе единое целое, всем другим индивидуумам. Это было их общим идеалом. У них у всех

сознание определялось, кроме их личных врожденных свойств, окружающей обстановки и течения жизни, еще и историей, традициями и степенью экономического, социального и политического развития национального общества, к которому они принадлежали. Но их всех, даже наиболее различных между собою и наиболее страстно выступавших друг против друга, связывали с их предшественниками, в противоположность предыдущей литературной эпохе, важные общие черты: более красочный и богатый язык, не пренебрегавший ни одним словом и ни одним выражением, как слишком низким или грубым, отвращение к трезвому формализму, к обычному, к шаблону, страстная любовь к жизни и ко всем ее проявлениям. И все эти общие им всем черты связывали их и с их духовным родоначальником, с родоначальником современной буржуазной литературы, лирической поэзии, натуралистического романа, психологического анализа и сензитивизма: с автором "Новой Элоизы", "Исповеди" и "Грез".

Но среди всех этих потомков, среди этой большой пестрой семьи писателей и поэтов XIX столетия находится один, в котором больше, чем во всех других, повторяются существеннейшие черты его духовного предка. Подобно Руссо, он соединяет чувственное предрасположение и глубину и задушевность природы с острым аналитическим мышлением и удивительным даром извлекать полусознательные ощущения на свет сознания. Он сам себя называл учеником своего учителя Руссо. Но благодаря тому, что природа наделила ученика Толстого более здоровой, крепкой и ясной физической и духовной организацией, чем учителя Руссо, а также и тому, что ученик вырос в среде, находившейся под сильным воздействием традиций аграрного коммунизма и коммунистически настроенного первобытного христианства, в среде, ставившей, в противоположность мещанской среде, из которой происходил Руссо, социальные склонности впереди индивидуалистических, Толстой мог осуществить то, чего Руссо не мог, он не только мог изобразить опыт своей собственной физической и духовной жизни и воплотить свои собственные стремления и идеалы в различных образах, но ему удалось создать галерею мужских и женских портретов целой эпохи и вдохнуть в эти образы силу своих нравственных идеалов и самую сущность своего собственного "я".

* * *

Руссо создал людям памятник, идеальную картину богатейших жизненных возможностей, поэтому его влияние сказалось в различных областях человеческой жизни. Его взгляды на природу ребенка и его формирование в человека перешли к позднейшим поколениям и, подобно его политическим идеалам, его углубленному изображению жизни и его чувству природы, стали частью нас самих.

Оплодотворению теории и еще больше практики воспитания принципами Руссо постоянно препятствовали реакционные влияния, господствовавший общественный порядок всегда стоял помехой на пути их победного шествия. Классовые противоречия делали необходимыми принуждение и дрессировку, против которых так ополчался Руссо, и

поддерживали их все в новых и новых формах, как они поддерживали и то, что Руссо хотел искоренить из воспитания: вколачивание возможно большей суммы знаний за счет физического развития и формирования характера. Классовые противоречия препятствовали воспитанию достигать тех целей, о которых он мечтал, развития способности к самостоятельному действию и самостоятельному мышлению; формирование юных мозгов в определенном направлении с раннего возраста, втискивание их в панцирь религиозных или националистических догм являлось ведь для господствующих классов необходимым средством сохранить за собою господство. Буржуазное общество не желало самостоятельно мыслящих пролетариев, ему нужны были безвольные, покорные рабы. Вот причина, почему учение Руссо о воспитании, общие принципы которого теоретически давно признаны педагогической наукой, на практике еще по сей день не нашло серьезного применения. Кое-где, может быть, и осуществляется та или другая идея его системы, но о полном и последовательном ее проведении, т.-е. о преобразовании всей системы преподавания на основе целесообразно направленной самостоятельности и физического труда сможет быть речь только тогда, когда рабочие завладеют государством и организуют его в соответствии со своими потребностями и нуждами, т.-е. на основе социализма.

Руссо не был социалистом, даже в самом общем значении слова. Его мышление в социальной области не выходило за пределы его времени и его класса, оно определялось, следовательно, пределами мелкобуржуазного производства и мелкобуржуазных производственных отношений. Но его ненависть к угнетению и эксплуатации, его любовь к свободе и равенству были в нем на вершине его жизни так пламенны и могучи, так всепоглощающи, что он ставил свободных и бессильных перед лицом природы дикарей выше господ и рабов цивилизации; таким образом он дошел до крайних границ буржуазных стремлений; и поэтому рабочий класс в известном смысле является его наследником. Ибо та демократия, к которой он горел энтузиазмом, то равенство прав и обязанностей для всех людей, о которых он мечтал, могут быть осуществлены только в социалистическом обществе.

Социализм осуществит обе стороны его идеала, индивидуалистическую и социалистическую. Он принесет освобождение личности, также и личности женщины и ребенка, он признает за каждым человеком право изжить свою жизнь в меру своих сил, он даст всем людям возможность найти высшее жизненное счастье в тесном любовном единении с другим существом.

Он уничтожит нищету и бедность и бесстыдную роскошь, он положит конец развращающей праздности и оупляющей нужде. Он поставит каждого человека в непосредственное соприкосновение с природой, включив всех людей, и детей, и взрослых, в могучий круговорот жизни между человеком и природой, в производственный процесс. Он распределит общественное бремя между всеми, вместо того, чтобы вваливать его только на плечи слабейших. Он разрежет большие скопления людей,

вернув скученное население городов в обезлюженные деревни. Он положит конец завоевательным и колониальным войнам, угнетению и истреблению экономически отсталых народов. Он снова водворит мир и согласие на земле.

Всего этого хотел и Руссо. Социализм призван осуществить самые смелые его мечты, правда, такими путями, какие ему и не снились.

Когда рабство, корыстолюбие и властолюбие станут призраками давно минувших времен, когда земной шар будет населен свободными, счастливыми, живущими в сердечном согласии людьми и смеющимися, наслаждающимися свободой детьми, когда из беспорядков, раздоров и смятения наших дней родятся мир, спокойствие и порядок будущих времен, в сердцах людей будет жить дружеский образ великого мечтателя, проливавшего горячие слезы о своей покинутости, он будет их другом и товарищем, частью их сознания, всего их существа, духом, от их духа, кровью от их крови. Ибо самое горячее его стремление было направлено на то, чего они достигнут: воссоединение величайших контрастов, природы и человечества, и предметом самой страстной его тоски было то, что осуществится для них: единение и братство между людьми и растворение отдельной личности в коллективе.

Он был великий искатель и великий сеятель на нивах человечества. Имя его не забудется.